

**Историография  
и  
источниковедение  
стран  
Центральной  
и  
Юго-Восточной  
Европы**

**«Наука»**

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
Институт славяноведения и балканистики

# Историография И источниковедение стран Центральной И Юго-Восточной Европы

Ответственный редактор  
доктор исторических наук В. А. ДЬЯКОВ



МОСКВА «НАУКА» 1986

Книга освещает проблемы истории, культуры и языков Болгарии, Греции, Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии; она содержит историографические и источниковедческие исследования, а также интересные публикации первоисточников.

Для историков; филологов, историков культуры, преподавателей.

Рецензенты:

Г. Г. ЛИТАВРИН, С. О. ШМИДТ

## ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Утверждено к печати

Институтом славяноведения и балкалистики АН СССР

Редактор издательства Л. С. Кручинина

Художник А. М. Драговой. Художественный редактор Н. Н. Власик

Технический редактор Н. Н. Плохова<sup>1</sup>

Корректоры: Р. В. Молоканова, В. С. Федечкина

ИБ № 36110

Сдано в набор 10.02.86. Подписано к печати 25.04.86. Т-05889. Формат 84x108<sup>1/32</sup>

Бумага кн.-журнальная. Гарнитура литературная. Печать высокая  
Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр. отт. 16,28. Уч.-изд. л. 19,5. Тираж 1750 экз.

Тип. зак. 2279. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»

117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я тип. издательства «Наука» 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

## Предисловие

По мере увеличения удельного веса научных знаний в материальной и духовной жизни человечества возрастает практическая необходимость изучения истории науки для специалистов и живой интерес к ней со стороны широкой общественности. В этом кроются причины быстрого развития историографии и источниковедения по всем гуманитарным дисциплинам, включая славяноведение и балканистику. Именно этим определяется содержание данного издания, включающего историографические и источниковедческие исследования, а также публикации документов об историческом прошлом, языках и литературах народов Центральной и Юго-Восточной Европы.

Возросшее за последнее время внимание к историографическим проблемам славяноведения и балканистики наряду с другими изданиями реализовывалось в тематических сборниках «Исследования по историографии славяноведения и балканистики» (М.; Наука, 1981) и «Историографические исследования по славяноведению и балканистике» (М.; Наука, 1984). В своей историографической части настоящий сборник продолжает начатую в них разработку слабоизученных проблем развития славяноведения и балканистики прежде всего в нашей стране, но отчасти и за ее пределами. Источниковедческая и публикаторская часть сборника отражает общее стремление специалистов, хотя бы в небольшой степени, расширить возможности для введения в научный оборот новых источников по проблематике, которая не освещается имеющимися многотомными документальными сериями проблемно-тематического характера.

Отечественной славистике посвящены статьи В. В. Ишутина и М. В. Никулиной. Первая из них анализирует отражение общеславянской проблематики, истории и культуры южных славян в изданиях Общества истории и древностей российских за 1815—1848 гг. Вторая освещает научную деятельность одного из видных славистов первой

половины XIX в.— Ю. И. Венелина. К названным статьям примыкает по содержанию публикация университетских лекций О. М. Бодянского, подготовленная М. Ю. Досталь. Статья В. А. Дьякова посвящена состоявшемуся в 1860 г. научному диспуту М. П. Погодина с Н. И. Костомаровым, который является одним из фактов, несомненно заслуживающих внимания всех, кто занимается отечественной историографией. В статьях Е. П. Аксеновой и А. С. Озерянского исследуются те аспекты многогранной научной деятельности А. Н. Пыпина, которые связаны с его работами о южных и западных славянах, с его отношением к идейно-научным концепциям русского славянофильства. Вместе со статьей М. А. Робинсона, посвященной научным воззрениям видных славистов конца XIX — начала XX в. В. И. Ламанского, П. А. Кулаковского, К. Я. Грога, перечисленные работы воссоздают довольно широкую панораму развития славяноведения в дореволюционной России. При этом затрагиваются различные аспекты его истории, анализируются идейно-политические позиции и научные концепции ученых, показываются их взаимосвязи с объективными условиями общесторического и внутринаучного характера.

В последнее время у нас все шире разворачивается изучение советского периода истории славяноведения и балканистики. Ему посвящена статья Н. П. Митиной, в которой рассматриваются славяноведческие работы польских эмигрантов, живших в 20—30-х годах XX в. в СССР. Предполагается, что в последующих сборниках советской славистике будет уделяться больше внимания.

В тематическом плане несколько особняком стоят статьи В. Э. Орла и Е. Н. Масленниковой, а также публикация Е. А. Хелимского. В отличие от почти всех других работ историографического содержания они посвящены развитию филологических наук, причем главным образом не на славянском материале. В. Э. Орел, в частности, исследует лингвистическую компаративистику А. Ф. Гильфердинга и его занятия албанским языком; Е. Н. Масленникова изучает проблемы реализма в советском и венгерском литературоведении 20-х годов XX в.; Е. А. Хелимский анализирует источник, содержащий ценные сведения о занятиях Г. Ф. Миллера финно-угорскими языками, в том числе венгерским.

Существенной особенностью настоящего сборника является то, что наряду с историографическими работами он включает источниковедческие статьи и обзоры, а также

публикации отдельных документов о прошлом народов Центральной и Юго-Восточной Европы. В источниковедческом разделе сборника помещены статьи: Л. П. Лаптевой — об источниках по истории болгарского богомилства, изучавшихся русскими учеными конца XIX — начала XX в. и Е. П. Наумова — о сербских средневековых биографиях. Для специалистов по южным славянам их содержание представляет немалую ценность как с эвристической, так и с источниковедческой точки зрения.

Несколько работ посвящено западным славянам. Три из них освещают историю польского общественного движения в XIX в. Это содержательные статьи: В. А. Дьякова — о судебно-следственных материалах как источнике для изучения польской политической ссылки первой половины XIX в.; Г. В. Макаровой — о новых источниках по истории польского освободительного движения периода революции 1848 г.; А. И. Миллера — о комедиях Ю. Шуйского как источнике по истории Галиции 70-х годов XIX в. небольшая публикация А. С. Мыльникова, вводящая в научный оборот интересное для историков культуры (датируемое 1827 г.) письмо чешского писателя В. К. Клицперы к писателю, драматургу и режиссеру Я. Н. Штепанеку. Кроме этого, в данном разделе публикаций воспроизводится еще один документ эпистолярного характера. Г. Л. Арш подготовил к печати обширное письмо И. А. Каподистрии к российскому посланнику в Константинополе Г. А. Строганову. Письмо датировано 11(23) апреля 1819 г. и содержит важные сведения по истории борьбы греческого народа за национальную независимость и по истории русско-греческих отношений.

Соединение историографических и источниковедческих задач, характерное для настоящего сборника, основывается как с теоретических, так и с практических соображений. Сохраняя общий характер и структуру издания, мы предполагаем в будущем расширять тематику публикуемых работ с тем, чтобы каждый наш сборник как можно более полно охватывал различные аспекты историографии и источниковедения стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

*Редколлегия;*

*Г. К. Венедиктов, Л. В. Горина, А. Н. Горянинов,  
М. Ю. Досталь, В. А. Дьяков, Е. П. Наумов, М. А. Робинсон.*



---

## Историография

---

*В. В. Ишутин*

**Общеславянская проблематика,  
история и культура южных славян  
в изданиях ОИДР  
за 1815—1848 гг.**

Общество истории и древностей российских при Московском университете (ОИДР) просуществовало с 1804 по 1929 г.<sup>1</sup> Заслуги ОИДР в изучении зарубежных славян в целом признавали А. А. Кочубинский и И. В. Ягич<sup>2</sup>. Однако роль ОИДР в становлении и развитии отечественной славистики до сих пор изучена недостаточно. Настоящая статья продолжает недавно начатую работу в этом направлении<sup>3</sup> и охватывает только часть материала, указанную в заглавии. Что касается западнославянской проблематики в изданиях ОИДР, то она довольно многочисленна и разнообразна, потому заслуживает специального рассмотрения.

Издательская деятельность ОИДР в силу различных обстоятельств была начата лишь в 1815 г., но зато сразу двумя сериями: «Записки и труды ОИДР» и «Русские достопамятности». Затем, однако, наступил значительный перерыв — девять лет, и только тогда вышла вторая часть «Записок и трудов». Всего было опубликовано восемь частей этой серии в десяти книгах, причем название серии варьировалось: «Труды и записки», «Труды и летописи», просто «Труды» и т. п. «Русские достопамятности» были продолжены еще двумя книгами в 1843 и 1844 гг. и на этом тоже прекратили свое существование. Материалов, напрямую посвященных зарубежной славянской проблематике, в этом издании практически не было. Исключением составляла первая часть, вышедшая под редакцией К. Ф. Калайдовича, где в комментарии к «Поучению архиепископа Луки к братии», подготовленном Р. Ф. Тимковским, говорилось о необходимости составления «нового славянского словаря, расположенного по образцу иностран-

ных», или же переиздания Словаря славяно-русского украинского лексикографа XVII в. Памвы Берынды. Обосновывалось это пожелание тем, что зачастую славянские выражения и слова не понимаются при чтении и при их переводе используются догадки или предположения<sup>4</sup>. Вторая и третья части «Русских достопамятностей» вышли под редакцией Д. Н. Дубенского. В первой из них публиковались памятники древнерусского права по харатейному списку, о котором членам ОИДР сообщил в свое время К. Ф. Калайдович, а вторая целиком была посвящена «Слову о полку Игореве». В предисловии редактор отмечал общеславянское значение памятника, сообщал об издании сербского и польского переводов поэмы, указывал на выступление профессора Ягеллонского университета М. Вишневского, в котором говорилось о равноценном значении «Слова» для польской и русской литератур<sup>5</sup>.

По-иному обстояло дело с другой серией общества. Во второй части «Записок и трудов», опубликованной в 1824 г., появилась первая небольшая публикация на общеславянский сюжет — статья А. И. Мусина-Пушкина «Примечания на древние славянские месяцесловы». В ней рассматривалась этимология названий месяцев у славянских народов Российской империи с привлечением польских названий. Автор писал эту работу на основе древнеславянских памятников из собственного собрания, в частности «Евангелия Сербского». Известный собиратель делал совершенно правильный вывод о том, что «месяцы, получившие названия свои или от состояния природы, или от воздушных явлений, или же от сельских работ, в оные производимых, должны быть у южных славян от северных различны»<sup>6</sup>.

В 1825 г. секретарем ОИДР был избран известный в прошлом фольклорист, этнограф, профессор Московского университета И. М. Снегирев. Оценивая период его секретарства в 1825—1833 гг., С. А. Белокуров писал позднее, что хотя количество научных заседаний и несколько сократилось, «но зато эти заседания становятся все более и более интересными»<sup>7</sup>. Стараниями Снегирева, при председателях А. А. Писареве и А. Ф. Малиновском, несколько оживилась и издательская деятельность ОИДР. Журналы выходили в 1826—1828, 1830, 1833 гг. И. М. Снегирев использовал свои познания в области славянской археологии и этнографии в статье «О скудельницах, или убогих домах, в России»<sup>8</sup>; проблеме заселения России славянскими племенами посвящена работа Н. С. Арцыбашева «О на-



чале России»<sup>9</sup>. В главе «Первые пришельцы, словене» историк разбирал положения Повести временных лет о расселении славянских племен в Европе, обильно комментируя их ссылками на имевшуюся историческую литературу.

Примерно тот же вопрос рассматривал Густав фон Розенкампф в статье «Объяснение некоторых мест в Несторовой летописи в рассуждении вопроса о происхождении древних руссов»<sup>10</sup>.

Е. А. Болховитинов (митрополит Евгений), один из крупнейших историков того времени, опубликовал в трудах общества три статьи, одна из которых, «Примечания на грамоту Великого князя Мстислава Владимировича и сына его Всеволода Мстиславича удельного князя Новгородского, пожалованную Новгородскому Юрьеву монастырю»<sup>11</sup>, представляет собой довольно обстоятельный историографический, источниковедческий и палеографический анализ памятника XII в. Не касаясь приемов и методов исторической критики, использованных ученым митрополитом, отметим, что он при комментировании текста грамоты обращался к лексике зарубежных славянских народов, используя знаменитый «Линдов словарь» — «Словарь славянских наречий» польского лингвиста С. Линде. Касаясь особенностей орфографии публикуемого текста, Е. А. Болховитинов учитывал накопленные к тому времени знания о языке южных и западных славян; он ссылался, в частности, на «Славянскую грамматику» Л. Зизания 1596 г.

С именем Е. А. Болховитинова связана и история открытия некоторых сочинений крупнейшего хорватского ученого и публициста XVII в. Юрия Крижанича. Впервые о «сербянине Юрье» в русской печати сообщил Н. И. Новиков в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772) и в «Древней российской вивлиофике» (1778).

Информация была предельно краткой — отмечалось, что он сочинил «приветственную речь на венчание на царство Федора Алексеевича» и что по «царскому указу» выехал из Тобольска в Москву 5 марта 1676 г. Е. А. Болховитинов в 1805 г. опубликовал «Новый опыт исторического словаря о российских писателях», где чуть расширил известие о Юрии Белине (так в то время, не зная подлинной фамилии, называли Крижанича). Этот словарь сообщал о сочиненной в 1666 г. в Сибири «Славянской грамматике» и о «Слове о святом креще-

нии» — неизвестных Н. И. Новикову работах хорватского ученого. При этом называлось и место хранения рукописей — Патриаршая библиотека в Москве<sup>12</sup>.

В 1813 г. Е. А. Болховитинов направил в ОИДР «на поправку и дополнение» и, конечно, для издания свой «Словарь исторический о писателях российских и чужестранных в России водворившихся и для россиян что-нибудь писавших»<sup>13</sup>. Он длительное время пролежал в Обществе без движения, затем с рукописью велась кое-какая работа, но недолго<sup>14</sup>. В конце концов «Словарь» перекочевал в архив Общества, где и хранится до настоящего времени. Статья о Крижаниче повторяет текст, опубликованный в 1805 г.<sup>15</sup> Однако можно с большой долей вероятности предположить, что именно рукописный ее вариант помог позднее открыть новые материалы о знаменитом хорватском ученом, в том числе выяснить его подлинное имя. Открытие это сделал К. Ф. Калайдович, который с 1811 г. числился помощником библиотекаря Общества<sup>16</sup>.

Основной темой научного творчества К. Ф. Калайдовича было славянство, т. е. «культурное взаимодействие между зарубежным славянством и русскими, пути проникновения рукописей, книг, вообще влияний; история, состав, характер книжности, деятели — писатели, переплетчики, печатники — и их духовное вооружение»<sup>17</sup>. Думается, именно это стремление к познанию славянства привело к тому, что, начав в 1813 г. по поручению ОИДР собирать «остатки нашей истории и языка для издания «Русских достопамятностей», он в конечном итоге в 1824 г. выпустил в свет одну из первых монографических работ славяноведческого характера, «Иоанн, экзарх болгарский»<sup>18</sup>, в которой в одном из примечаний находился и тот фрагмент о Крижаниче, с которого фактически началось планомерное научное изучение, поиск и издание его творческого наследия. Калайдовичу удалось обнаружить новые биографические данные о нем, найти неизвестную ранее работу Крижанича «Соловецкая челобитная», из которой, кстати, и стало известно его имя. Калайдовичу, заметим, принадлежит и первый в русской науке анализ крижаничевского труда о славянской грамматике, в котором, в частности, отмечалось, что «сочинитель... писавший более нежели за полтора ста лет пред сим, встречается с такими мнениями, которые почтеннейшие филологи гг. Востоков и Болдырев предложили ученому свету в наше время»<sup>19</sup>.

В изданиях Общества, выходявших при И. М. Снегиреве, в одном томе с упомянутыми выше работами Арцыбашева и Розенкампа была помещена статья П. М. Строева, анализирующая источниковую базу Повести временных лет и озаглавленная «О византийском источнике Нестора». В ней сообщалось, что при работе над каталогом рукописей в библиотеке гр. Ф. А. Толстого автором статьи был найден «древний славянский перевод одного летописателя», который оказался переводом византийской «Хроники» Георгия Амартола, писателя IX в. Всего было обнаружено семь «буквально» сходных мест у Амартола и Нестора, а также еще несколько «урывков», взятых автором «Повести» из различных мест «Хроники»<sup>20</sup>. Этому же византийскому памятнику посвящена статья И. М. Снегирева «Замечания о Георгии Амартоле» в следующей книжке журнала. В ней дается палеографическое описание славянского перевода «Хроники» из библиотеки Московской духовной академии, относящегося, по мнению автора, к XIV в.<sup>21</sup> В статье Ф. Корецкого «Некоторые замечания о гривне как древнем знаке отличия в России» использованы сведения о зарубежных славянах, в частности имеются ссылки на «Славянскую грамматику» И. Добровского<sup>22</sup>.

В целом «Записки и труды ОИДР» тех лет небогаты выходящим за рамки русистики материалом. Исключение составляет публикация А. Ф. Малиновского «Исторические доказательства о давнем желании польского народа присоединиться к России, 1569—1674 гг.»<sup>23</sup>. Появилась она не столько по научным, сколько по политическим соображениям<sup>24</sup>.

С 1836 г. председательское кресло в ОИДР занял попечитель Московского учебного округа С. Г. Строганов. Во многом благодаря ему в 1837 г. Общество стало получать денежную субсидию в 5000 руб. ассигнациями ежегодно. Сменились и секретари — с начала 1837 г. место С. П. Шевырева, исполнявшего эту должность с 1833 г., занял М. П. Погодин. Именно по его инициативе была основана новая серия «Русский исторический сборник» (далее — РИС), редактирование которого возлагалось на секретарей Общества. Всего Погодиным было выпущено 7 томов этого издания в 23 книгах. История зарубежных славян интересовала Погодина на протяжении всей его жизни, начиная с 1820-х годов, когда им был издан перевод книги И. Добровского «Кирилл и Мефодий, славянские первоучители». Нет ничего удивительного в том, что

редактируемый им журнал Общества уделял этим проблемам довольно значительное внимание.

Уже в первой книжке РИС появляется большая статья З. Доленги-Ходаковского (псевдоним А. Чарноцкого) «Пути сообщения в Древней России» с кратким предисловием редактора, извещавшим, что рукописи покойного ученого-слависта, этнографа и фольклориста попали к нему в 1836 г. Несмотря на очень плохое состояние рукописей, Погодин обещал ознакомить читателей «с примечательным учением Ходаковского»<sup>25</sup>. И действительно, материалы его архива еще трижды появлялись на страницах РИС. Хотя по содержанию своему эти материалы в первую очередь связаны с археологическими и этнографическими изысканиями на территории современной России, однако объекты исследований польского ученого из-за их глубокой древности с полным основанием можно отнести к истории не только русского народа, но и всех славян<sup>26</sup>.

В редактируемом Погодиным издании началась и творческая деятельность в Обществе одного из наиболее активных исследователей зарубежного славянства — О. М. Бодянского. Сделанный им перевод статьи П. Шафарика «Славянские племена в нынешней России» Погодин поместил на страницах РИС в 1838 г. Чешский славист рассматривал вопрос о расселении славянских племен в Европе, на территории России; причем, кроме известных по Повести временных лет славянских племен, Шафарик анализировал и расселение племен, «названия коих сохранились только в Географических записках Мюнхенской рукописи», относящейся к XI в., хотя автор ее, по мнению исследователя, жил гораздо раньше, в конце IX в.<sup>27</sup>

А. Д. Чертков, известный в свое время археолог и нумизмат, библиограф и обладатель крупнейшей библиотеки, начал свою деятельность в ОИДР с «заведования кабинетом монет и медалей» в 1836 г.<sup>28</sup>, затем с 1848 по 1857 г. был и председателем Общества. В РИС Погодин поместил две большие работы Черткова, и обе они разрабатывали вопросы истории болгар. Первая из них посвящена анализу перевода на славянский язык хроники византийского летописца и писателя XII в. Константина Манассии<sup>29</sup>. На существование московского списка указал в Риме во время встреч с автором чешский славист Ф. Палацкий еще в 1839 г., а П. М. Строев подтвердил сказанное и сообщил номер рукописи в Патриаршей библиотеке (с. 2). Кроме филолого-лингвистического значе-

ния, экземпляр славянского перевода важен еще и потому, что «обогащен словенским переводчиком историческими примечаниями, относящимися до болгарской истории» (с. 9), по сути дела являющимся очерком истории Болгарии в V—XII вв. Необходимо отметить широкое использование Чертковым данных тогдашней науки, в том числе работ русских ученых, причем подходил он к ним критически. Так, например, мнение Ю. И. Венелина о происхождении болгар он назвал «странным» (с. 58). Сопоставление содержания славянского перевода хроники Манассии и русской летописи по Никоновскому списку позволило Черткову заключить, что «из древнего славянского перевода Манассии вносились в наши летописи буквально целые главы и периоды» (с. 28—35).

Вторая работа Черткова, опубликованная Погодиным, — «Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967—971 годах»<sup>30</sup>. Вначале дается описание Ватиканского списка славянского перевода упомянутой выше хроники Константина Манассии по каталогу Ватиканской библиотеки. В примечаниях, которые составляют едва ли не большую часть работы, Чертков дает и описание других славянских рукописей и печатных книг из этой библиотеки (с. 293—303). Само «описание войны» автор излагает по «Истории» Льва Диякона, византийского хрониста X в., «добавляя его рассказ из других источников в тех местах, где он не полон или, видимо, не сходен с прочими византийцами, нашим Нестором или другими писавшими о сем предмете» (с. 203). Чертков использовал шесть выписок из Льва Диякона, пополняя их материалами из Кедрина, Мавро Орбини, Карамзина, И. Раича, Повести временных лет и др. Книга — а эту работу можно вполне назвать монографией — снабжена алфавитным указателем авторов, исторических лиц, географических названий, наименований народов. Кроме того, в приложении даны 6 рисунков перевода Манассиной летописи по Ватиканскому списку. В этой же работе Чертков отдает дань уважения научным заслугам умершего в 1839 г. Ю. И. Венелина, называя его «единственным у нас в России изыскателем истории и литературы болгар» (с. 197—198).

Работами Черткова еще до их публикации интересовались отечественные слависты, причем П. И. Прейс высоко оценивал знания Чертковым болгарских рукописей, почти приравнивая его в этом к А. Х. Востокову<sup>31</sup>. Обе работы Черткова были отмечены русской критикой, а это, безу-

словно, является свидетельством возрастающего интереса русской общественности не только к проблемам национальной истории, но и к прошлому болгарского народа<sup>32</sup>.

Четвертый журнал, издававшийся обществом в обозреваемый период, — «Чтения». Они могут считаться детищем О. М. Бодянского, чья работа в области славистики в последние годы привлекает большое внимание исследователей<sup>33</sup>. Членом ОИДР Бодянский был избран в 1837 г., но активно включился в работу он лишь в 1842 г., после возвращения из заграничной командировки. Вероятно, тогда же он и высказал свои предложения об издании новой серии трудов ОИДР, так как на заседании 9 января 1843 г. члены общества поручили ему составить план этого предприятия<sup>34</sup>. Через два года Бодянский был избран секретарем ОИДР, а с 1846 г. «Чтения»<sup>35</sup> стали периодическим органом общества: журнал издавался ежемесячно в течение академического учебного года. В летний период он не выходил. Обычно Бодянский приурочивал созыв заседаний членов ОИДР к выходу очередной книжки «Чтений» и раздавал ее собравшимся. Еще одно бросающееся в глаза отличие «Чтений» от предшествующих серий — их объем: если М. П. Погодин планировал издание РИС по 8—10 печатных листов, то О. М. Бодянский значительно увеличил объем нового журнала<sup>36</sup>.

В первой же книжке «Чтений» Бодянский поместил свой перевод доклада П. Шафарика «О Свароге, боге языческих славян», прочитанного на филологическом отделении Чешского королевского общества наук 2 июня 1843 г.<sup>37</sup> Тему древнеславянского языческого пантеона Бодянский продолжил в следующем номере публикацией собственного доклада в обществе «Об одном Прологе библиотеки Московской духовной типографии и тождестве славянских божеств Хорса и Дажьдбога»<sup>38</sup>, в котором он, в частности, говорил о «драгоценности» сведений о «языческих божествах» в связи с их немногочисленностью (с. 10).

Эта публикация вызвала переписку Бодянского с протоиереем русской церкви в Копенгагене Стефаном Карловичем Сабининым (1789—1863), известным в то время богословом, переводчиком, археологом. Основное внимание в письмах С. К. Сабинина уделено фрагменту «Слова о полку Игореве», в котором говорится о Всеславе Брючиславиче. По мнению Сабинина, этот фрагмент следует комментировать с помощью славянских мифов<sup>39</sup>. Вообще славянская проблематика не была случайной в научных



занятиях протоиерея. Он состоял в переписке с крупнейшими европейскими славистами Я. Колларом, В. Ганкой, П. Шафариком; сотрудничал и в РИС, переписывался с его редактором М. П. Погодиным. В «Чтениях» Бодянского Сабинин поместил несколько переводов работ датского историка П. Ф. Сума (1728—1798), которые, в частности, затрагивали и славянский вопрос, например «Историческое рассуждение о славянах, происхождении и древнейших жилищах их»<sup>40</sup>. В примечании к этой небольшой статье О. М. Бодянский отмечал, что она «содержит в себе много такого, что при первом взгляде, без сомнения, казалось современникам его очень странным, невероятным и, однако же, блистательно оправдано новейшей критикой, совершенно независимо от датского историографа трудившейся над единым с ним предметом» (с. 11). К этому можно добавить, что работа П. Сума относится к 1778 г., в ней широко использованы письменные памятники, упоминавшие о славянах и их расселении в первых десяти веках нашей эры.

Начальному этапу истории славянских народов была посвящена и статья рижского епископа Филарета (Д. Г. Гумилевский, 1805—1866) «Святой великомученик Димитрий Солунский и солунские славяне». В ней описывается нападение славянских племен на Солунь (Салоники) в VI—VIII вв., рассматривается вопрос о расселении славян на Балканах и приобщении их к христианскому мировоззрению<sup>41</sup>.

История славянских народов в дохристианскую эпоху излагалась и в работе польского историка Лаврентия Суrowsецкого «Исследование начала народов славянских»<sup>42</sup>, вызвавшей появление работы П. Шафарика «Расселение славян по Лоренцу Суrowsецкому» (на нем. яз., 1828). Из предисловия к переводу работы Л. Суrowsецкого, сделанному учеником Бодянского Ю. Белявским (с. I—II), видно, что московский славист придавал исследованию польского ученого большое значение именно потому, что большинство его положений были впоследствии приняты и подтверждены знаменитым чешским славистом. В «Чтениях» была напечатана работа И. И. Срезневского «Архитектура храмов языческих славян»<sup>43</sup>, в которой использованы сведения о славянах арабских авторов X в. и европейских хронистов<sup>44</sup>.

Древнейшему периоду истории славянских народов, теснейшей связи русской истории с историей зарубежных славян посвящена публикация «Отрывок из записок про-

фессора А. Х. Чеботарева»<sup>45</sup>, которая, вероятно, является частью лекций этого московского профессора, историка и географа, председателя ОИДР в 1804—1810 гг. «Отрывок», датируемый 1785 г., представляет прежде всего интерес для истории отечественного славяноведения XVIII в., так как материала в этой области немного.

Затрагивалась в ЧОИДР и кирилло-мефодиевская проблематика. Этому сюжету посвящена работа упомянувшегося выше епископа Филарета «Кирилл и Мефодий, славянские просветители»<sup>46</sup>. В ней, в частности, рассказывается о переводе Мефодием греческих книг на славянский язык. В «Чтениях» был напечатан и доклад П. Шафарика в королевском Чешском ученом обществе 25 ноября 1847 г. «Расцвет славянской письменности в Болгарии»<sup>47</sup>, в котором несколько страниц отведено биографическим данным о «святых первоучителях», затем повествуется об их учениках, «прочих седмичисленниках»: Клименте, Науме, Ангеларе, Саве, Горазде и, наконец, о их преемниках: Константине, Григории, Иоанне, экзархе болгарском, Храбре и др. В этом докладе Шафарик выражает свое убеждение в том, что кириллица древнее глаголицы (с. 39). Перевод доклада был сделан О. М. Бодянским 30 января 1848 г., т. е. всего через два месяца после выступления Шафарика. В одном из примечаний к тексту сообщалось о том, что в ОИДР предполагалось издание древнеславянского текста перевода «Хроники» Георга Амартолы по греческому подлиннику, печатавшемуся в то время и библиотекарем Парижской публичной библиотеки (с. 58).

Несколько ранее «Хронике» Амартолы М. А. Оболенский посвятил свою статью «О греческом кодексе Георгия Амартолы, хранящемся в Московской синодальной библиотеке, и о сербском и болгарском переводах его хроники»<sup>48</sup>. В самом начале статьи он писал: «Для нас нет никакого сомнения, что преподобный Нестор и другие позднейшие составители временников многое от слова до слова внесли из греческих хроник и славянских хронографов в свои летописные сборники. Поэтому изучение византийцев в славянских переводах и славянских хронографов в настоящее время необходимо» (с. 73).

Вероятно, это мнение полностью разделял и Бодянский, опубликовав вскоре «Паралипомен Зонарин», т. е. хронику византийского историка и канониста XII в. Иоанна Зонары<sup>49</sup>. В своем предисловии издатель освещал историю создания памятника, датировал список, по кото-

рому проводилась публикация, а кроме того, обещал напечатать еще четыре статьи из сборника, в котором был обнаружен «Паралипомен»<sup>50</sup>.

«Паралипомен» был напечатан без перевода на современный язык и какого-либо комментария, что, безусловно, значительно усложняло пользование памятником. Но сделано это было не случайно. Об этом свидетельствуют еще одна публикация в «Чтениях» памятника славянского права «Винодольского закона 1280 г.»<sup>51</sup> и связанная с ней переписка Бодянского с В. А. Черкасским. Текст одного из древнейших памятников южнославянского законодательства был напечатан без перевода, но кириллицей, хотя сама рукопись написана глаголическим письмом: правая сторона публикации — кириллический текст, левая — «как следует читать». Бодянский дал краткое палеографическое описание памятника, также коротко изложил грамматику, приложил небольшой словарь и факсимильный «снимок с первых 12 строк начала этой рукописи». Редактор полагал, что с помощью этих «пособий» всякий желающий «может легко выучиться сам собою читать рукописи подобного рода» (с. 29). 7 июня 1846 г. своему бывшему ученику, впоследствии известному деятелю крестьянской реформы и представителю русской администрации в Болгарии В. А. Черкасскому (1824—1878), рассказывая о последнем томе «Чтений», Бодянский, в частности, писал: «Тут же Вы найдете и для себя обещанный мною Винодольский закон XII века. Как умел, так и издал его. Не сетуйте, что не приложил перевода; зато найдете при подлиннике словарь, с которым лучше всякого переводчика познакомитесь *de facto* с тем, что Вам нужно»<sup>52</sup>.

В связи с изданием «Винодольского закона» можно не только выявить публикаторские принципы Бодянского при работе с южнославянскими памятниками письменности, но и еще раз обратить внимание на ту оперативность, с которой работал Бодянский как редактор и исследователь. Памятник этот был опубликован А. Мажураничем в загребском журнале «Коло» в 1843 г., а в Москве он появился в печати уже в 1846 г.

Из публикаций правоведческого характера можно назвать статью Ф. Палацкого «Сравнение законов царя Стефана Душана Сербского с древнейшими земскими постановлениями чехов»<sup>53</sup>, переведенную опять-таки Бодянским. Эта работа известного чешского ученого была созвучна как научным интересам О. М. Бодянского, так

и его славянскому патриотизму. Не случайно в одном из своих примечаний Бодянский, опираясь на аргументацию чешского ученого, подчеркивал, что институт присяжных поверенных у славян появился раньше, чем у англосаксов (с. 21).

Часть материалов «Чтений» рассматриваемого периода посвящена вопросам славянской библиографии, книговедения, печатного дела. Один из них — это работа П. Шафарика «О древнеславянских именно кирилловских типографиях в южнославянских землях и прилежащих им краях, т. е. в Сербии, Босне, Герцеговине, Черной Горе, Венеции, Валахии и Седмиградии в XV, XVI и XVII стл. Читано в филол. отд. Чешского королевского общества наук 14 октября 1841 года н. ст.»<sup>54</sup> (в переводе О. М. Бодянского). Шафарик давал чрезвычайно высокую оценку болгарским и сербским печатникам, набиравшим первые славянские книги, отмечал значение этих изданий для лингвистов как достоверного источника по церковнославянскому языку (с. 26), а также выражал надежду отыскать «экземпляры книг, изданных на юге славянском далеко старше краковских», т. е. изданных в 1491 г. (с. 25).

К этой же категории публикаций можно отнести и описание «Славяно-русские сочинения в пергаментном сборнике И. Н. Царского»<sup>55</sup>. В предисловии О. М. Бодянский раскрывает содержание сборника, отмечая, что среди 69 статей в нем помещены шесть «славяно-русских, т. е. писанных на языке славяно-русском, собственно славяно-болгарском, но у нас на Руси получившем другой оттенок, приспособленность в грамматическом и лексическом отношениях более-менее нашему родному языку, и составившем в продолжении нескольких веков наше письменное, книжное слово...» (с. II). Среди этих статей «Слово на восшествие (вознесение) господина нашего», изданное еще К. Ф. Калайдовичем в «Иоанне, экзархе болгарском». Но Калайдович работал с бумажным списком, а в сборнике И. Н. Царского находился пергаментный, который, «несмотря на все мытарства, коим подвергался под пером русских переписчиков, кое-где больше напоминает свое происхождение, нежели текст бумажных списков» (с. VI). Бодянский приписывал авторство «Слова на преображение господина нашего» Иоанну, экзарху болгарскому, в то время как Калайдович был более осторожен (с. VI—VII).

В сборнике И. Н. Царского обнаружены «два творе-

ния епископа Климента: «Похвальное слово бесплотным Михаилу и Гаврилу» и «Похвала на представление Пресвятые Владычицы наша Богородицы». Упомянув о них, Бодянский рассказал историю их находки, привел переписку П. Шафарика и М. П. Погодина о сочинениях Климента, процитировал письма В. М. Ундольского с информацией об известных и обнаруженных им сочинениях Климента (с. VII—XI). В. М. Ундольский (1815 или 1816—1864), известный библиограф, археограф, собиратель и исследователь памятников древнерусской письменности и старопечатных книг, был тесно связан с деятельностью ОИДР: в 1844 г. он становится его соискателем, на следующий год действительным членом, а в 1847 г. избирается библиотекарем Общества и исполняет эти функции до конца жизни<sup>56</sup>. Одним из первых в России Ундольский начал заниматься изучением творческого наследия и собиранием биографических данных о Клименте Словенском (Охридском) (приблизительно 840—916), болгарском просветителе и писателе, одном из учеников Кирилла и Мефодия. При жизни археограф не успел издать собранные материалы, но они не потеряли значения и к концу века, а поэтому и были выпущены в свет в 1895 г. известным русским славистом П. А. Лавровым<sup>57</sup>.

Среди библиографических материалов в первой серии «Чтений» В. М. Ундольским была издана статья «Сильвестр Медведев, отец славяно-русской библиографии» вместе с его «Оглавлением книг, кто их сложил» — первым русским библиографическим сводом, составленным московским публицистом и писателем Сильвестром Медведевым<sup>58</sup>. Спустя два года библиотекарь ОИДР опубликовал «Каталог славяно-русских книг церковной печати библиотеки А. И. Кастерина»<sup>59</sup>, известного в первой половине прошлого столетия собирателя книг церковной печати, который способствовал также и собирательской деятельности самого Ундольского<sup>60</sup>.

Выпускник Московского университета, филолог — русист и полонист П. П. Дубровский прислал в редакцию «Чтений» перевод второй части работы известного польского историка Вацлава Мацеёвского (1793—1883) «Очерк истории письменности и просвещения славянских народов до XIV века»<sup>61</sup>. Польский ученый был сторонником идей общеславянского единения, что, вероятно, в первую очередь импонировало Бодянскому.

Большая заслуга ОИДР, и в частности Бодянского, состоит в том, что они с большим вниманием и уважением



отнеслись к творческому наследию рано умершего первого отечественного болгариста Ю. И. Венелина. В 23 книгах «Чтений» 1846—1848 гг. статьи из архива ученого, передававшиеся секретарю Общества двоюродным братом Венелина И. И. Молнарром, печатались 11 раз. Словацкая исследовательница Т. Байцура в своей монографии, посвященной Венелину, дала подробный анализ творческого наследия ученого, в том числе его связям с ОИДР, поэтому в настоящей работе останавливаться на этом было бы излишним<sup>62</sup>.

На заседании 9 января 1843 г. Бодянский, еще не будучи секретарем Общества, предложил «исходатайствовать» из Московской духовной типографии «Грамматику на сербском языке... соч. священником католическим в Сибири в 1666 г.», а из Синодальной библиотеки рукопись «Соловецкой челобитной»<sup>63</sup>, т. е. две работы Юрия Крижанича, о которых он узнал из книги К. Ф. Калайдовича «Иоанн, экзарх болгарский». Первая рукопись была вскоре получена, а по поводу второй пришло отношение, рекомендовавшее Бодянскому «читать сию рукопись под наблюдением синодального ризничего» в помещении Патриаршей библиотеки<sup>64</sup>. Результатом работы Бодянского с текстом «Грамматики» стала ее публикация в «Чтениях» под названием «Грамагично изказанје об руском језику, соч. попа Юрка Крижаница, презванием серблянина, писано в Сибири лита 7174. С предисловием О. Бодянского»<sup>65</sup>. Как раз эта работа и открывала новую рубрику в «Чтениях» — «Материалы славянские». Но по не зависящим от руководства Общества причинам в 1848 г. «Чтения» прекратили существование и были возобновлены лишь в 1858 г.<sup>66</sup>

Попробуем подвести некоторые итоги сказанному. Можно с полным основанием считать справедливым утверждение А. А. Кочубинского о «живом научном отношении к славянству» в ОИДР с первых лет его существования. В изданиях ОИДР 1815—1830 гг. общеславянская проблематика и история южных славян освещались эпизодически, нерегулярно. Постепенно характер славистических публикаций изменился, и при М. П. Погодине появляются даже большие монографические исследования вроде работ А. Д. Черткова. Хронологически же тематика публикаций на славянские сюжеты в основном не выходила за рамки I тысячелетия нашей эры. При Погодине в изданиях ОИДР стали появляться и работы зарубежных славистов.



Что называется «во весь голос» славянская тема зазвучала лишь при Бодянском, в его «Чтениях», выходявших в 1846—1848 гг. И конечно, в первую очередь это определялось профессиональными интересами секретаря Общества и редактора его изданий. При Бодянском тематика славистических публикаций становится намного разнообразнее: это и публикации письменных памятников, и исследования, и библиографические материалы. Бодянский вел большую переводческую и редакторскую работу: значительная часть материалов опубликована в его переводе и с его предисловиями. Значительное внимание он уделял работам зарубежных славистов и оперативно печатал наиболее интересное, с его точки зрения, в журнале ОИДР. Работ отечественных славистов было опубликовано сравнительно немного, что соответствовало условиям тогдашнего этапа нашего славяноведения.

- <sup>1</sup> Очерк истории ОИДР за весь период существования см.: *Демидов И. А., Ишутин В. В.* Общество истории и древностей российских при Московском университете.— В кн.: История и историки. Историограф. ежегодник. 1975. М., 1978, с. 250—280.
- <sup>2</sup> *Кочубинский А. А.* Начальные годы русского славяноведения. Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев. Одесса, 1887—1888, с. 38—39; *Ягич И. В.* Энциклопедия славянской филологии. Вып. 1: История славянской филологии. СПб., 1910, с. 163—164.
- <sup>3</sup> *Ишутин В. В.* Славянская проблематика в научных заседаниях Общества истории и древностей российских при Московском университете в первой половине XIX века (1804—1848 гг.).— В кн.: Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984, с. 97—115; *Iszutin W. W.* Joachim Lelewel — członek Towarzystwa Historii i Starożytności Rosyjskich przy Uniwersytecie Moskiewskim.— *Kwartalnik Historii Nauki i Techniki*. Warszawa, 1984, N 2, s. 431—434.
- <sup>4</sup> Русские достопамятности. М., 1815, ч. I, с. 15—16.
- <sup>5</sup> Русские достопамятности. М., 1844, ч. III, с. I—II.
- <sup>6</sup> Зап. и тр. ОИДР. М., 1824, ч. II, с. 49.
- <sup>7</sup> ОР ГБЛ ф. 203, п. 3, д. 3, л. 15.— Рукопись статьи С. А. Белокурова. «Императорское Общество истории и древностей российских при Московском университете. 1804—1884 гг.».
- <sup>8</sup> Тр. и зап. ОИДР, М., 1826, ч. II, кн. 1, с. 235—263.
- <sup>9</sup> Тр. и летописи ОИДР. М., 1828, ч. IV, кн.: 1, с. 21—68.
- <sup>10</sup> Там же, с. 139—166.
- <sup>11</sup> Тр. и зап. ОИДР. М., 1826, ч. III, кн. 2, с. 16, 18, 32.
- <sup>12</sup> Друг просвещения, М., 1805, № 8, с. 167. Кстати, эта информация, как, впрочем, и новиковская из «Древней российской вивлиофики» 1778 г., не значится в наиболее полной на сегодняшний день библиографии о Крижаниче. См.: *Juraj Krizanić (1618—1683) — russophile and ecumenik visionary*. The Hague; Paris; Mouton, 1976.— *Bibliography*, p. 329—352.
- <sup>13</sup> Зап. и тр. ОИДР. М., 1826, ч. III, кн. 2, с. 33.

- <sup>14</sup> Зап. и тр. ОИДР, ч. II, М., 1824, с. 78; Письма митрополита киевского Евгения к В. Г. Анастасевичу.— Русский архив, М., 1889, № 5, с. 23, 36, 43, 71.
- <sup>15</sup> ОР ГБЛ, ф. 203, д. 239 в, л. 41.
- <sup>16</sup> Чтения в ОИДР (далее — ЧОИДР), 1890, кн. 2. Состав ОИДР, с. 8.
- <sup>17</sup> Сборник в чест на проф. Л. Милетич. София, 1933, с. 600.
- <sup>18</sup> *Калайдович К. Ф.* Иоанн экзарх болгарский. М., 1824, с. 17, 101.
- <sup>19</sup> Там же, с. 121—122.
- <sup>20</sup> Тр. и летописи ОИДР, М., 1828, ч. IV, кн. 1, с. 21—68.
- <sup>21</sup> Тр. летописи ОИДР, М., 1830, ч. V, кн. 1, с. 254—264.
- <sup>22</sup> Тр. и летописи, М., 1828, ч. IV, кн. 1, с. 221—236.
- <sup>23</sup> Тр. и летописи. М., 1833, ч. VI.
- <sup>24</sup> Подробнее см.: *Ишутин В. В.* Славянская проблематика...
- <sup>25</sup> РИС. М., 1837, т. I, кн. I, с. 1—50.
- <sup>26</sup> Историческая система Ходаковского.— РИС. М., 1838, т. I, кн. 3, с. 3—109; Отрывок из путешествия Ходаковского по России 1820—1821 гг. Ладога. Новгород.— РИС. М., 1839, т. II, кн. 2, с. 131—200; Донесения о первых успехах путешествия в России Зорьяна Долуга-Ходаковского. Из 13-го лица 1822. Розыскания о древних городищах.— РИС. М., 1844, т. VII, с. 1—378. Подробнее о судьбе А. Чарноцкого и его научного наследия см.: *Ровнякова Л. И.* Русско-польский этнограф и фольклорист З. Доленга-Ходаковский и его архив.— В кн.: Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. М.; Л., 1963, с. 58—94.
- <sup>27</sup> РИС. М., 1838, т. I, кн. 4, с. 39—97.
- <sup>28</sup> ЧОИДР, М., 1890, кн. 2. Состав ОИДР, с. 7.
- <sup>29</sup> *Чертков А. Д.* О переводе Манасиной летописи на славянский язык.— РИС, 1843, т. VI, кн. 1—2, с. I—IV. 1—183.
- <sup>30</sup> РИС, М., 1843, т. VI, кн. 3—4, с. 187—467.
- <sup>31</sup> *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892, кн. 6, с. 390.
- <sup>32</sup> См.: М. Ф.— Рец. на кн.: Чертков А. О переводе Манасиной летописи...— ЖМНП. СПб., 1843, № 2, отд. 6, с. 76—90; Ф. М.— Рец. на кн.: Чертков А. Описание войны...— ЖМНП. СПб., 1844, № 2, разд. 6, с. 57—72.
- <sup>33</sup> Можно назвать следующие работы: *Алексашикина Л. Н.* О. М. Бодянский — первый славист Московского университета.— Вест. Моск. ун-та. Серия IX. История, 1973, № 5, с. 40—51; *Она же.* О. М. Бодянский. Из истории возникновения славяноведения в России.— В кн.: Проблемы всеобщей истории. М., 1973, с. 196—212; *Она же.* О. М. Бодянский и его роль в развитии русско-чешских связей (40-е—70-е годы XIX в.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1973, с. 24; *Минкова Л.* Осип Максимович Бодянский и Българското Възраждане. София, 1978, 200 с.; *Живанчевий М. О.* Боѓански на Словенском југу.— В кн.: Сборник на славистику. Нови Сад, 1983, св. 25, с. 33—46. На последнюю работу хотелось бы обратить особое внимание, так как она посвящена малоизученному периоду биографии ученого — его пребыванию в югославянских землях во время своей первой заграничной командировки в 1837—1842 гг.
- <sup>34</sup> РИС т. VI, кн. 3—4, протоколы, с. 50.
- <sup>35</sup> О. М. Бодянский был секретарем дважды — в 1845—1848 гг. и в 1857—1877 гг. В перерыве между двумя периодами секретарства Бодянского издавался непериодический журнал «Временник».
- <sup>36</sup> РИС, М., 1837, т. I, кн. 1, с. 1.
- <sup>37</sup> ЧОИДР, М., 1846, год 1, кн. 1, Смесь, с. 30—34.
- <sup>38</sup> ЧОИДР. М., 1848, год 1, кн. 2. Исследования, с. 5—23.

- <sup>39</sup> См.: Переписка по случаю статьи «Об одном Прологе...» — ЧОИДР. М., 1847, год 2, кн. 9. Смесъ, с. 15—23.
- <sup>40</sup> ЧОИДР. М., 1848, год 3, кн. 8. Материалы иностранные, с. 1—11.
- <sup>41</sup> ЧОИДР. М., 1848, год 3, кн. 6. Исследования, с. 1—44.
- <sup>42</sup> ЧОИДР. М., 1846, год 2, кн. 1, Материалы иностранные, с. I—II; 1—82.
- <sup>43</sup> ЧОИДР. М., 1846, год 2, кн. 3, Смесъ, с. 44—54.
- <sup>44</sup> См.: Повесть о том, что случилось на Украине с той поры, как она Литвою завладела, аж до смерти гетмана войска Запорожского Зиновия Богдана Хмельницкого (с конца XIV в.). С предисловием О. Бодянского. Сообщено И. И. Срезневским.— ЧОИДР, год. 3, кн. 5, М. 1848, с. I—II; 1—16.
- <sup>45</sup> ЧОИДР. М., 1847, год 2, кн. 9. Смесъ, с. 1—23.
- <sup>46</sup> ЧОИДР. М., 1846, год 2, кн. 4. Исследования, с. 1—28; кн. 5, с. 29—30.
- <sup>47</sup> ЧОИДР. М., 1848, год 3, кн. 7. Материалы иностранные, с. 37—59.
- <sup>48</sup> ЧОИДР. М., 1846, год 2, кн. 4. Смесъ, с. 73—102.
- <sup>49</sup> ЧОИДР. М., 1847. год 3, кн. 1. Материалы отечественные, с. I—VIII и др.
- <sup>50</sup> Там же, с. VIII. Публикация Бодянского в целом сохранила значение и для современной исторической науки. См.: *Творогов О. В. Древнерусские хронографы*. Л., 1975, с. 181—183.
- <sup>51</sup> ЧОИДР. М., 1846, год 1, кн. 4. Материалы иностранные, с. 1—42.
- <sup>52</sup> ОР ГБЛ, ф. 227 Черкасские, разд. II, карт. 5, д. 49, л. 1—2.
- <sup>53</sup> ЧОИДР. М., 1846, год 1, кн. 2. Материалы иностранные, с. 3—32.
- <sup>54</sup> ЧОИДР. М., 1846, год. 1, кн. 3. Материалы иностранные, с. 17—26.
- <sup>55</sup> ЧОИДР. М., 1847, год 3, кн. 7. Материалы отечественные, с. I—XXV и др.
- <sup>56</sup> Об В. М. Ундольском подробнее см.: Рук. собр. Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина. Указатель. М., 1983, т. I, вып. 1, с. 84—97.
- <sup>57</sup> *Ундольский В. М.* Климент, епископ Словенский. С предисл. П. А. Лаврова — ЧОИДР, 1895, кн. 1, с. I—XVI; 1—82.
- <sup>58</sup> ЧОИДР. М., 1846, год 1, кн. 3. Смесъ, с. III—XXVIII; 1—90. О С. Медведеве см. подробнее: *Луппов С. П.* Книга в России в XVII в. Л., 1970, с. 118—123.
- <sup>59</sup> ЧОИДР. М., 1848, год 3, кн. 9. Смесъ, с. I—VIII и др.
- <sup>60</sup> См. Рукописные собрания... с. 87.
- <sup>61</sup> ЧОИДР. М., 1846, год 2, кн. 2. Материалы иностранные, с. I—II+1—73.
- <sup>62</sup> *Байцура Т.* Юрий Иванович Венелин. Братислава, 1968, с. 277—282.
- <sup>63</sup> РИС. М., 1843, т. VI, кн. 3—4. Протоколы, с. 49—50.
- <sup>64</sup> Там же, с. 52—53, 55. Подлинник отношения конторы Святейшего Синода: ОР ГБЛ, ф. 203, кн. 7, л. 268.
- <sup>65</sup> ЧОИДР. М., 1849, год 4, кн. 1, Материалы славянские, с. I—XX и др.
- <sup>66</sup> Подробнее об этом см.: *Белокуров С. А.* «Дело Флетчера» 1848—1864 гг. М., 1910.

*М. В. Никулина*

**Ю. И. Венелин в русском славяноведении  
первой трети XIX в.**

**(Проблематика славянских древностей)**

Ю. И. Венелин — один из первых русских славистов (1802—1839)<sup>1</sup>. Его исторические концепции сложились под влиянием идей романтизма, распространившихся в первой трети XIX в. в ряде славянских стран и в России. Все работы написаны Венелиным в 20—30-е годы XIX в. Уже первая его важная и интересная книга «Древние и нынешние болгары...»<sup>2</sup>, появившаяся в 1829 г., вызвала в журналах острую дискуссию<sup>3</sup>. Неблагоприятное впечатление на современников произвело увлечение Венелина этимологизированием и теориями славянского происхождения большей части древних племен, населявших Европу, дискредитированными к тому времени в науке. С критикой Венелина выступили Н. А. Полевой, М. Т. Каченовский и другие ученые. М. П. Погодин в своей рецензии указал не только на недостатки работы Венелина (отсутствие критичности, голословность некоторых утверждений, хаотичность изложения и др.), но и на положительные стороны: «Венелин принес уже незабвенную услугу истории даже и тем только, что обратил внимание на смешные народы, что указал новый путь, расставил на нем вехи, дал собственную нить для исследователей, и сам сделал опыт пройти с нею по всему лабиринту»<sup>4</sup>.

Более серьезный интерес к трудам Венелина проявился лишь в самом конце 30-х — 40-е годы, когда были опубликованы другие его работы (посмертно): «Древние и нынешние словене в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам» (1841)<sup>5</sup>, «Критические исследования об истории болгар Ю. И. Венелина» (1849)<sup>6</sup>, имеющие много общего в проблематике с первой книгой, его статьи и критические заметки. Они оказали влияние на формирование славистических исследований в России тех лет, на развитие романтического направления в историографии и на распространение идей славянского возрождения (работы Н. В. Савельева-Ростиславича, И. Мольнара, Ф. Л. Моршкина, А. С. Хомякова, О. М. Бодянского, В. Априлова и др.).

О недостатках исторических концепций Ю. И. Венелина, идеалистических в своей сущности, его ошибках и заблуждениях, значении трудов для отечественной науки и роли в возрождении болгарского народа писалось много. Наиболее полно характеристика его творчества дана в монографии словацкой исследовательницы Т. Байцуры, где приведена подробная библиография, насчитывающая более 100 работ о Венелине, но не исчерпывающая всего количества посвященных ему материалов и публикаций. Среди первых работ, в которых была дана оценка роли Венелина в истории болгарского Возрождения, можно назвать работы В. Априлова (1841, 1842)<sup>7</sup>. В дальнейшем о деятельности Венелина писали Ф. Л. Морошкин, П. И. Бессонов, П. А. Лавров, М. Г. Попруженко, А. Н. Пыпин, советские ученые Е. К. Потапенко, Д. Г. Песчаный, Г. К. Венедиктов, М. В. Лунина, болгарские ученые И. Шишманов, В. Златарский, П. Динеков, Б. Ангелов и др.

В предлагаемой статье рассматривается вклад Ю. И. Венелина в формирование сложного комплекса проблематики, которая входила тогда в понятие «славянские древности» (славянский этногенез, древняя история славян, их жизнь, быт, культура и письменность), а также делается попытка показать то новое, что внес Венелин в разработку этой проблематики на основе сравнения его работ с работами известного исследователя славянских древностей П. Й. Шафарика.

В вопросе славянского этногенеза\* Венелин пытается пересмотреть господствовавшие многие годы в русской историографии теории (и особенно теорию дунайской прародины славян, широко распространенную во всей славянской историографии) и доказать автохтонность («старожилость») славян в Европе. Однако нужно сразу отметить, что вопросы славянского этногенеза находились на периферии интересов Венелина, основное внимание которого было сосредоточено на изучении болгарской истории, культуры, литературы, языка. Он был убежден в бесплод-

\* Представления о глотто- и этногенезе в начале XIX в. во многом отличались от современных не только потому, что тогда не было возможности изучать эти проблемы комплексно и наука тех лет не достигла необходимого уровня, но и потому, что еще не было ясного понимания хода этногенетических процессов, достигнутого позднее марксистской наукой. Только после разработки теории этноса — условий его формирования, определения объективных и субъективных признаков — стало возможным решение многих сложных проблем славянского этногенеза.<sup>8</sup>



ности поисков решения проблемы о происхождении славянских народов, а ученых, занимавшихся этими вопросами, называл «теореманами» (в том числе и П. И. Шафарика) <sup>9</sup>.

Отправной точкой теории славянского этногенеза Венелин служит его глубокое убеждение, неоднократно им повторяемое, что славяне — «старожилы Европы». И если говорить об их приходе из Азии, «то говорить об этом можно бы только в той главе, в которой будет намекаться о пришествии оттуда же всех вообще европейских народов» <sup>10</sup>. Поэтому «первое появление собственного имени народа в летописях не есть то же, что первое появление его в природе» <sup>11</sup>. Историю славянских племен нельзя начинать с V—VI вв., т. е. времени первых письменных свидетельств о славянах (а по мнению некоторых ученых, даже с VIII—IX вв.) <sup>12</sup>. Венелин <sup>13</sup>, как и П. И. Шафарик <sup>14</sup>, выступает против тех ученых, которые считали, что славяне пришли в Европу в V в. из Азии в массе гунно-аварских племен и являются по происхождению не европейцами, а татаро-монголами.

К числу главных доказательств европейского происхождения славян Венелин относит язык. Языки, как и народы, Венелин разделяет на европейские, североазиатские («азиатские», по его терминологии), югоазиатские и африканские. К коренным европейским языкам и народам он относит славянский, латино-латышский, греческий, немецкий, финский, кельтский, албанский <sup>15</sup>. Из североазиатских он называет мадьярский (венгерский), турецкий и «прочие татарские», однако признается, что не знает, «сколько далеко простирается в Азии сей второй класс человеческого рода и сколько ветвей, еще не открытых, принадлежит к оному» <sup>16</sup>. Европейские языки имеют одну систему, «азиатские» — другую. «Общеввропейское слово имеет один корень, из коего после, на обширном пространстве, разрослись особые ветви, ныне называемые европейскими языками. Обширнейшая из них... составляющая самый ствол, есть та, которой настоящего общего названия не знаем и которую называем (ибо нельзя было оставить ее без имени) *славянским языком*. Вокруг него прочие ветви: греческая, латинская, немецкая. Каждая из них имеет особенную связь больше с славянскою, нежели с прочими порознь... Каждая ветвь подразделилась еще на меньшие отрасли (*курсив* наш.—М. Н.) Сии-то отрасли... получили особые названия, служившие для означения вместе и языка и народа» <sup>17</sup>. В этой схеме Ве-



нелина — общеевропейский корень — ствол («славянщина» — общеславянский язык) — ветви (европейские языки) — отрасли (наречия, например: чешское, русское, польское, болгарское и др.) — видно не только понимание им этно- и глоттогенеза как процесса дробления крупной единицы (европейского пранарода и праязыка) на более мелкие (общепринято в XIX в., см. схему А. Шлейхера<sup>18</sup> — «теорию родословного древа»), но и корни ошибок в понимании родства европейских народов и языков и месте среди них славянских народов и языков. Венелин следует здесь во многом теории А. С. Шишкова, где тот приводит различные доказательства древности славянского языка, который, по его мнению, «есть отец бесчисленного множества наречий и языков»<sup>19</sup>. Формирование «ветвей», их особенностей происходило, по Венелину, в зависимости от климата и территории<sup>20</sup>. Так, величина территории, занимаемой русскими славянами, а также многовековая история развития русского языка (от скифских времен) привели, как считает Венелин, к тому, что образовалось три наречия: великороссийское, малороссийское и болгарское. Процессы языкового смешения Венелин отвергает. Признавая, например, дрезнеболгарский язык «везде целым и одним и тем же», он считает, что в IX в. в языке еще не было диалектного членения, но могли появиться «провинциализмы» (т. е. местные языковые особенности)<sup>21</sup>.

Для доказательства тождества системы славянских и других европейских языков (путем их сравнения) и ее отличия от «азиатских» (венгеро-татаро-турецких)<sup>22</sup> языков Венелин приводит «главнейшие», по его мнению, черты различия между ними: 1) наличие у европейских языков категорий рода и склонения по родам и отсутствие этого у азиатских; 2) «созвучие и сходство» личных и притяжательных местоимений в европейских языках, свидетельствующие об их общем происхождении, их отличие от подобных местоимений в азиатских языках; 3) особенности глагольных систем в европейских и азиатских языках; 4) отсутствие склонений имен прилагательных и системы притяжательных прилагательных в азиатских языках; 5) наличие частиц в конце слова в азиатских языках<sup>23</sup>.

Первым шагом на пути изучения древней истории народа, как считает Венелин, должно быть определение, к какой системе языков — европейской или азиатской — относится язык данного народа: «Основание языка... укажет на первоначальное происхождение народа... Следую-

щим этапом будет „сравнение слов“; если они не тождественны с словами другого,— это знак, что исследуемый язык есть отдельный. (Например, мадьярский, несмотря на тождество своей основы с турецким и татарским, по нетождеству в словах есть особый язык азийского корня. Подобным образом и латинский относится к славянскому, греческому и пр.). Но если в словах исследуемого языка найдется тождество с словами другого, а разница только в грамматических формах, то исследуемый должно признать не за особый язык, но за особое наречие того же языка, например турецкий за наречие татарского, как болгарский или русский за наречие славянского и пр...; сравнивать же несколько словечек и заключать из некоторого их созвучия о тождестве двух народов, как делали до сих пор вообще многие в Германии, Франции, Англии и пр., нелепо»<sup>24</sup>.

Венелин понимал зависимость между изучением истории народа и его языка; важной является также мысль, что для установления родства языков необходимо сравнение не просто отдельных слов, а систем языка. Такое понимание принципа сравнения языков является, по словам В. Томсена, первым шагом на пути освоения сравнительно-исторического метода в языкознании, в этом заключалось основное различие между «старым и новым языкознанием»<sup>25</sup>. И. Добровский, например, сравнивая славянские языки с другими европейскими и азиатскими, называет в числе общих черт европейских языков (славянских и классических) такие признаки: наличие трех родов; наличие склонения притяжательных прилагательных; приставочные глаголы; отсутствие членной формы<sup>26</sup>, т. е. Венелин обращается к тем же признакам, что и Добровский<sup>27</sup>. Однако слабость филологической подготовки Венелина — чрезмерное увлечение этимологизированием, не имевшим под собой прочного лингвистического основания, полное непонимание сущности сравнительно-исторического метода, опирающегося на знание фонетических закономерностей в их историческом развитии,— привела к серьезным ошибкам в его теоретических построениях и выводах (например, доказательство славянского происхождения различных антропонимов и топонимов).

Нужно отметить, что сравнительно-исторический анализ языков, научный метод этого анализа были знакомы в первой трети XIX в. очень немногим. Основателем его в России считается А. Х. Востоков («Рассуждение о славянском языке», 1820). Первый несовершенный опыт

обобщения достижений сравнительно-исторического языкознания появился на страницах «Журнала министерства народного просвещения» в 1838 г. и принадлежал дерптскому профессору Кейлю<sup>28</sup>. В западноевропейской науке Ф. Бопп («О системе спряжения санскритского языка в сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германских языков», 1816, 1819), Я. Grimm («Немецкая грамматика», 1819, 1822—1837), И. Добровский («Грамматика древнесловенского языка», 1822), Е. Копитар и другие ученые также только начали разработку вопросов сравнительного языкознания. В 1833 г. была опубликована «Сравнительная грамматика» Ф. Боппа<sup>29</sup>, где на строгой научной основе решался вопрос о родстве славянских языков с индоевропейскими. Это имело большое значение для П. Й. Шафарика, который в своих изучениях «славянских древностей» опирался на выводы Ф. Боппа, Я. Гримма, А. Ф. Потта, Р. Раска и др. П. Й. Шафарик, доказывая автохтонность славян в Европе, также использует лингвистические доказательства<sup>30</sup>. Определяя «место славян в ряду человеческих племен и поколений», Шафарик подразделяет все народы на две большие группы: индоевропейскую и северную. Древнейшая родина (прародина) индоевропейцев, по мнению Шафарика, находится «в Средней Азии, близ великого Гималайского хребта»<sup>31</sup>. Индоевропейское племя распадается на различные «поколения» (в Азии и Европе), которые, в свою очередь, разделяются на народы. Так, например, «поколение индейское» индоевропейского племени (в Азии) состоит из индийцев, цыган, сигиннов. «Поколение фракийское» (в Европе) подразделяется Шафариком на народы фракийский, греческий, латинский («смешение латинского языка с другими наречиями произвело нынешние языки: итальянский, французский, португальский, испанский и валахский, коих всех можно считать сыновьями латинского»). К «индоевропейским поколениям» он относит индийское, арийское, фракийское, кельто-немецкое, виндское (виндское состоит из славянских и литовского народов). К «северным» — иберийское, уральское, кавказское, самоедское, турецкое и монгольское<sup>32</sup>. Классификация Шафарика показывает, что уже тогда достаточно ясно был определен состав индоевропейской семьи языков, хотя и здесь были ошибки (например, отнесение кельтского и немецкого к одной семье языков). Менее были изучены и ясны родственные связи «северной» группы языков (например, неясен состав финно-угорской и тюркской семей).

Поэтому намерение Шафарика — при изучении родства языков определить и родство народов, говорящих на этих языках, главное внимание обращая на «все этимологическое и грамматическое построение их, корни слов и формы»<sup>33</sup>, — не могло быть выполнено, хотя работа Шафарика соответствовала уровню современного ему языкознания и в книге был дан тонкий филологический анализ заимствований, исторической ономастики и топонимики<sup>34</sup>. Несмотря на различие во взглядах Венелина и Шафарика на происхождение и родство славянских и других европейских языков, существует определенная близость в их поисках доказательств «старожилости» славян в Европе и общее в исходных моментах теории славянского этногенеза<sup>35</sup>.

Венелин, как и Шафарик, считал важным в определении происхождения и расселения славян изучение этнонимов, топонимов и личных имен. По его мнению, постоянные передвижения народов, появление одних племен на месте жительства других, бесследное исчезновение их имен в истории чаще свидетельствуют лишь о том, что изменились обстоятельства существования данного народа, например: покорение другим племенем, разделение внутри племени, когда родовое название сменяется видовым или возобладает самоназвание народа и пр. Венелин разработал сложную систему определения собственного имени народа. Он пишет: «Исторические имена имеют разные отношения к месту, народописи, происхождению, веку, писателю, т. е. имя историческое может быть а) собственно народное, т. е. которым вся масса народа сама себя называет, например словене; б) собственно частное, коим часть народа для отличия от другого называет себя; в) собственно местное, когда часть народа называется по имени места», и пр.<sup>36</sup> От правильного понимания, о каком именно имени народа идет речь у древнего автора: собственном, нарицательном, частном, зависит и понимание того, о каком народе, о каком историческом этапе его развития идет речь (например, по мнению Венелина, словене, словенцы, словаки — в греко-латинских источниках — это Pheti, Norigi, Pannonnes, Carni<sup>37</sup> гунны, хазары, козары, печенегы — болгары в византийских источниках и Повести временных лет<sup>38</sup>). К утверждению Венелина, что изменялись и утрачивались лишь названия, а в этнографическом отношении народы не исчезали, присоединялось и его убеждение, что переселения народов не были частыми и не имели такого всеобщего характера,



как повествует об этом Повесть временных лет<sup>39</sup>. Эти положения легли в основу концепции Венелина об автохтонности славян в Европе, согласно которой предки славянского населения Восточной Европы издревле занимали свои земли и были известны древним историкам и летописцам под именами скифов, сарматов, роксолан и др. Древнерусские племена, по Венелину, жили на территории «между Вислою, цепью Карпатских гор, частью Дуная и Волгою» и далее к северу вплоть до Новгорода<sup>40</sup>. Этот «русский народ, или племя», состоит из трех «отраслей»: северной (великороссы), южной (малороссы) и восточной, волжской отрасли (болгаро-россы, волго-россы)<sup>41</sup>. Рассматривая названия славянских племен, населявших Древнюю Русь и перечисленных Константином Багрянородным: кривичей, полян и пр., Венелин предполагает, что это «областные названия русского народа, взятые от рек или качества места», а «настоящее народное имя всех областных племен было *россы*»<sup>42</sup>. То же самое находит Венелин и в Повести временных лет (поляне, вятичи, суличи, тиверцы, хорваты и пр.)<sup>43</sup>.

Этноним *славяне* — *словене* (от 'слово', речь) Венелин относит к видовым, принадлежащим одной ветви славян — словенцам, с древнейших времен населявших Норик, Паннонию, Карнию, отчасти Рецию. К словенцам он относит и словаков (по его мнению, *словене* — *словенцы* — *словаки* — это синонимы, подобно *россиянин* — *русский* — *русак*). Общее, родовое название славянского племени утрачено, и видовое название сделалось родовым<sup>44</sup>. Словенцев верхнего Подунавья (границы: с севера и востока — Дунай, с юга — Адриатическое море от Риеки до Венеции, с запада — от Венеции через Тироль, Баварию по реке Изар к Дунаю)<sup>45</sup> Венелин считал древнейшим населением Европы, начало истории которых уходит в глубину кельтской эпохи<sup>46</sup>. Отсюда происходило дальнейшее расселение славян. Таким образом, ареал древних славян в Европе у Венелина очень широк: от Адриатического моря до Черного и далее на восток к Волге и на север к Новгороду и Архангельску<sup>47</sup>.

Почти те же границы указывает в своей книге Шафарик<sup>48</sup>. Шафарик обосновывает карпатскую теорию прародины славян, откуда они уже в историческую (кельтскую IV в. до н. э.) эпоху были изгнаны галлами (влахами, кельтами)<sup>49</sup>. Большое внимание при обосновании этой теории Шафарик уделяет этнонимам сербы (споры), венды (венеды, венеты, виниды) и источникам, где гово-



рится о народах, носящих эти названия. Как и Венелин, Шафарик считает, что «история и самый опыт показывают нам, что почти каждый народ, живя между иноплеменниками, имеет обыкновенно несколько имен, одним сам себя называет, а другим называют его чужие... А потому и славяне могли в древности называться иначе на чужбине, а иначе у себя; на чужбине виндами или вендами, а у себя славянами, сербами, хорватами и т. д.»<sup>50</sup>. Основываясь на показаниях различных источников, Шафарик приводит ряд доказательств того, что венды — предки славян<sup>51</sup>. На этом в основном построена его система доказательств автохтонности славян в Европе и их дальнейшего расселения<sup>52</sup>. В своих ранних работах, на которые опирался Венелин, Шафарик также «славянизировал венетов, иллирийцев, гетов, венгерских сарматов и многие фракийские племена»<sup>53</sup>. В книге «Славянские древности» Шафарик пересмотрел свою теорию славянского этногенеза, но остался на позициях автохтонности.

К славянам Венелин относит и протоболгар, в IV—V вв. двинувшихся со своей родины на Волге, где они обитали с незапамятных времен, к Черному морю и далее к Дунаю<sup>54</sup>. Эти славяно-болгары, по мнению Венелина, и были известны в истории под именами гуннов, авар, хазар, печенегов. Появление орд Аспаруха на Дунае — это лишь завершающий этап переселения болгар в Мизию, а не первое их появление среди мизийских славян<sup>55</sup>. Однако появление болгар на Дунае он понимает не как переселение всего болгарского народа с Волги на Дунай, а как дальнейшее распространение владений болгар, т. е. Днепро-Дона-Волжская Болгария распространила в V—VI вв. свои владения до Дуная<sup>56</sup>. По мнению Венелина, часть протоболгар продолжала оставаться на Волге, лишь спустя несколько веков место протоболгар на Волге заняли волжские болгары татарского происхождения (XI—XIII вв.).

В начале XIX в. существовало несколько теорий происхождения протоболгар<sup>57</sup>. Одни ученые (А. Шлёцер, И. Тунманн, И. Х. Энгель, Н. М. Карамзин) относили их к тюрко-татарам, другие — к угро-гуннам (И. Клапрот), третьи принимали за амальгаму славянских, турецких и финских элементов (Х.-Д. Френ). Шафарик считал протоболгар уральской «отраслью» гуннов<sup>58</sup>. Однако все эти теории были недостаточно аргументированы<sup>59</sup>. Венелин основное внимание в своей книге «Древние и нынешние болгаре...» (т. I) обращает на разбор и опровержение до-

казательств Тунманна, Энгеля, Шлёцера татарского происхождения протоболгар и их последующего (менее чем за 200 лет) превращения в славян<sup>30</sup>. Н. С. Державин, оценивая концепцию и метод Венелина, пишет: «Подходя объективно-критически к теории Венелина и отдельным его высказываниям, а равно и к общему методу его работы и учитывая при этом время, когда Венелин писал свою работу, и тогдашний уровень развития научного знания в области истории, исторической этнографии и лингвистики, мы должны сказать, что обоснования славянской теории у Венелина качественно несколько не ниже обоснований турецко-татарской теории Шлёцера—Тунманна—Энгеля»<sup>61</sup>.

Работы Венелина привлекали внимание ученых к важному для теории славянского этногенеза вопросу происхождения болгар, окончательно еще не решенному в то время наукой: представление о болгарях XIX в. как о «пославянившихся турках» уже не могло удовлетворить ученых. Этот вопрос нельзя было решить без изучения языка, обычаев и обрядов, народного творчества, истории болгар. Венелин начал такую работу, к этому призывал других ученых, и в первую очередь самих болгар.

К истории болгар он подходит как с точки зрения важности ее для лучшего понимания русской истории, так и стремясь исправить одностороннее представление о Болгарии в науке как о дикой и воинственной стране, основанное на иностранных источниках и отрывочных сведениях Повести временных лет<sup>62</sup>. Венелин впервые в русской историографии рассматривает историю Болгарии на широком фоне европейских и русских событий, внешнеполитических связей, показывает внутригосударственное устройство, говорит о законах, письменности, распространении христианства в Болгарии. Много места в работах Венелина уделено болгаро-византийским и болгаро-русским отношениям, которым в науке начала XIX в. не придавалось большого значения<sup>63</sup>. Венелин подчеркивает влияние Болгарии на Русь периода правления Рюрика, когда «Болгария существовала во всем своем величии и силе» и «от пределов Моравии и до Черного моря... граничила с Россиею»<sup>64</sup>. Введение христианства, письменности, даже «рекоплавание» на Руси Венелин связывает с Болгарией<sup>65</sup>. Много внимания уделено Венелиным вопросам принятия христианства, распространения письменности, развития просвещения в Болгарии<sup>66</sup>. Здесь он также резко расходится с общепринятыми в то время мнения-

ми (главным образом А. Шлёцера и И. Добровского) <sup>67</sup>.

Круг вопросов, затронутых Вензелиным, достаточно широк: жизнь и деятельность Кирилла и Мефодия, распространение богослужения на славянском языке и славянской письменности, происхождение кириллицы и глаголицы. на какой славянский язык и кем были сделаны первые переводы церковных книг <sup>68</sup>. Нужно отметить слабую изученность этих вопросов русской наукой первой трети XIX в. Более изученным был вопрос о языке памятников славянской письменности (А. Х. Востоков, К. Ф. Калайдович, М. Т. Каченовский, А. С. Шишков и др.). В сферу исторических и историко-культурных изучений эта проблематика, позже получившая название кирилло-мефодиевской, попала в связи с разработкой русскими учеными таких вопросов, как начало государственности у славян, развитие культуры славянских народов, ее связь с византийской культурой (Н. М. Карамзин, Е. Болховитинов, М. Т. Каченовский, М. П. Погодин, Г. Эверс и др.).

В первой трети XIX в. большое влияние на разработку этой проблематики имели работы А. Шлёцера и И. Добровского. В 1825 г. в России была переведена книга Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители». Она знакомила с основными источниками, уровнем разработанности ряда проблем, с существующими в науке мнениями Г. Добнера, А. Шлёцера, Х. Йордана, Коля и др. по указанным вопросам, с методом работы Добровского с источниками. Это было важно в период овладения методом сравнительно-исторического анализа источников и перехода к новому отношению к источнику и работе с ним. Книга Добровского указывала на спорные, дискуссионные вопросы, которые еще предстояло решить: время происхождения и авторство кириллицы и глаголицы, деятельность Кирилла и Мефодия в Паннонии, Моравии, Чехии, Болгарии, диалектная основа древнеславянского языка, авторство ряда древнеславянских памятников письменности и пр. <sup>69</sup>

Переводчик книги Добровского историк М. П. Погодин дополнил издание приложением, в котором опубликовал жития Кирилла и Мефодия (сводный текст) по рукописным прологам XV—XVI вв., в том числе впервые был опубликован текст Азбучной молитвы (произведение Константина Преславского, ученика Кирилла и Мефодия) из Хронографа 1494 г. <sup>70</sup> Кроме того, Погодин дал в приложении замечания рецензента книги Добровского Ф. Блумбергера, П. И. Кеппена и свои собственные. Наибольшие со-

мнения у Погодина вызывает факт миссии Кирилла и Мефодия в Моравию (который и Добровскому кажется недостаточно обоснованным). Погодину и другим ученым казалось невероятным приглашение греческих миссионеров в земли, где уже было введено христианство по римскому образцу и церковь была подчинена папе. Тем более что в послании Фотия не упоминалось о мораванах как о народе, обращенном в христианство византийской церковью<sup>71</sup>. Косвенно это подтверждалось также утверждением Добровского о сербской и Востокова о болгарской диалектной основе языка первых славянских переводов церковных книг, а также предположением Добровского об изобретении кириллицы для болгар, которая уже из Болгарии перешла в Моравию и Паннонию<sup>72</sup>.

Годом раньше (1824 г.) появилась работа К. Ф. Калайдовича «Иоанн, экзарх болгарский»<sup>73</sup>. В этой книге Калайдович обращается к вопросам начала славянской письменности, деятельности Кирилла и Мефодия, рассматривает основные труды экзарха Иоанна, дает образцовое описание рукописи «Шестоднев». В отличие от Добровского Калайдович считал древнецерковнославянский не сербским, а моравским по своей основе, созданным для проповеди среди мораван. И уже из Моравии, по его мнению, славянская письменность и церковные книги перешли к болгарам и нашли последователей, среди которых был болгарский писатель Иоанн, современник болгарского царя Симеона (IX—X вв.)<sup>74</sup>.

К деятельности Кирилла и Мефодия и началу славянской письменности обращались в то же время Н. М. Карамзин, Е. Болховитинов<sup>75</sup>.

Венелин как убежденный сторонник автохтонности славян в Европе отвергал норманнскую теорию и ее критике посвятил не одну статью<sup>76</sup>. Много места в его работах уделено критике теорий А. Шлёцера, И. Тунманна, И. Х. Энгеля, Н. М. Карамзина; последнего он упрекает в слепом следовании летописям и «духу учений Шлёцеро-Тунманно-Энгелевского»<sup>77</sup>.

Увлеченный идеей славянского происхождения большей части народов Европы, Венелин, однако, не считал, что славяне стояли на более высокой ступени развития, чем другие западные народы; его целью было доказать, что славяне уже во времена Рюрика «не ели жолудей, и во внутренней своей гражданской организации и общезжитии если не на лучшей, то, по крайней мере, не на худшей ноге стояли, как западные народы Европы»<sup>78</sup>.



Противопоставления мира славян и западного мира, как в работах славянофилов, у Венелина не было<sup>79</sup>.

Венелин был знаком с работами многих современных ему ученых: Э. Доленги-Ходаковского (А. Чарноцкого), И. Лелевеля, И. Оссолинского, С. Маевского, А. Нарушевича, И. Добровского, П. И. Шафарика, А. П. Аделунга, Н. М. Карамзина, П. И. Кеппена и др.<sup>80</sup> Он изучал византийские и латинские источники: сочинения Геродота, Страбона, Помпония Мелы, Плиния, Тацита, Птолемея, Иордана, хроники, летописи. Из русских источников наибольшее внимание он обращает на Повесть временных лет. Сопоставление фактов из летописи Нестора, комментарии А. Шлёцера к «Нестору» и «Истории» Карамзина с данными средневековых византийских и латинских источников — основной метод Венелина. Неразработанность, сложность большинства вопросов, за решение которых брался Венелин, давали большой простор его фантазии, этому же способствовали недостаток конкретных знаний и критического чутья. Поэтому Венелин не смог критически осмыслить уже имевшиеся факты и достижения в области «славянских древностей» и разобраться в большом и часто противоречивом материале. В своих работах он неоднократно говорил о необходимости критического подхода к источникам<sup>81</sup>. Но в отличие от Шафарика он не смог избежать субъективизма и использовал лишь те факты, которые соответствовали его «критерию исторической логики»<sup>82</sup>. Изучая и сравнивая различные источники, он обращал внимание главным образом на те факты, которые, как ему казалось, подтверждали его теории и могли быть логически объяснены сложившейся исторической ситуацией и не противоречили ей. Именно так получилось, например, при рассмотрении войн князя Игоря с Византией, которые он связывал с событиями в Болгарии<sup>83</sup>, хотя в Повести временных лет в источниках нет сведений о связях Болгарии и Киевской Руси того времени<sup>84</sup>. Доказывая, что поход русских войск имел целью поддержать болгарского претендента на престол Ивана<sup>85</sup> Венелин подменял метод исторической критики источника методом исторического правдоподобия, позволяющим ему домисливать необходимые звенья.

Шафарик строил свою теорию славянских древностей, также опираясь на свидетельства древних историков и географов, работы современников, широко использовал лингвистические доказательства, но главным считал умение отличить исторические истины, «основанные на ясных



и существенных показаниях достоверных источников, от исторических догадок, опирающихся только на правдоподобии»<sup>86</sup>. В этом главное различие методов Венелина и Шафарика, несмотря на близость системы доказательств и некоторых выводов этих ученых. «Истинная история нынешних славянских народов,— пишет Шафарик,— начинается, говоря вообще, в конце V столетия; сомнительная же и баснословная скрывается во мраке прошедшего, с незапамятных времен до означенной эпохи. Следовательно, все дело состоит в переходе из этой позднейшей, истинной эпохи в древнейшую баснословную». И главное здесь не увлечься этимологизированием и не пытаться «ославянить» все народы, жившие ранее на территории нынешних славян,— кто вступит на этот путь, тот, «по нашему мнению, никогда не попадет на настоящий путь, ведущий к величественному храму славянских древностей»<sup>87</sup>.

Строго придерживаясь своего метода, Шафарик систематизировал и обобщил огромный материал, ввел в науку много новых источников<sup>88</sup>, сумел использовать достижения в области сравнительного языкознания. Все это позволило ему обосновать свою теорию славянских древностей, которая сразу получила общее признание. Необходимость такой теории ощущалась в науке (и в истории и в филологии); многие ученые славянских стран разрабатывали отдельные ее аспекты и вопросы, что было связано в значительной степени с потребностями и идеологией славянского Возрождения, но потребовался огромный талант и трудолюбие П. Й. Шафарика, чтобы объединить разрозненные представления, выводы, открытия, догадки в стройную систему знаний о далеком прошлом славянских народов, соответствующую уровню знаний того времени. Венелину в силу указанных выше причин не удалось создать своей теории «славянских древностей», хотя он шел тем же путем, что и П. Й. Шафарик, и его работам свойственна та же широта охвата проблематики. Ранняя смерть помешала Венелину завершить начатое: большинство его работ остались неоконченными. Однако сделанное им позволяет назвать его одним из предшественников идей П. Й. Шафарика в области изучения славянских древностей в России.

- 1 О Ю. И. Венелине см.: Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979, с. 98—99.
- 2 *Венелин Ю. И.* Древние и нынешние болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. М., 1829 (далее: *Венелин Ю. И.*, т. 1).
- 3 *Байцура Т.* Юрій Іванович Венелін. Братислава, 1968, с. 7—15;
- 4 [*Погодин М. П.*] Венелин Ю. И. Критические исследования об истории болгар. М., 1829, т. I [Рец.] — Моск. вест. М., 1830, ч. VI, с. 129—146.
- 5 *Венелин Ю. И.* Древние и нынешние словены в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. М., 1841, т. 2. (далее: *Венелин Ю. И.*, т. 2).
- 6 *Венелин Ю. И.* Критические исследования об истории болгар Ю. И. Венелина от прихода болгар на Фракийский полуостров до 968 г., или покорение Болгарии великим князем русским Святославом. Изданные на иждивение болгарина И. Н. Денк-оглу. М., 1849 (далее: *Венелин Ю. И.*, т. 3).
- 7 *Априлов В.* Денница новоболгарского образования. Одесса, 1841; *Он же.* Дополнения к книге «Денница новоболгарского образования». СПб., 1842.
- 8 См., например: *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография. М., 1973; *Он же.* Современные проблемы этнографии. М., 1981; *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972; *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1981; и др.
- 9 *Венелин Ю. И.* Скандинавomania и ее поклонники, или столетние изыскания о варягах. Историко-критическое рассуждение. М., 1842. В ней автор дает краткий обзор различных теорий славянского этногенеза — с. 60—61, 70—80, 96—110. Ср.: *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956, с. 20, 28—29; *Робинсон А. Н.* Историкогеография славянского возрождения и Пасий Хилендарский. М., 1963, с. 101—110.
- 10 *Венелин Ю. И.*, т. 1, с. 64.
- 11 Там же, с. 17, 78; т. 2, с. 204.
- 12 И. Паррот, К. Галлинг и др. См.: *Шафарик П. Й.* Славянские древности. М., 1848, с. 76, 128.
- 13 *Венелин Ю. И.*, т. 1, с. 20, 63—64, 93.
- 14 *Шафарик П. Й.* Славянские древности, с. 43, 71—112, 300—302, 391. То же в его статьях.
- 15 *Венелин Ю. И.*, т. 1, с. 77.
- 16 Там же, с. 93.
- 17 Там же, с. 90—91; 162, 63, 81.
- 18 *Нидерле Л.* Славянские древности, с. 21—22.
- 19 *Шишков А. С.* Опыт рассуждения о первоначалии, единстве и разности языков, основанный на исследовании оных.— Изв. Рос. акад., 1817, № 5 и другие статьи в изданиях Российской академии; *Венелин*, т. 2, с. 27.
- 20 *Венелин Ю. И.*, т. 1, с. 91—92; 185.
- 21 *Венелин Ю. И.*, т. 3, с. 66.
- 22 Венелин признает, что не знает, какое отношение к «венгро-татаро-турецкому классу имеют племена Монголии, Чунгари (Джунгарии.— М. Н.), Тибета и т. д., т. е. составляют ли наречия мадьярского (венг.) или татарского, или имеют только общую с ним основу и составляют отдельные языки и (ветви) азийского корня. Их изучение и описание еще предстоит русским ученым»,— пишет Венелин (т. 1, с. 93).
- 23 *Венелин Ю. И.*, т. 1, с. 88—90.

- <sup>24</sup> Там же, с. 92—93; т. 3, с. 170.
- <sup>25</sup> Томсен В. История языковедения до конца XIX в. М.: Учпедгиз, 1938, с. 50—51.
- <sup>26</sup> Добровский И. История чешского языка и древнейшей литературы. Прага, 1818, § 2, с. 11—14; § 3, с. 14—29. В кн.: Снегирев И. Иосиф Добровский. Его жизнь, учено-литературные труды и заслуги для славяноведения. Опыт подробной монографии по истории славяноведения. Казань, 1884, с. 264—265.
- <sup>27</sup> Мы не сравниваем здесь уровни филологических знаний Добровского и Венелина — это две величины несравнимые, а указываем лишь на общее в подходе к определению различий двух больших языковых семей.
- <sup>28</sup> Кейль. Обзор современных успехов сравнительного языкознания.— ЖМНП, ч. 20, СПб., 1838, № 11, с. 262—319.
- <sup>29</sup> Vorr F. Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Lithauischen, Altslavischen, Gotischen und Deutschen. Berlin, 1833—1852. (1-е изд., т. 1—3).
- <sup>30</sup> Шафарик П. И. Славянские древности, с. 84—85.
- <sup>31</sup> Там же, с. 53.
- <sup>32</sup> Там же, с. 52—70.
- <sup>33</sup> Там же, с. 46, 86.
- <sup>34</sup> Там же, с. 86—87; 252—273 (об имени вендов); 136—138 и др.
- <sup>35</sup> Шафарик П. «Мысли о древности славян в Европе» (1834 г.).— Моск. наблюдатель, 1836, ч. 8, кн. 1, с. 48—84.
- <sup>36</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 25—26; 59—60; 91; т. 2, с. 285—287; т. 3, с. 134—137.
- <sup>37</sup> Венелин Ю. И., т. 2, с. 39.
- <sup>38</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 80—81; т. 3, с. 134—137. Трудность исследования состояла еще в том, что в VI—VII вв. протоболгары часто выступали против Византии вместе со славянами, аварами и другими племенами, к тому же в VI в. в византийских источниках появляются «кутургуры» и «утургуры» — названия древних болгарских племенных объединений.— История Болгарии. М., 1954, т. I, с. 56.
- <sup>39</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 78—79.
- <sup>40</sup> Там же, с. 188. Ср.: Байцура Т. Юрій Іванович Венелін, с. 196.
- <sup>41</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 191.
- <sup>42</sup> Там же, т. 3, с. 317—318.
- <sup>43</sup> Там же, т. 1, с. 176.
- <sup>44</sup> Там же, т. 1, с. 25, 59—60. Латинизированное название — Slaven, Slavons, Slaves.
- <sup>45</sup> Венелин Ю. И., т. 2, с. 10.
- <sup>46</sup> Там же, с. 9—10; XXVI—XXVIII.
- <sup>47</sup> Байцура Т. Юрій Іванович Венелін, с. 181.
- <sup>48</sup> Шафарик П. И. Славянские древности, с. 434—435. Ср. карты расселения славян в кн. Б. А. Рыбакова «Язычество древних славян» (с. 222—223).
- <sup>49</sup> Шафарик П. И. Славянские древности, с. 436—442.
- <sup>50</sup> Там же, с. 136—137.
- <sup>51</sup> Не все ученые с этим были согласны. Например, Добровский И. См. рец. на книгу Шафарика «Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten» (Ofen, 1826); Снегирев И. Иосиф Добровский, с. 221, 324.
- <sup>52</sup> Нидерле Л. Славянские древности, с. 167—169.
- <sup>53</sup> Там же, с. 48.
- <sup>54</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 158. См. также: История Болгарии, т. I, с. 55—106.

- <sup>55</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 65—95; т. 3, с. 6, 136—143.
- <sup>56</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 105—106.
- <sup>57</sup> Там же, с. 20—23.
- <sup>58</sup> Шафарик П. И. Славянские древности, с. 219.
- <sup>59</sup> Шишманов И. Д. Критичен преглед на въпроса за произхода на прабългарите от езиково гледище и етимологиите на името «българин». — Сб. за народни умотворения, наука и книжнина. Научен отдел. София, 1900, т. 16 и 17, с. 505—753.
- <sup>60</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 24—60.
- <sup>61</sup> Державин Н. С. История Болгарии, М.; Л., 1945, т. I, с. 146, 157. См. также: Таранова В. Г. К оценке работ Н. С. Державина по проблемам ранней истории болгар (VI—VII вв.). — Вопр. истории славян. Воронеж, 1980, вып. 6, с. 115—125.
- <sup>62</sup> Зыков Э. Г. Известия о Болгарии в Повести временных лет. — Тр. отд. древнерусской литературы. Л., 1969, т. 24, с. 48—53 (ПВЛ содержит 7 коротких записей, касающихся Болгарии IX — начала X в.).
- <sup>63</sup> См., например: Карамзин Н. М. История государства российского, СПб., 1842, т. I, кн. 1, с. 97 и сл.
- <sup>64</sup> Венелин Ю. И., т. 3, с. 134.
- <sup>65</sup> Там же, с. 145, 324—325.
- <sup>66</sup> Там же, т. 2, с. 161—227; т. 3, с. 37, 57—68; 73—75; 84—86; 113; 120—121.
- <sup>67</sup> Там же, т. 2, с. 161—166; 166—180; 173—199; 227—228; т. 3, 58—68; 74—75; 84—86; 120—121; 37; 57; 73; 113; 120; 48—56; 70—72; 324—326; 256—260.
- <sup>68</sup> Там же, т. 3, с. 68—91.
- <sup>69</sup> Бернштейн С. Б. Предисловие редактора. — В кн.: Можаяева И. Е. Библиография по кирилло-мефодиевской проблематике. 1945—1974 гг. М., 1980, с. 3—20; Дуйчев И. Спорные вопросы кирилло-мефодиевской проблематики. — В кн.: Русско-болгарские связи в области книжного дела. М., 1981, с. 5—21.
- <sup>70</sup> Зыков Э. Г. Судьба «Азбучной молитвы» в древнерусской письменности. Тр. отд. древнерусской литературы. Л., 1971, т. 26, с. 177—191; Добровский И. Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. М., 1825, с. 121—128.
- <sup>71</sup> Добровский И. Кирилл и Мефодий, с. 122.
- <sup>72</sup> Там же, с. 49—51; 61, 100, 142.
- <sup>73</sup> Козлов В. П. Константин Федорович Калайдович и его труды по славянской литературе, истории, письменности. — Palaeobulgarica, (II), 1978, № 4, с. 83—92.
- <sup>74</sup> Калайдович К. Ф. Иоани, эксарх болгарский. М., 1824, с. 3—8.
- <sup>75</sup> Болховитинов Е. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. СПб., 1827, т. 2, с. 56—68 (изд. 2-е); Карамзин Н. М. История государства российского. СПб., 1818, т. I, с. 97—100 (прим. 267).
- <sup>76</sup> См., например, статью Ю. И. Венелина «Скандинавомания и ее поклонники»; Байцура Т. Юрій Іванович Венелін, с. 192—200.
- <sup>77</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 22—23; 196—198; т. 3, 184—197; 270—272 и др.
- <sup>78</sup> Там же, т. 3, с. 157. Ср.: Шафарик П. И. Славянские древности, с. 103.
- <sup>79</sup> Байцура Т. Юрій Іванович Венелін, с. 250—260.
- <sup>80</sup> См., например, библиографию Ю. И. Венелина, т. 2, с. 8—9.
- <sup>81</sup> Венелин Ю. И., т. 1, с. 17.

<sup>82</sup> Там же, т. 2, с. 186, 207. <sup>83</sup> Там же, т. 3, с. 238—240; 269—274.

<sup>84</sup> Зыков Э. Г. Известия о Болгарии..., с. 48—53.

<sup>85</sup> Венелин Ю. И., т. 3, с. 297.

<sup>86</sup> Шафарик П. И. Славянские древности, с. 433.

<sup>87</sup> Там же, с. 169. <sup>88</sup> Там же, с. 6—41.

*В. А. Дьяков*

**Ученая дуэль М. П. Погодина  
с Н. И. Костомаровым**

**(О публичном диспуте по норманнскому вопросу  
19 марта 1860 г.)**

В имеющихся источниках и литературе публичный диспут М. П. Погодина и Н. И. Костомарова, состоявшийся в 1860 г., неоднократно называется дуэлью. Он действительно был обставлен как поединок, и его можно рассматривать в качестве уникального события отечественной историографии. С точки зрения решения рассматриваемого вопроса диспут не оказался плодотворным, поскольку норманистская концепция происхождения древнерусской государственности, отстаивавшаяся М. П. Погодиным, утратила свой непререкаемый авторитет задолго до этой дискуссии, а предлагавшаяся Н. И. Костомаровым гипотеза о литовском происхождении варяжских князей очень скоро была отброшена специалистами как не получившая надлежащего подтверждения в источниках<sup>1</sup>. Но почему же в таком случае дискуссия между двумя учеными мужами, посвященная весьма отдаленной эпохе, вызвала столь широкий интерес общественности и собрала около двух тысяч слушателей, которые бурно реагировали чуть не на каждое слово участников диспута, хотя проникнуть в научное содержание спора, сколько-нибудь правильно оценить истинную силу приводимых аргументов были способны не более 10—15% присутствующих? Почему подробной информацией о диспуте, печатавшейся не только в специальных изданиях, но и во многих газетах, в важнейших из так называемых «толстых» журналов, так живо интересовалось едва ли не все образованное общество Петербурга и целой России?

Ответ на эти вопросы содержится в приводимом ниже фактическом материале. На основе собранных данных затронуты также некоторые другие историографические про-



блемы. Во-первых, это проблема более общих взаимосвязей исторической науки, включая, разумеется, историческую часть славяноведения, с состоянием общественной мысли и той идейно-политической борьбой, которая развертывалась в России в годы революционной ситуации 1859—1861 гг., во-вторых, проблема соотношения исторического познания с историческим сознанием. Обе указанные проблемы за последнее время все чаще и чаще привлекают внимание специалистов<sup>2</sup>.

Начну с предыстории диспута и его предварительно согласованных условий. В первом номере «Современника» за 1860 г. появилась короткая, но весьма язвительная рецензия Н. А. Добролюбова на книгу М. П. Погодина «Норманнский период русской истории» и статья Н. И. Костомарова «О начале Руси». Через несколько месяцев, напоминая читателям «Свистка» о предыстории диспута, Добролюбов писал: «В то самое время как г. Костомаров печатал в „Современнике“ статью о Руси Литовской, г. Погодин издал книжку о норманнском периоде русской истории. При разборе этой книжки в „Современнике“ с обычной скромностью замечено было, что новый взгляд, отвергающий норманнство, должен возбудить новые хлопоты со стороны г. Погодина, который вот уже лет пятнадцать победоносно почил на норманнском вопросе, точно в Валгалле, окруженный валкириями в образе гг. Устрялова, Касторского, Зернина и пр.»<sup>3</sup>. Оценивая защищаемую Погодиным норманнскую концепцию, Костомаров заявлял, что она является немецкой выдумкой. Ученые и неученые, немцы, говорится в его статье, «более или менее исполнены верования в превосходстве своей породы над славянской [...] Ученые немцы выдумали призвание князей из Скандинавии: этим они хотят указать, что славяне не способны без влияния немецкого элемента к устройству государственной и гражданской жизни»<sup>4</sup>.

Предвидение насчет «новых хлопот» Погодина сбылось. Его прилежный биограф Н. П. Барсуков, ссылаясь на дневник маститого историка, свидетельствует о том, что с 7 по 25 февраля 1860 г. Погодин, можно сказать, не выпускал из рук «Современник», читая и перечитывая статью Костомарова вместе с рецензией Добролюбова. В результате появилось его письмо Костомарову, из текста которого явствует, что сильнейшее раздражение Погодина относилось не столько к адресату письма, сколько к редакторам «Современника», и особенно к тому, кто вел сатирический раздел журнала «Свисток», т. е. к Добро-

любому. Погодин явно опасался за дальнейшую судьбу норманнской концепции, но пытался скрыть свои чувства под маской иронии. «Чего доброго,— читаем в его письме,— толпа закричит под песню литовской свистопляски вслед за ученой редакцией „Современника“: „Мы из Жмуди, мы из Жмуди!“ По отношению к Костомарову Погодин старался не выходить из рамок корпоративно-профессорской вежливости, но и тут выдержки ему не хватило. Обращенный к Костомарову галантный вызов на поединок переходит в новый, далеко не академический выпад против „Современника“ и „Свистка“. „Бросаю Вам перчатку и вызываю на дуэль, хоть в Пассаже. Секундантов мне не нужно, разве тети Байера, Шлёцера и Круга [...] А Вы для потехи можете пригласить в секунданты любых рыцарей свистопляски“»<sup>5</sup>.

9 марта 1860 г. Погодин приехал из Москвы в Петербург, встретился в Публичной библиотеке с Костомаровым и зачитал ему только что цитировавшееся письмо. Вызов на «дуэль» сразу же был принят, и встал вопрос о разрешении вынести поединок на публику. В принципе это было возможно, поскольку в 1858—1859 гг. публичные лекции и чтения стали для Петербурга довольно обычным явлением. Участие видных ученых и писателей обеспечивало им живой интерес со стороны различных слоев образованного общества и хороший кассовый сбор, который поступал либо в Литературный фонд, либо в Фонд помощи неимущим студентам. Чаще всего лекции и чтения проходили в сравнительно небольшом зале Пассажа, иногда в гораздо более вместительном рекреационном зале Петербургского университета.

Петербургский генерал-губернатор граф П. Н. Игнатьев, получив просьбу двух профессоров о публичном диспуте, предложил провести его в Пассаже, а решение спора «оставить за третейским судом, узаконенным по делам акционерных обществ». Это нелепое на первый взгляд предложение, изложенное в письме к министру просвещения Е. П. Ковалевскому от 12 марта, опиралось на весьма любопытный прецедент, описанный Л. Ф. Пантелеевым. «В 1859 г.,— говорится в его воспоминаниях,— некто Перозио выступил с рядом обвинительных статей против „Общества русского пароходства и торговли“, во главе которого стоял [...] умерший Н. А. Новосельский (когда-то городской голова Одессы). Стороны решили прибегнуть к публичному третейскому разбирательству; в числе судей, кажется, со стороны Перозио были Чернышевский и

Н. Серно-Соловьевич; суперарбитром был избран Е. И. Ламанский. Диспут (он имел место в Пассаже) не дошел до конца вследствие шумного вмешательства публики, состоявшей главным образом из акционеров, и Е. И. [Ламанский] нашел нужным закрыть его, произнеся при этом: „Мы еще не созрели для публичных прений“<sup>6</sup>. Именно на этом прецеденте и основывался генерал-губернатор. Однако Ковалевский не согласился с мнением Игнатьева. «... Как министр [...] и как русский,— заявил он в своем ответе от 14 марта,— я не могу не желать, чтобы оный диспут состоялся. При таком значении диспута и при том положении, которое занимают в ученом мире диспутанты [...] этот диспут [...] не может быть подведен под условия третейских судов по делам акционерных обществ [...]. В нем должны быть компетентными судьями все, кто трудами своими по разработке материалов отечественной истории приобрел возможность пролить новый свет для разрешения подлежащего вопроса». Что касается места проведения диспута, добавлял министр, то «было бы соответственнее назначить в одной из зал университета»<sup>7</sup>. В конечном итоге власти выбрали вариант Ковалевского, диспут назначили на 19 марта в большом университетском зале.

Письмо-вызов Погодина и ответное послание Костомарова были опубликованы в газетах. Предложение о диспуте Костомаров оценил как честь для себя и выразил согласие явиться на него в любое место. Арбитров он предложил выбрать «из посторонних людей науки», назвав имена Н. В. Калачева, К. Д. Кавелина и Ф. И. Буслаева, пообещав «покориться их приговору». Относительно теней Байера, Шлёцера и Круга, о которых писал Погодин, Костомаров не признал их способными помочь в решении спора, ибо «они уже только тени». Погодин на это ответил: «Искренне благодарю моего ученого друга за его любезное согласие. Посредники, им избранные, люди, слишком ко мне близкие по университетской памяти, едва ли возьмутся принять на себя окончательное решение. Это дело внутреннего, личного убеждения, которое предоставим лучше слушателям. Главная цель наша — возбудить в молодых деятелях участие к вопросу о происхождении Руси, который так для нас важен, особенно в наше время, когда скоро исполнится тысяча лет основанному ею государству»<sup>8</sup>.

Условия и регламент поединка обсуждались не только двумя «дуэлянтами», но и научной общественностью. По

свидетельству Погодина, 11 марта на квартире у Калачева собрались профессор, академики, литераторы. Погодин надеялся на то, что большинство сразу же встанет на его сторону и заявит о ненужности диспута, поскольку норманнская теория достаточно аргументированна. Однако эта его надежда не оправдалась. Разговор шел главным образом о том, кого из «двуэлянтов» можно считать нападающей стороной и особенно об арбитрах. Относительно проблемы арбитров мнение Погодина таково: «Ученых вопросов нельзя решать, по-моему, третейским судом, иначе легко было бы науке идти вперед. Довольно с нас передать все, что можем, в пользу наших мнений, а окончательный вывод должно, кажется, предоставить сознанию всякого слушателя, смотря по тому, какое в нем выработается убеждение». Итог переговоров у Калачева Погодин подводит следующей фразой: «Решения определенного, как и вообще у нас в делах случается, не последовало; а поговорили, поспорили и разошлись с мыслью, что спор все-таки как-нибудь да будет»<sup>9</sup>.

Сами «двуэлянты» на этой стадии не проявляли особой враждебности друг к другу. Перед диспутом они еще дважды встречались, согласовывали свое поведение, «соразмерив удары, определили и формулировали взаимные возможные уступки». Настроение противников, явно прибегая к литературной аналогии, Погодин описал в полушутливом тоне: «В таком расположении, подобно двум малороссиянам, ездившим из деревни в город жаловаться друг на друга на одной телеге, мы поехали в одном экипаже на поле сражения»<sup>10</sup>.

Узнав, что дискуссия Погодина с Костомаровым состоится в подведомственном ему помещении, университетское начальство с согласия участников диспута решило все вырученные деньги использовать для помощи неимущим студентам. По словам Пантелеева, который в те годы непосредственно участвовал в организации публичных лекций, все они не дали студенческой кассе столько, сколько ученая «двуэль» двух профессоров: «...студенческая касса, помнится, заработала в этом диспуте свыше двух тысяч рублей»<sup>11</sup>. Цену билетам назначили от полутора до пяти рублей, зал вместил около 2 тыс. человек; следовательно, названная Пантелеевым цифра вполне реальна.

Сохранилось много свидетельств о том ажиотаже, который охватил Петербург за несколько дней до диспута. Добролюбовский «Свисток» посвятил этому событию весь свой четвертый выпуск, а соответствующий раздел в нем



озаглавил «Столичная суматоха в пользу науки». В те дни, писал Добролюбов, «варяги действительно заняли все образованное общество наше до того, что слова „Погодин“, „Костомаров“, „дуэль“ беспрерывно оглашали воздух — и на Невском проспекте, и на набережных Невы, и в театрах, концертах, ресторанах, и даже в каждом доме, где сходились 5—6 человек». «Действительно, — продолжал он несколько ниже, — два дня до диспута ходили на новый год; приезжему человеку можно было подумать, что все разъезжают с визитами, а это они за билетами рыскали!.. В университете уже в четверг оказался недостаток в билетах, и вследствие того в городе на каждом шагу можно было встретить озабоченные лица и биться об заклад, что они тревожно заняты изобретением средств достать билет или каким бы то ни было образом попасть на диспут. Даже люди, которые принимали норманнов за потомков Нормы [героиня одноименной оперы Беллини. — В. Д.], а о Литве знали только по Литовскому рынку, и те приходили в волнение от одной мысли о диспуте»<sup>12</sup>.

Конечно, сатирический «Свисток» несколько сгущал краски. Но в основном нарисованная картина соответствует действительности — это подтверждается источниками различного происхождения. Известный литературный и государственный деятель князь П. А. Вяземский незадолго до диспута обратился за билетом к ректору Петербургского университета П. А. Плетневу, а тот ему 17 марта ответил: «Билетов уже никакого разряда нет ни одного. Поэтому и деньги имею честь возвратить [...] Только не найдете ли возможности прибыть ко мне на квартиру никак не позже *семи часов вечера*? Мы и отправились бы вместе, чтобы нам приютиться рядом, близ кафедры»<sup>13</sup>. В. Ф. Одоевский — человек не менее известный в мире литературы, искусства, да и науки — прислал Погодину записку, в которой по-приятельски требовал: «Как хочешь, а посади меня завтра к себе в карман и пронеси на диспут, ибо уже три дня не могу достать себе никакого места и ни за какую плату [...] Надобно же мне проведать, что я такое? Норманн или жмудь?». С аналогичной просьбой обращался к Погодину еще один крупный деятель — М. А. Корф. «Ради бога, — писал он, — пришлите мне на сегодняшний вечер хоть какой-нибудь билег. В университете уже ничего нет»<sup>14</sup>.

Наступил день диспута. Характеризуя в «Московских ведомостях» публику, заполнившую университетский зал вечером 19 марта 1860 г., профессор Н. Н. Булич писал:



«Все, что только есть в Петербурге мыслящего, пишущего, все, кто только принадлежит почему-нибудь к литературному миру, были в этом собрании». К. Н. Лебедев, воспитанник Московского университета, третьеразрядный писатель и довольно крупный чиновник, занимавший в 1860 г. должности директора канцелярии министерства юстиции и сенатора по уголовным делам, в письме к своему бывшему учителю Погодину возмущался теснотой и беспорядком в зале: «Я занимал 69 № первого ряда с левой стороны и, несмотря ни на так называемых распорядителей, ни на так называемого попечителя Делянова, держаться места не было никакой возможности». Сам Погодин обрисовал картину следующим образом: «Через сени нам понадобилось, в настоящем смысле слова, пробиваться. Давка была страшная. Толпы без билетов, напрасно испрашивая пройти за какую угодно цену, готовились брать места приступом»<sup>15</sup>.

Нечто похожее находим и в добролюбовском «Свистке»: «19 марта университетская зала представляла (говоря высоким слогом объявления „С.-Петербургских ведомостей“) „умилительное слияние представителей литературы и наук, с одной стороны, и, с другой стороны, самого учреждения, где науки и литература обрабатываются в высшей своей сфере, и слияние этого могло служить верным залогом новых утешительных надежд для отечества“». Действительно, в зале с семи часов давка была страшная: стулья были нумерованные, но половина народу нашла своих мест; многие остались в проходах между стульями, другие забрали вбок, поближе к кафедрам двух противников [...] Словом, в течение получаса публика в живой картине представляла собою положение новгородцев, кривичей, чуди, мери и веси, в то время как они, изгнавши варягов за море и не давши им дани, не знали, что им затем с собою делать. Публика была велика и обильна, а порядка в ней не было... Наконец, явились и норманны в образе г. Погодина. Тогда все стихло, и маститый норманщик по обычаю всех новых владетелей начал свое дело с благосклонного изъявления своей благодарности обществу...»<sup>16</sup>. Что касается обстановки в самом помещении, то ее подробно живописал Булич: «Представьте себе большую залу, освещенную тремя небольшими люстрами с абажурами, проливающими неясный полусвет, который напоминает таинственный сумрак готических соборов [...]; две кафедры, одна против другой на расстоянии всей ширины залы, с двумя свечами, покрытыми также зеле-

ными абажурами; ни одного пустого места, везде волнуемую толпу, и в сердце невольно зарождалось ожидание чего-то небывалого, невиданного, неслыханного»<sup>17</sup>.

Диспут был открыт лаконичным вступлением ректора университета П. А. Плетнева, не сказавшим чего-либо существенного и интересного. К тому же, как свидетельствуют очевидцы, за еще не улегшимся шумом расслышать его речь большинство не имело возможности. Началась «дуэль» выступлением Погодина, громко обратившегося к присутствующим и в числе прочего сказавшего: «Ученый спор предпринят нами с целью возбудить в молодом поколении — в студентах — участие к важнейшему вопросу русской истории. Он относится ко времени самому отдаленному, к предмету самому темному и неопределенному. Доказательства, которые мы будем употреблять друг против друга, заимствованы из источников самых сухих [...], покрытых пылью и тлением»<sup>18</sup>. Затем Погодин прочитал адресованное Костомарову письмо-вызов, исключив из него, по собственному признанию, относящиеся к редакторам «Современника», а не к Костомарову «журнальные шутки и все места, неприличные характеру университетской залы», принес извинения по поводу выражений, «написанных, как иногда случается со мною, сгоряча вследствие движения крови норманнской или славянской»<sup>19</sup>. В ответ Костомаров прочел свое опубликованное в газете послание Погодину. После этого развернулась сама дискуссия, т. е. изложение аргументов в защиту тех концепций по норманнскому (варяжскому) вопросу, которые отстаивали участники диспута. Продолжался обмен мнениями около двух часов, причем публика реагировала очень бурно. Однако внимание сосредоточивалось не на научных аргументах, а на различных политических аллюзиях, которые не всегда обоснованно обнаруживали слушателя в словах диспутантов.

В соответствии с предварительной договоренностью заключал дискуссия Погодин, избравший для своего резюме примирительно-патриотическую тональность. «Итак, — сказал он, — да здравствует наша Русь, откуда бы она ни пришла! Да живет она не тысячу лет, а долго-долго [...] Да цветет наука в стенах сего университета, в стенах и за стенами всех русских университетов или, выражаясь стихом Пушкина: „Да здравствует разум, да скроется тьма!“ Костомаров ограничился тем, что к патриотическому спичу Погодина добавил: „И я приведу слова Пушкина: „Что Литва, что Русь ли [...] все равно“»<sup>20</sup>. Финал

поединка выглядел и вовсе не академично. Вот как описал его Булич: «Кончился диспут среди самых восторженных, продолжительных восклицаний. Героев диспута вынесли торжественно на руках из залы при оглушительных кликах. С профессором Костомаровым сделался обморок, что очень естественно после двухчасового напряжения в страшно душной и жаркой от многолюдства зале»<sup>21</sup>.

На диспут так или иначе откликнулись многие газеты и журналы: более или менее пространные упоминания о нем имеются в ряде мемуарных и эпистолярных источников. С оценкой результатов диспута выступили и его участники.

Весьма лаконичную, но по существу правильную оценку исходу диспута дал Пантелеев. «Конечно,— говорится в его мемуарах,— ничего нового не сказали на нем ни Погодин, ни Костомаров [...] Имя Погодина ничего не говорило молодежи. Встречен он был холодно, но проводили старика тепло благодаря его находчивости». Характерно, что находчивым Пантелеев считает прежде всего то место заключительного слова Погодина, где он демагогически заявил: «Каковы бы ни были научные результаты сегодняшнего диспута, он во всяком случае доказал, что мы созрели для публичных прений»<sup>22</sup>. Не случайно именно эту фразу впоследствии неоднократно обыгрывал Добролюбов в «Свистке», сталкивая мнение Погодина с приводившимися выше словами Е. И. Ламанского, который придерживался прямо противоположного мнения<sup>23</sup>.

Довольно пространный и весьма скептический отзыв об ученой «дуэли» содержится в дневнике А. В. Никитенко: «Диспут происходил в большой университетской зале, и народу собралось великое множество. Студенты раздражались неистовыми рукоплесканиями, преимущественно в честь Костомарова. Какая в этом споре животворящая истина? Никакой. Но тут было зрелище, и толпа собралась... По поводу этого диспута князь [П. А.] Вяземский разразился следующей удачной остротой: „Прежде мы не знали, куда идем, а теперь не знаем и откуда“»<sup>24</sup>.

Участники диспута в первый момент восприняли результат поединка по-разному: Костомаров с удовлетворением, Погодин с плохо скрываемым недовольством. В письме от 26 марта 1860 г. Погодин резко осуждал поведение студентов во время диспута. Отвечая на это, Костомаров не только оправдывал студентов, но и дал понять, что считает реакцию зала подтверждением правильности его концепции. Он писал: «О победе и пораже-

нии не может быть и речи, что касается наших личностей; но о перевесе того или другого ученого мнения должна идти речь — иначе зачем же мы являлись на публику. Мое мнение одержало решительный верх над Вашим»<sup>25</sup>. Это ощущение в гораздо более откровенной форме высказал Костомаров в дружеском письме к Д. Л. Мордовцеву: «Норманнская теория, выдуманная и утвержденная немцами и их бессознательными последователями, теория, которой Куник оправдывал немецкое влияние после Петра, а Крузе употреблял для параллели с событиями половины XVIII века, вытягивая насильно Рюрика за уши в звание голштинца,— теория, которая по своей несостоятельности должна была приводить в краску нас всех,— теория эта пала, пала!.. И напрасно Академия, а за нею немцы и педанты думают поддержать ее. У общества есть свое чутье. Что единогласно освистано, то безвозвратно погиб-ло»<sup>26</sup>.

Однако ощущение победы у сторонника «жмудской теории» постепенно начало ослабевать. «Торжество Костомарова,— пишет Барсуков,— продолжалось недолго.

Вскоре на его жмудскую теорию посыпались критики со всех сторон...» Подтверждением этому, идущим от самого Костомарова, может служить его добродушно-шутливое послание Погодину от 5 апреля 1860 г. «Разумеется,— говорится в нем,— если найдутся новые доказательства, я без стыда помирюсь с норманнами...» Несколько ниже Костомаров признался, что его собственная «жмудская» версия слабо подкрепляется фактами. При этом он заявил: «Может быть, мне придется пожертвовать Жмудью, но проклятых ваших норманнов выгоню. Пусть лучше вакантное место останется, да не норманство. Если что-нибудь не понравится, простите, а не кляните. На то война»<sup>27</sup>.

Погодин не отрекался от «норманства» и не признавал себя побежденным. Ведя весьма интенсивную и дружественную по тональности переписку с Костомаровым, он старался более всего о том, чтобы поссорить своего противника по диспуту с «Современником». Что касается московских единомышленников или полуединомышленников Погодина, то они считали его выступление на диспуте недостаточно боевитым. А. С. Хомяков, например, в письме к А. В. Веневитинову заявлял: «Наш московский боец [...] не заслужил лавров. Не сумел поддержать честь Москвы»; в письме же к А. Ф. Гильфердингу он писал еще резче: «Срам: какое ясное дело и не умел его выиграть»<sup>28</sup>.



Осуждение в адрес петербургской публики, а отчасти и Погодина высказывали К. С. Аксаков и Н. В. Берг<sup>29</sup>.

Чем же все-таки был диспут — научным спором или острым общественно-идейным столкновением? Приводившиеся выше факты дают немало материала для решения поставленного вопроса. Совершенно определенный и однозначный ответ на него содержится в посвященной диспуту и опубликованной в «Свистке» статье Добролюбова. В ней говорится: «Споря с г. Костомаровым как будто бы о норманнах, г. Погодин главным образом обращает свое негодование на нас и горячится при этом вовсе не за норманнов, а совершенно по другим причинам, которые угадать, конечно, нетрудно». Развивая эту тему в сатирическом жанре, Добролюбов включает в текст статьи написанное якобы Лилиеншвагером стихотворение «Новый общественный вопрос в Петербурге», в котором имеется следующее четверостишие:

Привет тебе, счастливая пора  
Поднятия общественных вопросов,  
В дни торжества науки и добра  
Томит нас вновь призыв варяго-россов!<sup>30</sup>

На далекие от «чистой науки» обстоятельства, обусловившие ход и исход диспута, указывали и представители идейно-политических течений, которые противостояли лагерю «Современника». В этом смысле весьма характерна позиция упоминавшегося выше К. Н. Лебедева, который в письме к Погодину, написанном накануне ученого pojedинка, заявлял: «Судя по напечатанному письму, Вы проигрываете дело и перед молодежью и в журналах. Моя речь не о существе дела, которое Вам известно до подноготной и которое Вы должны были принять под свою защиту, потому что с поля науки Костомаров переносит его на поле национальностей. Речь моя — об этом поле. Время не то, что было в 30-х годах, и жизненные начала публицистики и национальностей втираются в воззрения даже на события IX столетия»<sup>31</sup>.

Нет никакого сомнения в том, что для подавляющего большинства слушателей, собравшихся на диспут, Погодин был персонифицированной реакцией николаевского царствования, тогда как с именем Костомарова они связывали тот общественный подъем конца 50-х — начала 60-х годов, который привел к падению крепостного права. И дело здесь не столько в «поле национальностей», упоминаемом в письме Лебедева, сколько во все усиливавшейся борьбе



«за» или «против» всей системы феодально-крепостнических отношений, т. е. в столкновениях социального характера, отношение к которым поставило участников диспута на противоположные стороны баррикады, предопределив тем самым далекое от науки отношение широкой публики к малопонятному для нее научному спору. Важность этой стороны дела вольно или невольно подтвердил будущий биограф Погодина Н. П. Барсуков, который в 1859—1862 гг. был студентом-вольнослушателем Петербургского университета, написав в 1861 г. своему брату А. П. Барсукову: «Одних лекции Костомарова влекли на площадь, меня же привели к древнерусским летописям»<sup>32</sup>.

Для определения идейно-общественной значимости диспута весьма существенно знакомство с некоторыми из последующих событий. «Московские друзья Погодина,— пишет Барсуков,— были очень недовольны его петербургскими похождениями, и он, как бы предчувствуя это, по возвращении в Москву затворился на своем Девичьем поле. Но друзья и единомышленники всячески старались разжечь московский патриотизм Погодина. И. Д. Беляев, например, писал ему: „Ваш диспут с Костомаровым породил в Москве множество толков, и Вы вели дело отлично, это видно даже из пристрастного к Костомарову описания диспута, сделанного Буличем. А у меня шибко чешутся руки отделать Костомарова печатно“»<sup>33</sup>. Симптоматично, что, подзуживая к продолжению дискуссии, друзья Погодина старались возбудить его гнев не столько против Костомарова, сколько против «Современника». Именно в этом духе было выдержано, в частности, письмо, которое прислал Погодину историк и филолог, хранитель русских монет в Эрмитаже А. А. Куник<sup>34</sup>.

В конце концов Погодин не выдержал и написал пространный «Отчет московским друзьям», который был опубликован в «Русской беседе». Текст «Отчета» свидетельствует, что от примиряющего тона, характерного для заключительного слова Погодина на диспуте и для написанных вскоре после него писем к Костомарову, в московской обстановке он вынужден был отказаться. «Отчет» Погодина, замечает Барсуков, «воздвиг против него целую бурю в петербургском журнальном мире»<sup>35</sup>. На выступление «Русской беседы» Костомаров ответил статьей «Последнее слово г. Погодину», которая была опубликована в «Современнике» и дополнена «Замечанием» Н. Г. Чернышевского<sup>36</sup>. Таким образом, дискуссия продолжалась прежде всего в форме спора между ведущим славянофильским

журналом и печатным органом русской революционной демократии. Добролюбовский «Свисток» высмеял новые выступления участников диспута подписанными Лилиеншвагером «Московским стихотворением» и «Петербургским посланием», причем эти сатирические стихи были снабжены пространными и весьма язвительными историческими примечаниями<sup>37</sup>.

На Костомарова также оказывалось давление как слева, в том числе со стороны круга «Современника», так и справа, в том числе со стороны петербургских историков, стоявших на консервативных и умеренно либеральных позициях. На разрыве Костомарова с «Современником» настаивал, в частности, Н. В. Калачев. Редакция «Современника» не очень верила в устойчивость симпатий Костомарова к линии, проводимой журналом<sup>38</sup>. Недоверие это оказалось обоснованным. Оно подтвердилось как в ходе диспута, так и в последующих заявлениях Костомарова, в том числе опубликованных в печати. Развернутое изложение позиции Костомарова содержит его письмо к Погодину от 10 января 1861 г.: «По крайней мере, не извольте втягивать меня в то, что писали Чернышевский и „Свисток“. Я сам по себе, они сами по себе [...] С „Современником“ у меня нет никакой чрезвычайной связи, я помещал там свои статьи, потому что мне хорошо платили, а писать для журнала как бы то ни было я никогда не буду — трудиться буду [...] для науки, более ни для чего другого»<sup>39</sup>.

Мартовский диспут 1860 г., несомненно, содействовал, с одной стороны, некоторому охлаждению отношений Костомарова с кругом «Современника», с другой — более тесному сближению Погодина с так называемыми «классическими» или предреформенными славянофилами. Но первопричину указанных сдвигов как в первом, так и во втором случае следует искать не столько в научных дискуссиях, сколько в обострении общественно-экономических противоречий накануне падения крепостного права, в обусловленной ими поляризации всех идейно-политических сил, участвовавших в борьбе вокруг насущнейших социальных вопросов. Многочисленные подтверждения тесной связи между развитием исторической науки и политическими взаимоотношениями эпохи содержатся в уже упоминавшихся и ряде других текстов Погодина, особенно в его «Отчете московским друзьям»<sup>40</sup>.

Большинство присутствовавших на диспуте, вся прогрессивная печать поддержали позицию Костомарова.

Конкретный фактический материал не оставляет сомнения в том, что ход и результаты его ученого поединка с Погодиным тесно связаны с общественно-политическими условиями, которые сложились в стране в годы революционной ситуации 1859—1861 гг. Однако обостренный интерес к теме и характер развернувшейся дискуссии были обусловлены также и всей предшествующей историей идейно-научной борьбы вокруг варяжского вопроса.

Этот вопрос вошел в нашу историографию во времена бироновщины как выражение националистических тенденций немецкого окружения Анны Леопольдовны; именно поэтому норманнская теория вызывала горячие протесты со стороны М. В. Ломоносова. В XIX в. антирусская направленность норманистов постепенно исчезла, а в их спорах с антинорманистами был достигнут компромисс на основе идеи о мирном призвании варяжских князей. После восстания декабристов дворянская историография стала активно использовать эту идею в качестве аргумента против освободительного движения, и Погодин решал норманнский вопрос именно в этом ключе. Долгое время как норманизм, так и антинорманизм служили утверждению принципов монархизма. К концу 50-х годов историческая обстановка существенно изменилась. Не только крепостнический строй, но и самодержавие трещали под напором антифеодальной борьбы крестьян и общедемократического подъема, охватившего довольно широкие круги русского общества. В условиях значительного обострения идейно-политической борьбы неизбежно должны были обостриться и действительно обострились столкновения между норманистами и антинорманистами, ибо предмет вновь обрел не только научную, но и политическую актуальность. Общественная жизнь обуславливала соответствующие сдвиги в историческом сознании, она же заставляла историческое познание снова и снова возвращаться к вопросу, который многим представителям официозной историографии, в частности Погодину, казался давно и окончательно разрешенным.

Подчеркнув общественно-политическую обусловленность хода и исхода диспута Погодина с Костомаровым, стоит вернуться и к его научным результатам. Они были негативными для обеих сторон, ибо еще раз подтвердили несостоятельность норманистской концепции первого из них и необоснованность отстаивавшегося вторым варианта антинорманистской доктрины. Но не следует забывать, что и отрицательный результат полезен для науки. Исход

мартовского поединка 1860 г., как и другие турниры норманистов с антинорманистами, показали, что точно установить этническую принадлежность Рюрика невозможно, да и не очень важно, так как речь идет о частном вопросе, «который равным счетом ничего не решал в проблеме образования Русского государства»<sup>41</sup>. На эту сторону дела обратил внимание ученых еще М. В. Ломоносов. Позднее на нее указывал В. Г. Белицкий, который со всей определенностью писал о бесплодности имевших место дискуссий норманистов с антинорманистами. «...Неужели,— заявлял он,— этих уроков мало для доказательств [...], что, кто бы ни были варяго-русы — немцы или славяне, вопрос о нашей народности через них ровно несколько не решается»<sup>42</sup>. Такой подход, совершенно чуждый концепции Погодина, не был взят на вооружение и его противником Костомаровым, хотя о нем в связи с диспутом напоминали как Добролюбов, так и Чернышевский. Позднее этот единственно правильный и действительно научный подход одобряли и поддерживали В. О. Ключевский и А. А. Шахматов. Дополненный и развитый, он превратился в исходную базу для решения проблемы происхождения русской государственности советскими историками, в том числе Б. А. Рыбаковым и Л. В. Черепниним.

В заключение представляется уместным высказать еще одно общее соображение. Главным историографическим источником, т. е. источником по истории науки, справедливо считаются тексты научных трудов изучаемого историка или историков. Но это не единственный, а в некоторых случаях даже не самый важный источник. Для изучения взаимоотношений между наукой и общественной жизнью очень существенны источники, освещающие не чисто научную сторону дела, а если можно так выразиться, события околонучного характера. Именно таким событием, таким историографическим фактом была ученая «дуэль» Погодина с Костомаровым — первый в России публичный диспут ученых-историков. Связанные с ним материалы представляют несомненный интерес для изучения исторической науки и славяноведения дореволюционной России. Они проливают свет как на содержание излагавшихся точек зрения, на результаты дискуссий, так и на их генезис с точки зрения общественно-политического и научного развития.



- <sup>1</sup> Дореволуционные дискуссии по норманскому или варяжскому вопросу весьма многочисленны и разнообразны; итоги разработки соответствующей проблематики подведены недавно в очень содержательном обзоре: *Алпатов М. А.* Варяжский вопрос в русской дореволуционной историографии.— *Вопр. истории*, 1982, № 5, с. 31—45.
- <sup>2</sup> См. в частности: *Цамутали А. Н.* Очерки демократического направления в русской историографии 60—70-х годов XIX в. Л., 1971, с. 20—141 и др.; *Иллерицкий В. Е.* Революционная историческая мысль в России (Домарксистский период). М., 1974, с. 137—333 и др.; *Могильницкий Б. Г.* О природе исторического познания. Томск, 1978, с. 124—133, 227—231 и др.; *Барс М. А.* Историческое сознание как проблема историографии.— *Вопр. истории*, 1982, № 12, с. 49—66.
- <sup>3</sup> *Добролюбов Н. А.* Собр. соч. М.; Л., 1963, т. VII, с. 397.
- <sup>4</sup> *Современник*, 1860, № 1, с. 28.
- <sup>5</sup> Письмо Погодина цитируется по его многотомной биографии, подготовленной Барсуковым и включающей тексты важнейших источников по рассматриваемой теме: *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1903, кн. 17, с. 274—275.
- <sup>6</sup> *Пантелеев Л. Ф.* Воспоминания. М., 1958, с. 233.
- <sup>7</sup> *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды..., кн. 17, с. 277.
- <sup>8</sup> Там же, с. 278—279.
- <sup>9</sup> Там же, с. 279—280.
- <sup>10</sup> Там же, с. 285—286.
- <sup>11</sup> *Пантелеев Л. Ф.* Воспоминания, с. 232—233.
- <sup>12</sup> *Добролюбов Н. С.* Собр. соч., т. VII, с. 402—404.
- <sup>13</sup> *Плетнев П. А.* Соч. и переписка. СПб., 1885, т. III, с. 482.
- <sup>14</sup> *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды..., кн. 17, с. 283.
- <sup>15</sup> Там же, с. 286—287, 291.
- <sup>16</sup> *Добролюбов Н. А.* Собр. соч., т. VII, с. 405.
- <sup>17</sup> *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды..., кн. 17, с. 287.
- <sup>18</sup> Там же, с. 287—288.
- <sup>19</sup> *Добролюбов Н. А.* Собр. соч., т. VII, с. 595—596.
- <sup>20</sup> *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды..., кн. 17, с. 290.
- <sup>21</sup> Там же.
- <sup>22</sup> *Пантелеев Л. Ф.* Воспоминания, с. 233.
- <sup>23</sup> См., в частности, «Благородную песнь созревшего Росса» и другие стихи Лилиеншвагера (*Добролюбов Н. А.* Собр. соч., т. VII, с. 420—430).
- <sup>24</sup> *Никитенко А. В.* Дневник. М., 1955, т. II, с. 113.
- <sup>25</sup> *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды..., с. 296—297.
- <sup>26</sup> *Русская старина*, 1885, № 6, с. 624—625.
- <sup>27</sup> *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды..., с. 302—303.
- <sup>28</sup> Там же, с. 305—306.
- <sup>29</sup> Там же, с. 306.
- <sup>30</sup> *Добролюбов Н. А.* Собр. соч., т. VII, с. 398—399, 402.
- <sup>31</sup> *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды..., кн. 17, с. 283.
- <sup>32</sup> ЦГАЛИ, ф. 87, оп. 1, д. 65, л. 38. Частично цитируется: *Шаблювский Е. С., Н. И. Костомаров в годы революционной ситуации (1859—1861 гг.)*.— В кн.: *Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.* М., 1970, с. 115.
- <sup>33</sup> *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды..., кн. 17, с. 295, 300.
- <sup>34</sup> Там же, с. 303—304.
- <sup>35</sup> Там же, с. 307—309.
- <sup>36</sup> *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 299—304.
- <sup>37</sup> *Добролюбов Н. А.* Собр. соч., т. VII, с. 425—433.
- <sup>38</sup> Там же, с. 399.



- <sup>39</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды..., кн. 17, с. 322—323; Цамугали А. Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977, с. 131 (с датой 10.1. 1860 г., которая представляется ошибочной).
- <sup>40</sup> Барсуков Н. П. См. в частности: Жизнь и труды..., кн. 17, с. 290.
- <sup>41</sup> Алпатов М. В. Варяжский вопрос..., с. 42—43.
- <sup>42</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., М., 1955, т. 9, с. 193 (Рецензия на «Славянский сборник» Н. В. Савельева-Ростиславича).

*Е. П. Аксенова*

**Славянская проблематика  
в статьях А. Н. Пыпина в «Современнике»**

Александр Николаевич Пыпин (1833—1904) известен как литературовед, историк культуры, этнограф, археолог, публицист, оставивший огромное научное наследие<sup>1</sup>. Общественная позиция и научная деятельность Пыпина (в основном в области литературоведения) неоднократно анализировались учеными<sup>2</sup>. Работы отечественных и зарубежных исследователей касаются, в частности, взглядов Пыпина на славянский вопрос и славянские литературы<sup>3</sup>, при этом они основаны главным образом на письмах ученого, его воспоминаниях, статьях в «Вестнике Европы» и монографиях, в то время как его публикации в «Современнике» использованы недостаточно<sup>4</sup>. Задачей настоящей статьи является анализ материалов, опубликованных А. Н. Пыпиным в журнале «Современник» и посвященных славянским народам.

Будучи студентом, А. Н. Пыпин слушал курсы лекций В. И. Григоровича и И. И. Срезневского. Хотя изучение южных и западных славян не стало его основной специальностью<sup>5</sup>, среди многочисленных работ Пыпина немалое место занимают исследования по истории литературы, общественной мысли, национально-освободительных движений, фольклору и этнографии зарубежных славянских народов.

В специальной литературе можно встретить не очень обоснованные утверждения либо о том, что Пыпин в своей деятельности никогда не выходил за рамки умеренного либерализма<sup>6</sup>, либо, о том, что он был «человеком самого крайнего направления» и находился «в самых тесных сношениях с государственными преступниками»: Н. Г. Чернышевским, А. А. Серно-Соловьевичем и др.<sup>7</sup> Более пра-

вильной представляется характеристика Пыпина в период общественного подъема и первой революционной ситуации в России как человека, придерживавшегося умеренно демократических и просветительских взглядов. Он немало воспринял из философских, политических, социальных воззрений Н. Г. Чернышевского, который оказал влияние на формирование общественно-политических взглядов Пыпина и его позиции как слависта<sup>8</sup>. Статьи Пыпина в годы его работы в «Современнике» (1856—1866) наполнены «острой критикой правительственной реакции и общественного консерватизма», идеями европеизации русской жизни, уничтожения остатков крепостничества, развития образования и т. д.<sup>9</sup> Тем не менее взгляды Пыпина нельзя ставить в один ряд с последовательным демократизмом Чернышевского, революционные и социалистические идеи которого, по собственному признанию Пыпина, не были им усвоены<sup>10</sup>.

Революционно-демократический журнал «Современник», где А. Н. Пыпин был автором, а в 1863—1866 г. соредактором, на целое десятилетие стал его основной трибуной. В «Современнике» Пыпиным опубликовано более 20 научных и публицистических статей, рецензий, библиографических заметок, посвященных славистической проблематике. Некоторые статьи шли за полной подписью Пыпина, другие были подписаны буквой «—А.—» или латинскими инициалами «А. Р.» Часть материалов была опубликована анонимно, что давало возможность автору уклониться от цензурных и политических преследований<sup>11</sup>.

А. Н. Пыпин обладал обширными знаниями, он владел западноевропейскими и славянскими языками. Для своих статей и рецензий он привлекал широкий круг русской и иностранной литературы и источников, критически анализируя их. Большой фактический материал черпал Пыпин из заграничных поездок, в том числе и в славянские земли (три раза он бывал в Чехии и по несколько месяцев жил в Праге). Это давало ему возможность проводить исследования объективно, на широком историческом фоне.

В основе взглядов А. Н. Пыпина на историю лежали признание закономерной связи явлений, общности законов исторического развития народов, представление о постоянной борьбе сил реакции и прогресса, в частности правительства и общества. Освещая историко-литературные явления, он обращался к «идее развития», но пользовался этой категорией в идеалистическом плане<sup>12</sup>. Тесная

связь общественных убеждений и научных взглядов А. Н. Пыпина повлияла на методы его исследовательской работы. Он ставил перед собой задачи, «во-первых, исторической критики, во-вторых, живого фактического наблюдения»<sup>13</sup>, чтобы, опираясь на исторические факты, проанализировать причину рассматриваемого явления. К достоинствам научных приемов Пыпина относятся «точность в передаче документов, полнота и четкость в характеристиках, острый анализ спорных вопросов»<sup>14</sup>.

Будучи одним из наиболее видных представителей культурно-исторической школы в России, А. Н. Пыпин рассматривал литературу как часть социальной истории, видел в ней отражение общественной жизни, признавал ее большую воспитательную и познавательную силу. В его литературоведческих трудах почти не было чисто литературного анализа; его интересовал по преимуществу исторический смысл литературных явлений<sup>15</sup>. Н. И. Кареев справедливо отмечал, что А. Н. Пыпин всегда видел «в фактах литературы факты жизни», что в этнографических, историко-литературных, лингвистических, публицистических, критических работах он выступал прежде всего как историк<sup>16</sup>. В связи с этим большое значение приобретает исследование еще не до конца выясненных исторических взглядов Пыпина, в том числе и его взглядов на историю славянских народов.

В трудах А. Н. Пыпина нашел отражение подъем национального самосознания и общественной мысли середины XIX в. «В нашей литературе выразилось в последние годы,— писал он в 1861 г.,—положительное сочувствие к славянскому вопросу. Он перестал занимать одних специалистов и делается предметом более или менее общего внимания»<sup>17</sup>. В своих статьях в «Современнике» А. Н. Пыпин касался истории всех славян, но основные его исследования посвящены народам, входившим в состав Австрийской империи, прежде всего чешскому народу, с жизнью и бытом которого он был хорошо знаком. В работах Пыпина нашли отражение как проблемы, связанные с отдаленным историческим прошлым славян, так и с процессом их национального Возрождения, их национально-освободительной борьбы. При этом он считал, что изучение славянских древностей менее интересует широкие круги общественности, которые «можно занять только современным вопросом, живой историей» (1859, 4, I, 367—368). Во всех статьях Пыпина история тесно связана с современностью.

Кроме конкретно-исторических вопросов, в статьях Пыпина затрагивались и общие вопросы, имеющие теоретическое значение. Немалую роль играли его материалы и с точки зрения историографии: в своих рецензиях он разбирал славистические труды В. И. Ламанского, А. Ф. Гильфердинга, В. И. Григоровича, В. К. Надлера, О. Ф. Миллера и других крупных ученых.

Вопросов ранней истории славян Пыпин касался в отзыве на книгу В. И. Ламанского «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» (СПб., 1859). Рецензент отмечал, что автор «выбрал древнейшую историю славян», чтобы «доказать присутствие славян» в указанных областях, собрал много любопытных фактических сведений, ценных для науки, но подошел к решению затронутых вопросов с позиции, в которой отразились его панславистские увлечения. Поставленной задаче Ламанский, по словам Пыпина, подчинил и методику исследования, заменяя доказательства «отвлеченными рассуждениями», «отдаленными аналогиями», фантазируя на тему известных исторических событий, допуская натяжки при изложении фактов прошлого, смешивая всех славян в одно племя, говорящее почти одним языком (1860, 4, III, 309—311, 318, 322).

В то же время в отклике на книгу В. И. Григоровича «О Сербии в ее отношениях к соседним державам, преимущественно в XIV—XV столетиях» (Казань, 1859) Пыпин положительно отзывался о научных методах известного слависта, который, несмотря на симпатии к славянам, подошел к исследованию «серьезно, исторически». Не углубляясь в детали известных событий, он, по словам Пыпина, объяснил общий смысл исторических явлений, указал на роль Византии, Турции и самих сербов в обстоятельствах падения Сербского царства (1860, 4, III, 323).

Вопросы средневековой истории славянских народов нашли отражение в рецензии Пыпина «Несколько слов о «народных началах» и о «цивилизации». Она была посвящена разбору книги О. Ф. Миллера «Славянский вопрос в науке и жизни» (СПб., 1865), где Пыпин отмечал черты славянофильства и попытки «освободиться от слишком больших его крайностей». Говоря о том, что «исторические явления жизни славян» порой оказывали влияние на политическую жизнь Европы, Пыпин приводил в пример гуситское движение. В противоположность Миллеру, который считал, что это движение — исключительно чеш-

ский или исключительно славянский протест против идей средневекового католицизма, Пыпин утверждал, что «самое содержание протеста было не новое и не исключительно национально чешское, а в то же время и до глубокой степени западноевропейское и восстание гуситов тоже не было единственным народным движением этого рода...». Не акцентируя внимания на национальном значении гуситских войн, Пыпин прежде всего подчеркивал общие черты чешского и западноевропейского реформационного движения. Он решительно возражал против славянофильских попыток приписать гуситское движение особым славянским «народным началам» ввиду того, что оно не имело отклика у «ближайших славянских соседей: у лужичан, у хорватов и хорутан» (1865, 6, II, 143—144, 146—147, 149, 150, 153).

Вопросы, связанные с гуситским движением, Пыпин рассматривал также в неподписанной рецензии на книгу В. К. Надлера «Причины и первые проявления оппозиции католицизму в Чехии и Западной Европе в конце XIV и начале XV века» (Харьков, 1864). Отмечая «толковое и связное» изложение и использование автором «исторического материала», он вместе с тем утверждал, что ценность книги снижается из-за славянофильской точки зрения Надлера, по мнению которого неудачи славян были следствием их измены «преданьям отцов и народным началам». А. Н. Пыпин отметил вклад гуситской идеологии в развитие общественной мысли Европы. Вместе с тем, говоря о сходстве гусизма с учением Виклефа, он не без основания полагал, что зарождение подобных идей имело «более широкие причины, чем одно частное положение чешской народности». По убеждению А. Н. Пыпина, именно в связи с участием народных масс в движении появляются у гуситов (в особенности у таборитов) стремления «преобразовать общественное устройство», присоединить «к религиозному вопросу... вопрос социальный». Рассуждая о гуситском движении, Пыпин пришел к убеждению, что это «была не реставрация, а полная религиозная и общественная революция...» (1864, 7, II, 41, 43, 45, 48—50)<sup>18</sup>.

А. Н. Пыпин не раз откликался в «Современнике» на исследования и публикации исторических документов, касавшихся истории украинско-польских отношений и связей, преимущественно в XVI—XVII вв. Так, в рецензии на сборник «Записки о южной Руси», изданный П. А. Кулишем, он отстаивал мысль о том, что восстания украинско-



го народа против польских панов вызывались не «частной обидой», а борьбой «за свои законные человеческие права»; причину этой борьбы Пыпин видел в притеснениях панами украинского народа, прежде всего в национальном и религиозном угнетении. В связи с этим Пыпин настаивал на необходимости сравнительного изучения «однородных явлений» в истории разных славянских народов для того, чтобы на основе имеющихся документальных источников делать обоснованные выводы (1857, 5, III, 12, 14, 24). В рецензии на «Архив исторических и юридических сведений, относящихся до России», издававшийся Н. В. Калачовым, Пыпин выделяет статью Д. Л. Мордовцева «Крестьяне в юго-западной Руси XVI века», в которой автор, по мнению рецензента, сумел составить из документальных свидетельств «живую историческую картину быта сельского населения юго-западной Руси под польским владычеством» и правдиво показал «стесненное положение крестьянства» (1861, 7, II, 68).

Наибольшее внимание А. Н. Пыпин уделял в «Современнике» проблемам национально-освободительной борьбы славянских народов в XIX в. В рамках этой проблематики важное в теоретическом отношении значение имели вопросы создания независимых национальных государств и наличия двух тенденций в национальных отношениях. Наиболее отчетливо поставленные в статьях Н. Г. Чернышевского, эти вопросы рассматриваются и в статье Пыпина «Вопрос о национальности и панславизм». Автор обратил внимание на характерный для того времени процесс: «Национальности зависимые обнаруживают стремление к самостоятельности; там, где нация была разбита на части, она стремится к обобщению и объединению племени». Другая тенденция, как считал Пыпин, заключалась в сближении народов на основе культурных и политических контактов. Развитие наций, считал Пыпин, связано прежде всего не с неопределенными «народными началами», а с условиями политической и экономической жизни народов. Он отмечал наличие различных социальных интересов, которые накладывают отпечаток на решение национальных проблем<sup>19</sup>. При этом социальный вопрос Пыпин выдвигал на первое место, подчеркивая, что достижение национальной независимости еще не гарантирует «народного блага». Истинный демократизм стремится «поднять права народа» и имеет «иной источник и иные средства и цель» (1864, 1, I, 185, 188—189, 212).

Выступая (в завуалированной форме) против попыток панславистски настроенных деятелей искусственно объединить в рамках одного государства разные нации (например, польскую и русскую), Пыпин делал важный теоретический вывод о том, что «явления развития или упадка национальности» подчиняются «общему естественному закону истории» и «не зависят от воли отдельных людей». По его мнению, национальные идеи могли иметь как прогрессивное содержание, если они служили «освобождению народа от чужеземного гнета» (Сербия, Дунайские княжества, Италия), так и реакционное, если на них основывается национальное угнетение других народов (например, политика Венгрии по отношению к словакам) (1864, I, I, 199—200, 211).

Обращаясь к истории отдельных народов, Пыпин, как и другие публицисты «Современника», не раз останавливался на вопросе о положении угнетенных славянских народов. В рецензии «Новые славянские исследования» он упоминал о тяжелом положении болгарского народа не только под турецким игом, но и в связи с религиозными притеснениями со стороны греков-фанариотов. Он отмечал, что «отношение турецких греков к болгарам напоминает отношение немцев к западным славянам: пользуясь выгодами своего положения, они точно так же не признают народности, восстают против народного языка в школе, в книге и в жизни» (1860, 4, III, 328). Болгарину, писал Пыпин в «Заметке» по поводу записок Ламанского о славянских землях, чтобы понять свое положение — «угнетение от фанариотов, турецкое иго, недостаток школ», не нужно «возвращение к старославянским идеалам», которые Ламанский маскирует под названием «сравнительного изучения славянских языков, народной словесности, народного быта и т. д.»; «первой необходимостью для болгарина является уничтожение своего зависимого состояния» (1864, 4, II, 196—197). В связи с этим Пыпин считал более полезным сближение научных исследований с практическими целями освободительной борьбы славянских народов.

Ту же мысль он проводил в рецензии на книгу А. Ф. Гильфердинга «Босния, Герцеговина и Старая Сербия» (СПб., 1860), отмечая как положительное явление обращение этого слависта к современному положению южнославянских народов. Приводя сведения из книги о печальной судьбе южнославянского населения, о разжигаемой в его среде религиозной розни, Пыпин обращал вни-

мание на то, что положение крестьян (и православных и католиков) почти одинаково, они испытывают все виды угнетения, в том числе и от своих сограждан, поскольку богатые горожане, купцы считают для себя более выгодным поддерживать дружеские отношения с турками и вместе с ними обирать население. Здесь, как и в других статьях, Пыпин, следуя за Чернышевским, соединяет национальный вопрос с социальным (1860, 3, III, 123).

Останавливаясь на положении чешского народа в статье «Два месяца в Праге», Пыпин писал, что во время своего пребывания в этом городе он ожидал найти «яркие признаки чешской жизни», однако повсюду наблюдал процесс германизации, с сожалением констатируя, что на улицах Праги «только и слышится немецкий язык...» (1859, 3, I, 129). В статье «Процессы о печати в Австрии» он отмечал, что конституция Австрийской империи 1861 г., которая должна гарантировать права славянских народов, постоянно нарушается и вообще существует только на бумаге (1863, 1/2, I, 416; 4, I, 592).

Большое внимание уделил Пыпин чешскому национальному Возрождению. В статьях «Два месяца в Праге» и «Вопрос о национальности и панславизм» он отмечал, что рост национального самосознания выражался в таких прогрессивных явлениях, как образование Чешской Матицы, издание популярной литературы с просветительской целью, развитие чешского языка, изучение народного быта, фольклора, обращение ученых, литераторов и общественных деятелей к славному историческому прошлому народа. При этом автор подчеркивал наличие не только культурного аспекта в процессе Возрождения, но упоминал, что «чешская литература, [по]мимо всяких идей о славянском царстве, проникнута была также и вопросом чисто социальным, общественным» (1859, 3, I, 134—148, 154, 172; 1864, 2, I, 493—497).

В корреспонденции из Праги Пыпин отразил и другие стороны чешского национального Возрождения. Он показал, что национальное движение неоднородно и национальные стремления не всегда совпадают с социальными задачами (которые по-разному понимаются аристократией, богатыми бюргерами и простым народом). Пыпин совершенно обоснованно заявлял о том, что эпоха революции 1848 г. показала необходимость перехода от распространения идей национальной независимости в публицистике и художественной литературе к решению этой задачи в области политики, так как дело не столько в

свободе национальности, сколько в свободе общественной и политической и первая зависит от последней (1860, 2, III, 296, 298). Новое поколение деятелей национально-освободительного движения славянских народов, писал Пыпин, уже начинает понимать, что «со славянскими добродетелями», патриархальной «любовью» и античным «смирением» в настоящее время ничего не сделаешь, когда против них действуют «полиция, а в случае надобности штыки и пушки». Фразерство должно смениться «здравым взглядом на вещи» (1864, 3, I, 109—110).

А. Н. Пыпин не раз подчеркивал, что решение национального вопроса в Австрийской империи было затруднено довольно сложными отношениями между населявшими ее народами: немцами, чехами, словаками, венграми и др. Он отмечал, в частности, что славяне, раздираемые национальной рознью, вместо борьбы с общим врагом для защиты прав своей народности от немецкого и венгерского влияния стали поддерживать действия ненавистного им австрийского правительства (1859, 4, I, 324, 328; 1860, 2, III, 300—301)<sup>20</sup>.

Политика австрийского правительства в отношении подвластных ему славянских народов рассматривалась в серии статей Пыпина под названием «Процессы о печати в Австрии» (1863, 1/2; 3, 4). Пыпин был в Праге по заданию «Современника» и руководствовался при написании статей указаниями Чернышевского<sup>21</sup>. Статьи звучали очень актуально в период подготовки цензурной реформы в России, так как в них автор останавливался на австрийском законе о печати 1852 г., уничтожившем превентивную цензуру. Пыпин писал, что разгул реакции после поражения революции 1848 г. сказался и на славянских органах печати. Лишь после принятия конституции 1861 г. «политическая журналистика снова появилась»; «у чехов, поляков, мораван, словаков, хорватов, далматинцев явились свои национальные органы». Печать прежде всего отражала национальные интересы каждого народа. Вместе с тем он подчеркивал различие социальных основ при подходе к решению национального вопроса представителями разных общественных слоев. Пыпин критиковал чешскую либеральную журналистику, которая «довольствуется ближайшими вопросами», не ставит более обширных задач, выходящих за узконациональные рамки, не доискивается до корней социальных процессов. В такой журналистике, справедливо замечал он, трудно найти «как-нибудь наклонности к ниспровержению законного порядка» (1863,

1/2, I, 415, 416, 418, 420). Рассматривая процессы против печати, Пыпин заключал, что они не только характеризуют политическое положение Австрийской империи после принятия конституции, но и дают возможность «для некоторых выводов относительно законодательств о печати вообще» (Там же, 417).

Неоднократно отмечая централизаторские тенденции австрийского правительства и разоблачая его политику, направленную на разъединение народов империи, Пыпин вместе с тем подчеркивал несостоятельность программы, пассивность и нерешительность действий чешских либералов, введивших, по его словам, «в заблуждение огромную массу, которая будет основывать надежды на том, на чем нельзя основывать никаких надежд». Бросая упрек либералам, восхвалявшим конституцию, Пыпин справедливо замечал, что славянские и другие народы Австрии «останутся в том же положении», «как бы ни были назначены официальные границы земель, как бы ни была даже расширена национальная равноправность», если «политическая литература» и общественные деятели не оставят конституционных иллюзий и не будут «искать более широких основ» для решения «вопроса о национальной свободе и гражданской свободе». Таким образом, Пыпин показывал взаимосвязь проблем национального и социального освобождения славянских народов (1863, 4, I, 624—625).

Национально-освободительные движения были неразрывно связаны с проблемой взаимопомощи и союза в борьбе с общим врагом — военно-феодальными монархиями. Пыпин в своих статьях в «Современнике» уделял большое внимание вопросу о славянской взаимности. Прежде всего в его статьях рассмотрен вопрос о возникновении и развитии самой идеи славянского единства. В статье «Вопрос о национальности и панславизм» Пыпин, вступив в спор со славянофилами, отрицательно отнесся к их утверждению о существовании идеи славянского единства издавна. Он высказал небесспорное мнение, что история славян не представляет «какие-нибудь доказательства в пользу славянского единства». Пыпин отмечал, что в древности обычаи и понятия у славян были сходными, но «славянский мир является уже сильно разделенным» — не было связей между славянскими народами, постепенно сложились их религиозные и политические различия, разное влияние оказывали на те или иные группы славян более сильные соседние государства; западные славяне приняли католичество и немецко-латинское образование; турки, порабо-



тив болгар и сербов, отняли у них возможность развития; полабские славяне были полностью онемечены. Эти аргументы подтверждали, с точки зрения Пыпина, невозможность в те времена широкого распространения идеи единства среди славянских народов в той форме, какую она приобрела в дальнейшем. Автор делал вывод о том, что в средние века шел исторический процесс разъединения славянских народов и языков, а идея славянской взаимности (особенно в смысле политической солидарности) получила распространение в связи с ростом национального самосознания и расширением национально-освободительных движений лишь в XIX в. (1864, 3, I, 81—84, 90).

На страницах «Современника» Пыпин проследил процесс постепенного перерастания возникшего у отдельных народов стремления к национальной независимости в понимание необходимости совместной борьбы против своих угнетателей и воссоединения разрозненных частей нации. По его мнению, первый пример понимания того, что «племенное» единство может иметь «большую политическую важность», что оно «обязывает народы ко взаимной поддержке, выгодной для целого племени», подал еще в XVII в. Юрий Крижанич (1860, 7, III, 261), но эти взгляды не вызвали в то время сочувствия. Остановившись на итогах первого славянского съезда в Праге (1848 г.), Пыпин подчеркивал, что мысль о единстве стала тогда элементом славянской идеологии, но еще не являлась частью политической программы борьбы за национальную независимость: «В то время когда обществу нужно было разъяснение политических принципов и обстоятельств, панслависты занимали его рассуждениями о народной поэзии и мифологии.» (1864, 3, I, 100).

Пыпин отмечал, что в 1848 г. чехами впервые была сделана попытка перевести идею славянского единства в политическое русло, «утвердить их национальные права и закрепить политический союз с их единоплеменниками в Австрии, которым они могли до сих пор предлагать одно литературное братство» (1861, 3, II, 27). Но эта идея еще не была осознана как необходимость взаимодействия для достижения политических целей, каждый народ отставал в революции свои интересы, и «славянский мир не восстал как один человек...» (1864, 2, I, 509).

Пыпин писал о существовании различных взглядов на идею славянского единства: одни подходили к ней с точки зрения науки, другие видели в ней «величественную политическую комбинацию», из которой Европа сделала

«пугало», опасаясь объединения славянских народов с Россией и успения последней (1864, 2, I, 493). Говоря о послереволюционном времени, Пыпин считал, что идея славянской солидарности должна из области литературной перейти в политическую, в этом он видел ее перспективу. Однако он не строил иллюзий и понимал, что о «славянской взаимности лучше продолжать говорить еще в будущем времени», когда она будет основана, как он надеялся, на «свободном развитии национальностей» (1859, 3, I, 132, 144, 146—148, 159, 173; 4, I, 325—326, 358, 370; 1861, 1, II, 7, 19, 23).

А. Н. Пыпин вел неустанную борьбу со славянофильскими взглядами на историю славян и славянскую взаимность. В отличие от славянофилов он не обособлял славянские народы и не противопоставлял их другим европейским народам. Он считал, что «трудно совместить в какое-нибудь славянское единство современные общественные стремления русского, поляка, чеха, серба и т. д.: единство их не столько славянское, сколько европейское», т. е. нельзя замыкать вопрос в узконациональных рамках, когда существуют более широкие, общеевропейские задачи (1864, 3, I, 93). В противоположность славянофилам Пыпин не противопоставлял славянскую культуру западноевропейской, он высоко ценил достижения западной науки, считал недопустимым рассматривать славянские и западные народы как «положительное и отрицательное начало» (1859, 4, I, 369), призывал к тому, чтобы поднять образование в славянских странах до европейского уровня путем усвоения того, что достигло «современное европейское знание» (1864, 2, I, 112).

Будущее «славянской национальности», писал А. Н. Пыпин в статье «Вопрос о национальности и панславизм», в развитии по общему закону, «от которого не освободят ее никакие исключительные добродетели...» (1864, 3, I, 111). Наряду с этнической Пыпин считал столь же вредной религиозную исключительность. По его мнению, те, кто ее поддерживают, препятствуют делу славянского единства (Там же). Вслед за Чернышевским он отрицательно оценивал «Послание к сербам», в котором славянофилы противопоставляют южных славян православного и католического вероисповедания, что противоречит естественному ходу событий и стремлению сербов и хорватов к национальному объединению. По замечанию Пыпина, «сами сербы гораздо разумнее стараются устранить прежние разногласия и восстановить национальное единство

двух отраслей одного племени, нарушенное когда-то религиозным делением» (1864, 2, I, 506). Он подчеркивал, что защитники «народности» в России, заявлявшие о «всеобщем славянском братстве и сочувствии», в славянском вопросе «дошли до вражды к самим славянским народностям», а их теория национальной исключительности несовместима с ревностно отстаиваемым славянофилами христианским учением (точнее, православием), которое проповедует призывы к равенству всех людей и народов (1864, 1, I, 187, 191).

Пыпин, как и Чернышевский, критиковал славянофилов за то, что они приписывали себе роль «старших братьев» по отношению к другим славянским народам (1863, 2, I, 503; 3, I, 110). Он не считал, что Россия должна возглавлять большое государственное объединение всех славян. Вместе с тем Пыпин прослеживал, как возникли у угнетенных славян мысль о «могущественной поддержке» со стороны Русского государства, надежда на сильного союзника: славянские народы были разрозненны, покорены, сознавали свою слабость, только русский народ жил «под своей властью», Русско-турецкие войны XVIII в. и участие России в освобождении Сербии в первой трети XIX в. помогли славянам уверовать в реальную помощь России (1860, 7, III, 258—259; 1864, 2, I, 482, 485; 3, I, 98).

Славянофилы старались всеми средствами укреплять эту веру славян в мессианистскую роль России, которая, по словам Пыпина, «об этом и не думала». Эти иллюзии поддерживали славянофильские печатные органы («Москвитянин», «Русская беседа»). Славянофилы стремились применить свои убеждения не только в общественно-политической сфере, но и в области культуры. В статье «Вячеслав Ганка» Пыпин писал, что «русская поэзия говорила для чехов языком Хомякова; русская история и политика — языком г. Погодина, который всегда думал, что мы всех шапками закидаем» (1861, 3, II, 37). В «Заметке» о записках Ламанского Пыпин изложил славянофильскую точку зрения ученого на перспективы развития славянских народов, заключающуюся в том, что южные (да и западные) славяне нуждаются в поддержке со стороны России и «не в состоянии без помощи этой нравственной силы существовать как *нация*...» При этом они должны принять русский язык и русскую литературу. Аргументированно высказываясь против такой позиции и скептически относясь к идее единого славянского языка (но допуская

в то же время возможность помощи России славянским народам в культурно-научном плане), Пыпин делал вывод, что русский язык может тогда приобрести всемирное значение, когда идеи, выраженные на нем, будут иметь общечеловеческий интерес (1864, 4, II, 190, 198—199). Пыпин был глубоко убежден в том, что славянское единство не может быть достигнуто искусственным путем, «стремлениями немногих патриотов и ученых» (1864, 1, I, 199). Несколькими годами ранее Пыпин писал, что изучение языка невозможно навязать другому народу, «он сам начнет это изучение, когда наша литература будет представлять свободно развитую общечеловеческую мысль [...], когда вся жизнь примет несколько иной характер» (1860, 4, III, 321). Читателю тех лет, привыкшему к различного рода иносказаниям в «Современнике», трудно было не уемотреть в этих словах намек на необходимость преобразований в России.

Проблема славянской взаимности включает в себя вопрос о федерации. Славянофильская интерпретация идеи славянского единства подразумевала преобладающее положение России в славянской федерации. Пыпин, в свою очередь, считал, что в любой федерации должен учитываться принцип равноправия, ибо «единство возможно будет только при равных правах народностей», входящих в ее состав (1864, 3, I, 113). Именно на такой основе, считал он, могли бы существовать «под формою федерации» все «разноплеменные части» Австрийской империи, в том числе и неславянские народы (однако Пыпин не разработал более подробно вопрос о включении в славянскую федерацию неславянских народов) (1859, 4, I, 324—325). Пыпин не акцентировал внимание на задачах создания союза подвластных Австрии народов. Однако он отмечал тот факт, что идея солидарности у деятелей славянского национального движения в Австрии «очень мирно уживается с чувствами глубокой преданности к Габсбургской династии» (1864, 4, II, 189). В отличие от славянофилов, которые искали основы для федерации в отдаленном историческом прошлом, в «славянских древностях», Пыпин полагал, что будущая федерация или, шире, «солидарность целого племени должны заключаться не в единстве доисторических преданий, а в единстве социальных интересов...» (1864, 3, I, 112).

Славистическая тематика статей Пыпина в «Современнике» охватывала различные вопросы исторического прошлого, освободительной борьбы и развития национального

самосознания западных (главным образом чехов) и отчасти южных славян. В его работах тесно переплетались проблемы истории и современности, общественно-политической жизни славян и России. В теоретическом отношении важны высказанные им на страницах журнала мысли о перспективах национальных отношений. К заслугам Пыпина-публициста и ученого следует отнести постоянную, настойчивую, бескомпромиссную борьбу со славянофильскими воззрениями на историю славян и славянское единство.

Необходимо помнить, что демократизирующее влияние на исследования Пыпина оказывала редакция «Современника», и прежде всего Н. Г. Чернышевский. Журнальные статьи Пыпина, написанные с прогрессивных позиций и богатые конкретным материалом, как правило, объективно подтверждали основные положения в области славистики идеолога революционной демократии. Работы Пыпина 50—60-х годов отразили как его собственные исторические взгляды, так и воззрения прогрессивных научных и общественных кругов России на славянский вопрос. Поднятая А. Н. Пыпиным в публикациях «Современника» славянская проблематика нашла в дальнейшем отражение и развитие в его обобщающих трудах по истории славянских литератур, а также в научно-публицистических статьях 70—80-х годов в журнале «Вестник Европы».

<sup>1</sup> См.: Список трудов академика А. Н. Пыпина. 1853—1903/Сост. Я. Л. Барсков. СПб., 1903. 122 с.

<sup>2</sup> Пятидесятилетие научно-литературной деятельности академика А. Н. Пыпина.—Лит. вест., 1903, № 3, с. 323—344; *Веселовский А. Н.* К характеристике А. Н. Пыпина (Отголоски юбилея).—Рус. ведомости, 1903, 5 апр.; *Семевский В. И.* Памяти А. Н. Пыпина.—Рус. мысль, 1904, № 12, с. 164—171; *Веселовский А. Н.* А. Н. Пыпин. СПб., 1905, 8 с.; *Глинский Б. Б.* Александр Николаевич Пыпин. (Материалы для биографии и характеристики).—Ист. вест., 1905, № 1, с. 263—307; *Сакулин П. А.* Н. Пыпин. М., 1905. 44 с.; *Пиксанов Н. К.* Академик А. Н. Пыпин. К столетию со дня рождения.—Вест. АН СССР, 1933, № 4, с. 39—44; *Ткаченко П. С.* Новые материалы о А. Н. Пыпине.—Рус. лит., 1967, № 4, с. 119—121; Академические школы в русском литературоведении. М.: Наука, 1975. 515 с.; *Ровда К. И.* Россия и Чехия. Взаимосвязи литератур. 1870—1890. Л.: Наука, 1978, 288 с.; *Крупчанов Л. М.* Н. Г. Чернышевский и А. Н. Пыпин. (Своеобразие общественно-литературных позиций).—Науч. док. высшей школы. Филол. науки, 1978, № 4, с. 41—48.

<sup>3</sup> *Кораблев В. Н.* Академик А. Н. Пыпин и славянский вопрос.—Вест. АН СССР, 1933, № 8—9, с. 67—78; *Ровда К. И.* Чернышевский и славянские литературы.—В кн.: Н. Г. Чернышевский. Эстетика. Литература. Критика. Л., 1979, с. 254—283; *Вулетий В. А.* Н. Пыпин и руско-сръпске књижевне везе у другој половини 19 века.—Годиш-



- ькак философского факультета у Новом Саду. Къ. XII/I, 1969, с. 1—35.
- <sup>4</sup> На статьи Пыпина в «Современнике», посвященные чешскому национальному и общественному движению середины XIX в., ссылаются: *Ровда К. И.* По следам 1848 г. (А. Н. Пыпин в Праге).— Рус. лит., 1970, № 1, с. 173—183; *Москаленко Е. А.* Национальная борьба чехов в 60-е годы XIX в. в русской дореволюционной литературе.— Вест. Моск. ун-та. Сер. История, 1979, № 2, с. 51—62. Полнее, но в контексте других славяно-балканских публикаций журнала, отражены работы Пыпина в статьях: *Аксенова Е. П.* Вопросы истории народов Центральной и Юго-Восточной Европы на страницах «Современника» (1854—1862).— Сов. славяноведение, 1980, № 4, с. 43—56; *Она же.* История народов Центральной и Юго-Восточной Европы в журнале «Современник» (1863—1866 гг.).— В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981, с. 237—260; *Она же.* История народов Австрийской империи после революции 1848 г. в освещении русской революционно-демократической подцензурной периодики 50—60-х годов XIX в.— В кн.: Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984, с. 134—157.
- <sup>5</sup> *Пыпин А. Н.* Мои заметки. М., 1910, с. 39, 137.
- <sup>6</sup> История русской журналистики XVIII—XIX веков. М., 1973, с. 369. О либеральном перерождении Пыпина в 60-х годах говорилось в кн.: *Евгеньев-Максимов В. Е., Тизенгаузен Г. Ф.* Последние годы «Современника». Л., 1939, с. 21.
- <sup>7</sup> *Ткаченко П. С.* Новые материалы..., с. 120—121.
- <sup>8</sup> *Ровда К. И.* Чернышевский и славянские литературы, с. 257.
- <sup>9</sup> *Пиксанов Н. К.* Академик А. Н. Пыпин, с. 42; Академические школы..., с. 135.
- <sup>10</sup> *Пыпин А. Н.* Мои заметки, с. 65—66.
- <sup>11</sup> См.: *Боград В. Э.* Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М.; Л.: Гослитиздат, 1959. 825 с.
- <sup>12</sup> *Крупчанов Л. М. Н. Г.* Чернышевский и А. Н. Пыпин..., с. 44; Академические школы..., с. 122; *Пиксанов Н. К.* Академик А. Н. Пыпин, с. 43; *Веселовский А. Н. А. Н. Пыпин*, с. VII.
- <sup>13</sup> *Пыпин А. Н.* Мои заметки, с. 138.
- <sup>14</sup> *Пиксанов Н. К.* Академик А. Н. Пыпин, с. 41.
- <sup>15</sup> *Пиксанов Н. К.* Академик А. Н. Пыпин, с. 42—43; Академические школы..., с. 109, 110, 113, 115.
- <sup>16</sup> Пятидесятилетие научно-литературной деятельности..., с. 327—328. Характерно, что в 1871 г. он был избран академиком за работы в области истории, но не был утвержден в этом звании, так как в докладе министра народного просвещения Д. А. Толстого Александру II говорилось, что исторические очерки Пыпина, напечатанные в журналах, обличают в нем «политические взгляды и мысли, далеко не соответствующие нашему государственному устройству» (*Семевский В. И.* Памяти А. Н. Пыпина, с. 169).
- <sup>17</sup> *Пыпин А. Н.* Вячеслав Гапка.— Современник, 1861, № 3, отд. II, с. 2. Далее ссылки на «Современник» даются в тексте статьи.
- <sup>18</sup> Подробнее данный круг вопросов рассматривается в кн.: *Липтева Л. П.* Русская историография гуситского движения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978, с. 102—114.
- <sup>19</sup> *Аксенова Е. П.* История народов..., с. 242—243.
- <sup>20</sup> Подробнее см.: *Аксенова Е. П.* Вопросы истории..., с. 49—50, 52.
- <sup>21</sup> *Ровда К. И.* Чернышевский и славянские литературы, с. 261—262.

**А. Н. Пыпин о славянофилах.  
(К постановке проблемы)**

Славянофильство как идейное течение общественной мысли XIX в. не перестает привлекать внимание советских и зарубежных исследователей, причем разговор о славянофилах зачастую перерастает в спор<sup>1</sup>. Интерес исследователей славянофильства к работам А. Н. Пыпина вполне закономерен. Ведь Пыпин воспринимал многообразные грани учения славянофилов как заинтересованный современник, и в его подходе к осмыслению данного идейного течения своеобразно сочетались позиции ученого и общественного деятеля, вырабатывающего и отстаивающего свои убеждения. Испытав влияние революционной демократии, А. Н. Пыпин на протяжении всей своей жизни принадлежал к передовой части русской интеллигенции. И это во многом определило его внимание к истории освободительного движения, демократической русской литературе, фольклору, а также к славянскому движению. Таким образом, Пыпин давал ответ на многие вопросы, которые пытались разрешить и славянофилы. Он, в частности, «строго и последовательно разграничил славянофильство от официальной народности»<sup>2</sup>. Знаменательно, что сам термин «официальная народность» вошел в научный оборот после употребления его Пыпиным. «Славянофильское понимание народа,— считал Пыпин,— было преувеличенное, но в тридцатых и сороковых годах оно было заслуженной, в некоторых отношениях было тогда смелым делом указывать в народе единственный критерий государственной и общественной жизни, придавать ему такое значение, о котором и не помышляла официальная народность»<sup>3</sup>.

Однако при рассмотрении поставленного вопроса следует принимать во внимание и мысль Пыпина о том, что в славянофильском учении были многие темы, очень сходные с идеалом официальной народности<sup>4</sup>. Пыпин совершенно справедливо считал, что славянофилы были во многом близки к официальной народности и иной раз даже как бы сливались с ней. Но тем не менее многие сходные позиции не должны были, по его мнению, затемнить имеющиеся различия этих двух систем.

Безусловно, что в результате консервативности своей программы ранние славянофилы часто и здесь скатыва-

лись на шовинистические позиции, а славянофильство после реформенного периода практически примет панславистскую программу, но тем не менее ранних славянофилов, считал Пыпин, нельзя безоговорочно назвать панславистами.

Характерно, что в научный обиход вошло представление о панславизме, сложившееся у А. Н. Пыпина. «Обыкновенно,— писал Пыпин,— под этим именем понимается ожидаемое политическое объединение и возвышение славянского мира под влиянием России или, ближе, распространение над славянским миром прямого (или в крайнем случае косвенного) господства России»<sup>5</sup>. При этом, добавлял Пыпин, «не столько сами славянские племена ищут этого объединения, сколько идет к нему сама Россия»<sup>6</sup>.

Пыпин видел у славянофилов в отличие от представителей официальной идеологии искреннее желание освобождения славянских народов от иностранного гнета, их стремление внести вклад в культурное развитие этих народов. Он отмечал: «Для меня собственно славянская часть славянофильского вопроса была всегда предметом большого интереса и сочувствия»<sup>7</sup>. Но ученый не принимал и резко критиковал теоретические построения и практические шаги славянофильской школы в решении славянского вопроса. Православие признавалось им слишком абстрактной, а потому и непонятной основой объединения для тех, кого должно объединить. «Славянофилы хотели искать славянского объединения в православии,— отмечал Пыпин,— их теория мистических предопределений не убедительна, нет указания на ее практическое выполнение»<sup>8</sup>. Православная вера не была господствующей религией во всех славянских странах, и Пыпин понимал, что ее придется насаждать насильственно. И тогда, по его словам, этот «вероисповедный элемент» скорее явился бы принципом разъединения, чем средством собирания родственных национальностей»<sup>9</sup>.

В период заграничных командировок 50—60-х годов XIX в. молодой ученый живо интересовался жизнью славянских народов, а также деятельностью славянофилов в странах Юго-Западной Европы. О своих впечатлениях Пыпин сообщал П. П. Пекарскому из Праги в ноябре 1858 г.: «„Русская беседа“ заводит славянскую контору, главным агентом ее здесь — Раевский, священник при венском посольстве, человек, понимающий дела, но, к сожалению, поддакивающий Кошелевым и Аксаковым. Они же

проповедают о православии и здесь их слушает только Ганка, потому что отыскал в рукописях остатки православия у чехов в древние времена, для остальных славян это православие есть вещь, на которую они не все тотчас кинутся. Для католических сербов и словенцев это православие вовсе не политическая вещь [...] Посылают (славянофилы.— А. О.) сюда „Русскую беседу“ в музей, но в музей я был первый, который разрезал листки „Русской беседы“ за нынешний год. Из этого можете видеть, как интересуются содержанием славянофильского журнала. Наши славянофилы, если думают действовать серьезно, то напрасно воображают, что можно много сделать посредством „Русской беседы“»<sup>10</sup>.

В письмах к В. И. Ламанскому того периода А. Н. Пыпин развивал мысль о том, что, несмотря на благие побуждения, славянофильские деяния, по сути дела, наносят вред, тормозят культурное развитие славянских народов. «Пражские читатели воображают,— писал он,— что „Русская беседа“ есть выражение всего литературного мира России. Я старался объяснить им, что со славянофилами у нас вообще соглашаются, когда дело идет именно о славянах, тогда как в других вопросах согласия со славянофилами де-факто не имеется... „Русская беседа“, взявшая на себя славянскую монополию, не позаботилась завязать действительных литературных сношений с чехами... не доставляет книг музею или хоть изредка статей о русской литературе для Часописи. Просто позор... чехи не имеют понятия о русской литературе: вместо порядочных людей переводят Булгарина и подобную сволочь... Меня возмущает в Праге „Русская беседа“ — эти люди угощают чехов своими теориями о великом славянстве, вечном православии, о славянском превосходстве — вещах смешных, когда перейдешь от них к факту, увя же не столь блестящему... Чехам нужны книги»<sup>11</sup>.

Позиции Пыпина по этому вопросу интересно сравнить с точкой зрения Чернышевского, который, как известно, имел большое влияние на формирование взглядов двоюродного брата. Н. Г. Чернышевский в период складывания революционной ситуации, стремясь к объединению всех оппозиционных сил в натиске на самодержавие, полагал возможным некоторый компромисс и со славянофилами как с одним из отрядов либерального лагеря. Но и тогда руководитель революционной демократии считал их программу, в частности по славянскому вопросу, в целом неприемлемой для себя как нереальную, оторванную от

действительной конкретной ситуации, складывающейся в славянском мире. «Славянофилы,— писал он в 1860 г.,— провозглашают, что исповедание должно быть краеугольным основанием государственного и всего гражданского быта, а славянская народность тождественна с православием»<sup>12</sup>. Он отмечал также, что «славяне должны, по мнению славянофилов, принять наши понятия, наши обычаи и учреждения, нашу веру в наш язык. А такие фантастические планы вредны и недоступны пониманию рас-судка»<sup>13</sup>.

Таким образом, уже на рубеже 50—60-х годов XIX в. воззрения Пыпина по славянскому вопросу как бы пере-кликались со взглядами Чернышевского на данную проблему. Следует отметить, что их взгляды полностью не совпадали. Руководитель «Современника» считал, что только успех революции в России может способствовать истинно-му освобождению славянских народов, их всестороннему развитию, подлинному равноправному единению с Россией. Тем не менее изложенная точка зрения Пыпина была прогрессивной и передовой. И мы знаем, как много сделал Александр Николаевич для культурного развития славян-ских народов, их подлинного сближения с демократиче-ской Россией.

Одной из обсуждаемых в исследовательской литерату-ре проблем является вопрос о времени возникновения сла-вянофильства. В недавно вышедшей монографии Ю. З. Ян-ковского мнение Пыпина искажается<sup>14</sup>. Свою позицию по данному вопросу Пыпин высказал следующим образом: «Школа, известная впоследствии под именем славяно-фильства, образовалась около второй половины тридцатых годов [...] Казалось бы [...] славянофильство должно было иметь свои antecedенты в предшествующем ходе русской общественной мысли, но до сих пор генеалогия славянофильского учения не была хорошенько определена ни его последователями, ни противниками»<sup>15</sup>. Далее Пыпин рассуждал о том, что если видеть сущность сла-вянофильства в приверженности к началам Древней Руси, во вражде к Петровской реформе, то очень длинный ряд предшественников его можно найти в течение XVIII в. «Как ни странны были бы многие из этих аналогий, они не были бы лишены известного основания,— писал Пы-пин,— потому что вражда к преобразованиям Петра и к петербургскому периоду не один раз высказывалась сла-вянофилами с крайней настойчивостью и старина восхва-лялась с самым решительным предпочтением»<sup>16</sup>.



В то же время Пыпин подчеркивал, что такое сравнение было бы не точно. «При всем пристрастии к старине славянофилы ставят вопрос гораздо сложнее и мудренее, чем консервативные патриоты XVIII в. Славянофильство не просто инстинкт или предание, а целое новое учение, действующее философскими доказательствами, владеющее средствами той новейшей образованности, на которую нападает во имя народной старины [...] отличается от людей XVIII в. и степенью образованности и свойством многих общественных стремлений (где ... идет рядом с лучшими представителями либерализма), что сходство прекращается и в славянофильстве приходится признать явление иного порядка [...] Его теоретическое содержание было развито по приемам и под указанием европейской литературы, именно романтизма и немецкой философии»<sup>17</sup>.

Здесь зримо обнаруживается пыпинская трактовка вопроса, согласно которой идейные течения, воззрения, если они вызваны каким-то крупным политическим актом (в данном случае реформой Петра I), складываются в школу, после того как обозначаются их конкретные последствия во всех сферах жизни. Только тогда возникает потребность в философском обобщении, появляется реальная фактическая основа для него.

Исследователи славянофильства резонно отмечают отличия, существовавшие между ранними и поздними славянофилами. Когда на арену еще не выступили крестьянские массы и была слаба революционная демократия, славянофилы как одно из проявлений либерализма могли проявить хотя бы в некоторых выступлениях большую смелость, несомненную искренность, субъективное благородство и соприкоснуться с демократией, подлинным патриотизмом и народолюбием. Впоследствии же славянофильство вместе со всем российским либерализмом эволюционировало вправо и по мере вовлечения в движение широких масс отходило от союза с демократией. Именно в этом советские исследователи видят причины резкого поворота славянофильства вправо в 60-е годы XIX в.<sup>18</sup>

Интересна созвучность этой мысли с замечанием А. Н. Пыпина, высказанным в «Характеристиках литературных мнений». «Историческую оценку славянофильства сороковых и первых пятидесятых годов трудно отделять от его последующей деятельности, первый период его истории, нами рассматриваемый, имеет характер подготовительного разъяснения общих начал, которые потом стали применяться ближе к практической деятельности»<sup>19</sup>.

И эту практическую деятельность поздних славянофилов пореформенного периода, выродившихся в квасных патриотов, по сути дела не отличавшуюся от царистской внутренней и внешней политики, Пыпин решительно не принимал и подвергал самой резкой критике.

В литературе о славянофилах постоянно проводится мысль о том, что внутри славянофильского учения, сложившегося в 40—50-е годы в единую и законченную систему взглядов, выделялись различные направления. Поэтому объективное и всестороннее рассмотрение данного течения общественной мысли должно включать подробный анализ идей его ярчайших представителей как выразителей отличительных характерных сторон школы. Закономерно, что внимание Пыпина было последовательно направлено на исследование теоретических взглядов и политической практики К. С. и И. С. Аксаковых. Заслуживает внимания сам подход Пыпина-ученого к анализу их идейно-политической программы. Историка интересует не только теоретические построения Аксаковых сами по себе, но и в значительной степени их обусловленность как общественно-политической обстановкой эпохи, так и личностными качествами этих деятелей. Так, в статье «Константин Аксаков», емкой и во многом полемически заостренной, теории К. С. Аксакова характеризуются как «странное сплетение исторических мечтаний, христианского смирения и раздражительной фанатической нетерпимости, порожденное мрачными временами угнетения мысли и фальшивой официальной народностью»<sup>20</sup>. О полемической направленности этих слов речь пойдет позже, а сейчас обратим внимание на связь славянофильского учения с мрачными временами угнетения мысли, которую Пыпин подчеркивал постоянно. По его мнению, К. С. Аксаков являлся «представителем того [...] юношеского идеализма, каким жила русская литература [...] в тридцатые и сороковые годы и которому еще не приходилось выступать из мира теорий и мечтаний и сталкиваться лицом к лицу с жестокой или дикой действительностью»<sup>21</sup>.

Характерно, что и формирование Ивана Аксакова как мыслителя Пыпин соотносил с общим чувством «всех просвещенных людей [...] которых угнетала тупая действительность, подавление лучших умственных стремлений общества, преследование науки, устранение всякой общественной инициативы, весь тот известный порядок вещей, под которым таилось глубокое расстройство самих государственных сил, как это вскоре и показала Крымская

война»<sup>22</sup>. Для Пыпина оба Аксакова прежде всего деятели непреклонные, даже и в этой ужасающей обстановке убежденные в правоте своей теории, несмотря на ее крайности, противоречия, неприятия учения как властями, так и противниками правительства. Об Иване Аксакове Александр Николаевич писал: «Он не теоретик, не историк, а восторженный трибун, требующий применения идеи, которая составляет его убеждение и веру вместе»<sup>23</sup>.

Сходные с И. С. Аксаковым черты увидел Пыпин в воззрениях К. С. Аксакова, о котором ученый, в частности, писал: «У нас, к сожалению, не часто встречаются ни такая беззаветная убежденность, ни такая правдивость»<sup>24</sup>. Отмечая слабые стороны взглядов К. С. Аксакова, заключавшихся в оторванности от практической сложной и противоречивой действительности, Пыпин во многом видел истоки этих недостатков и в складе его личности. По мнению Пыпина, К. Аксаков был «человек кабинетный, не выходящий из домашнего и дружеского круга, не знавший опытов жизни, в своем кругу не слышавший других мнений [...] отвыкший встречать отпор другого образа мыслей и не выносивший никакого возражения [...] витал в области теоретических представлений вне прозаического и сурового столкновения с действительностью», принадлежал к тому типу людей, у которых «легко создаются отрешенные от жизни идеалы»<sup>25</sup>.

Кажущаяся противоречивость в оценках Пыпиным братьев Аксаковых объясняется тем, что к славянофильству, достигшему апогея своего развития в конце 1850-х годов, Пыпин подходил уже с позиций 70—80-х годов XIX в., по-своему актуализируя это учение к современным вопросам общественной жизни. В частности, он пытался установить преемственность славянофильской и народнической идеологий. С народниками Пыпин полемизировал в цикле статей, помещенных в «Вестнике Европы». Обращение к славянофильскому учению давало возможность Пыпину выступать и против народнической идеологии. Так, указывая на абстрактность понятий о народе, на излишне резкое противопоставление его образованным слоям России, Пыпин замечал, что «славянофилы и народники сорок лет не объясняют, почему же все-таки крестьяне лучше интеллигенции»<sup>26</sup>.

Дополнительные акценты в полемику Пыпина со славянофилами вносят записные книжки ученого 70—80-х годов прошлого века, хранящиеся в Доме-музее Н. Г. Чернышевского. Против ироничного приукрашения

славянофилами русской допетровской старины направлено следующее замечание историка: «Характер 16 века. Это не было патриархальное время, потому что нравы были крайне испорчены... противоестественный разврат [...] Этот разврат есть не частная, а господствующая черта, так что Древняя Русь вовсе не похожа на Аркадию. Жестокости до Грозного»<sup>27</sup>. Из этого следует, что патриархальная идиллия, декларативно противопоставленная славянофилами разложению общества под влиянием «пагубного воздействия Запада», по мнению Пыпина, была миражем. Да и сама Древняя Русь вовсе не отделялась от Западной Европы китайской стеной: известные на Руси «калики-перехожие были тем же, что пиллигримы» в странах Запада<sup>28</sup>. И далее на широком материале русских былин и образцов западноевропейского эпоса, используя результаты исследований И. И. Срезневского, проводя лексические параллели, Пыпин доказывал общность многих явлений культуры и быта (в том числе одежды «высших сословий» Древнерусского государства и его соседей с Запада)<sup>29</sup>.

Из изложенного выше следует, что А. Н. Пыпин, оценивая славянофильство как явление общественной мысли, постоянно подчеркивал его сложность, многогранность и противоречивость. Поэтому его определения и оценки далеко не просты и не однозначны. «Я не сделался славянофилом,— писал он в своих воспоминаниях.— Я все-таки видел подлинный народ, и мне трудно было идеализировать его так, как необходимо было для славянофильства, т. е. до фантастики»<sup>30</sup>. Но в то же время для Пыпина славянофилы, как и западники, суть либералы. Пыпину импонировали пусть робкие, но все же оппозиционные отношения ранних славянофилов к царскому бюрократическому аппарату, их неприятие крепостного права, поиск славянофильством иных путей развития России, чем те, которые защищала официальная народность и царское самодержавие. Именно с этим Пыпин связывал определенные исторические заслуги ранних славянофилов в развитии русского общества.

<sup>1</sup> Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976, с. 5.

<sup>2</sup> Новое время, 1904, 27 нояб.

<sup>3</sup> Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. СПб., 1909, с. 344.

<sup>4</sup> Там же, с. 118.

<sup>5</sup> Пыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем. М., 1913, с. 1, 5.

<sup>6</sup> Там же.

- <sup>7</sup> Письмо А. Н. Пыпина к В. И. Ламанскому от 19.XII 1858. Цит. по статье: *Кораблев В. Н.* Академик А. Н. Пыпин и славянский вопрос.— Вест. АН СССР, 1933, № 8—9, с. 73.
- <sup>8</sup> *Пыпин А. Н.* Панславизм..., с. 57.
- <sup>9</sup> Там же, с. 58.
- <sup>10</sup> РО ГПБ, ф. 586, № 355, с. 7. Эти сведения сообщил мне И. В. Порох, которому я приношу благодарность.
- <sup>11</sup> *Кораблев В. Н.* Академик А. Н. Пыпин..., с. 74—75.
- <sup>12</sup> *Чернышевский Н. Г.* Народная бестолковость.— Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1950, т. 7, с. 843.
- <sup>13</sup> Там же.
- <sup>14</sup> *Янковский Ю. З.* Патриархально-дворянская утопия. М., 1981, с. 16.
- <sup>15</sup> *Пыпин А. Н.* Характеристики литературных мнений..., с. 247.
- <sup>16</sup> Там же, с. 248.
- <sup>17</sup> Там же.
- <sup>18</sup> *Кулешов В. И.* Славянофилы и русская литература, с. 13.
- <sup>19</sup> *Пыпин А. Н.* Характеристики литературных мнений..., с. 344.
- <sup>20</sup> *Пыпин А. Н.* Константин Аксаков. 1817—1860.— Вест. Европы, 1884, № 4, с. 617.
- <sup>21</sup> Вестник Европы, 1885, № 3, с. 146.
- <sup>22</sup> *Пыпин А. Н.* Славянский вопрос во взглядах И. Аксакова.— Вест. Европы, 1886, № 3, с. 779.
- <sup>23</sup> Там же, с. 766.
- <sup>24</sup> *Пыпин А. Н.* Славянский вопрос..., с. 766.
- <sup>25</sup> *Пыпин А. Н.* Константин Аксаков..., с. 590.
- <sup>26</sup> *Пыпин А. Н.* Константин Аксаков..., с. 593.
- <sup>27</sup> Записная книжка А. Н. Пыпина 1875 года.— Основной фонд Дома-музея Н. Г. Чернышевского, № 3763, с. 83.
- <sup>28</sup> Там же, с. 84.
- <sup>29</sup> Там же, с. 84—85.
- <sup>30</sup> *Пыпин А. Н.* Мои заметки.— Вест. Европы, 1905, № 3, с. 58.

*В. Э. Орел*

**Из истории  
отечественной компаративистики.  
Сравнительно-историческая грамматика  
и этимология  
в исследованиях А. Ф. Гильфердинга**

Основные работы А. Ф. Гильфердинга в области сравнительно-исторической грамматики и этимологии славянских языков относятся к раннему периоду его научного творчества. Большое исследование «О сродстве языка славянского с санскритским»<sup>1</sup> вышло в свет, когда его автору не было еще 22 лет, в начале 1853 г., а спустя полгода была опубликована работа «Об отношении языка славянского к языкам родственным»<sup>2</sup>, которая тогда же была защищена как диссертация на степень магистра славянской филологии. После 1853 г. А. Ф. Гильфердинг факти-



чески больше не обращается к сравнительно-исторической проблематике, и две названные работы могут поэтому рассматриваться как вполне законченный цикл исследований, знаменующий завершение определенного этапа в формировании А. Ф. Гильфердинга как ученого-слависта.

Обращаясь в настоящей статье к этим работам, мы ставим перед собой цель определить их место среди аналогичных исследований современников, по возможности выделить, пользуясь конкретным материалом, сильные и слабые стороны лингвистического творчества А. Ф. Гильфердинга, установить некоторые источники влияния, испытанного молодым ученым, словом, дать, насколько это достижимо, непредвзятую оценку его ранних опытов в области компаративистики. Это представляется тем более существенным, что имеющиеся пока общие характеристики лингвистических работ А. Ф. Гильфердинга в корне противоречат одна другой. Весьма невысоко ставит работу «О сродстве языка славянского...» Л. П. Лаптева, согласно которой эта книга отличается «как многочисленностью примеров, так и поверхностностью сравнений различных элементов отдельных языков»<sup>3</sup>. Говоря об обеих работах А. Ф. Гильфердинга по сравнительно-историческому языкознанию, исследовательница высказывается еще резче: «Эти ранние сочинения показывают, что их автор не смог в достаточной мере овладеть сравнительно-историческим методом лингвистического исследования. Как славянофил, обособлявший всю культурную жизнь славян от Западной Европы, Гильфердинг пришел к выводам, что восточная отрасль индоевропейских языков стоит выше западной, а в восточной отрасли самое высокое место занимает язык славян. Эта теория не соответствовала достижениям передовой лингвистики XIX в. и не была принята наукой»<sup>4</sup>. Совсем по-иному оцениваются исследования А. Ф. Гильфердинга В. В. Колесовым, который отмечает ряд удачных предположений методического характера, относящихся к концепции языкового родства и языкового развития, к пониманию специфического в эволюции славянских языков<sup>5</sup>. Закljučая краткую характеристику книги «Об отношении языка славянского...», В. В. Колесов в сущности оценивает А. Ф. Гильфердинга как новатора в области философии языка: «Развитие языка в таком представлении (т. е. в концепции А. Ф. Гильфердинга.— В. О.) есть самовыражение народного духа; современные философы все ближе подходят к такому же выводу»<sup>6</sup>. Как нам представляется, даже оценки менее общего характера мо-

гут быть приняты только в том случае, если работы А. Ф. Гильфердинга будут рассмотрены и проанализированы с большей конкретностью, с привлечением деталей, многие из которых могут оказаться более значимыми, чем итоговые выводы, декларировавшие самим автором, иногда не без влияния экстралингвистических факторов.

Рассмотрение лингвистических работ А. Ф. Гильфердинга мы начнем с труда «О сродстве языка славянского...». Главной целью книги является, как мы сказали бы теперь, установление закономерных звукосоответствий между славянскими языками и санскритом. В терминологии автора эти звукосоответствия формулируются как «изменения» санскритских звуков или звуко сочетаний в славянские, что в целом соответствует уровню развития науки того времени<sup>7</sup>. Эта цель определяет и четкую структуру книги, большая часть которой представляет собой перечень постулируемых А. Ф. Гильфердингом звукосоответствий, каждое из которых подтверждается списком славянско-санскритских лексических параллелей. Несколько параграфов этого раздела посвящены редким и аномальным звукосоответствиям, а также тем случаям, где для славянского материала предполагается наличие дезимологизированных префиксов. Изложению всех этих вопросов предшествуют краткое введение и обширный список славянско-санскритских лексических тождеств, призванный доказать исходный тезис о родстве между санскритом и славянскими языками.

К сожалению, не представляется возможным исчерпывающе определить круг лингвистических источников, которыми пользовался А. Ф. Гильфердинг, хотя кое-что в этом направлении все-таки можно сделать. Что касается материала славянских языков, то автор несомненно почерпнул значительную часть русских диалектных слов из вышедшего к тому времени «Опыта областного великорусского словаря» (СПб., 1852)<sup>8</sup>. К источникам, которые А. Ф. Гильфердинг, по-видимому, также использовал непосредственно, относятся и некоторые тома «Полного собрания русских летописей»<sup>9</sup>. С меньшей уверенностью сюда можно отнести и словари Юнгмана и Линде<sup>10</sup>, но можно не сомневаться, что большую часть лексических материалов по южнославянским и западнославянским языкам автор получил не только из словарей, но и от И. И. Срезневского<sup>11</sup>. Основным источником по древнеиндийской лексике А. Ф. Гильфердингу служили два труда Ф. Боппа<sup>12</sup>, которые вместе с тем составляли и основу его пред-

ставлений об индоевропейском языкознании и справочное издание, в котором он нашел ряд достоверных славянско-санскритских лексических параллелей. Значительный вклад в этимологическую часть работы А. Ф. Гильфердинга был внесен выдающимся лингвистом С. П. Микуцким, многие этимологии которого (нередко очень удачные и проникательные) включены А. Ф. Гильфердингом в текст книги.

Интересны некоторые особенности подачи материала. Если древнеиндийская лексика, согласно лингвистической традиции того времени, представлена в форме корней, то для славянской лексики автором разработана оригинальная транскрипция на основе кириллицы, с помощью которой передаются данные западнославянских и южнославянских языков. Эта транскрипция последовательно применяется на протяжении всей книги и с некоторыми изменениями используется также и в магистерской диссертации.

Довольно большая часть славянско-санскритских звуко-соответствий, указанных А. Ф. Гильфердингом, безусловно соответствует действительности, как, например, соответствия слав. *e* — скр. *a*, слав. *o* — скр. *a*, слав. *ь* — скр. *i*, слав. *ѣ* — скр. *u*, слав. *ѡ, ѣ* — скр. *an*; в некоторых случаях установленные соответствия справедливы лишь частично или с оговорками. Тем не менее в списке звуко-соответствий преобладают такие, которые можно охарактеризовать только как заведомо неверные и фантастические, например: слав. *k* — скр. *g*, слав. *t* — скр. *d, dh*, слав. *b* — скр. *v*, слав. *b* — скр. *p* и т. п. Появление ошибочных фонетических правил объясняется двумя основными причинами: во-первых, у А. Ф. Гильфердинга отсутствует достаточно четкое представление о фонетических соотношениях между славянскими языками, он зачастую подменяет такие соотношения простым тождеством или близостью артикуляций; во-вторых, весьма невысока надежность многих привлекаемых им лексических параллелей, так что иногда фонетическое соответствие базируется на длинном списке полностью ложных этимологических тождеств. Из этих двух причин более существенной представляется нам первая, так как именно она свидетельствует, с каким трудом осваивались самые элементарные (и самые важные) понятия компаративистики. Из некоторых разделов книги следует, что А. Ф. Гильфердингу было известно различие между сходством двух звуков в двух разных языках и историко-фонетическим соответствием этих звуков друг дру-

гу, однако в большинстве случаев, зная об этом различии, автор не сумел активно использовать свое знание и, по-видимому, незаметно для самого себя подменял его более привычным и простым представлением о чисто поверхностном сходстве.

Эта особенность работы А. Ф. Гильфердинга представляется нам чрезвычайно существенной. Она не дает оснований ни для излишне критического, ни для чересчур восторженного отношения, но — и это куда важнее — объективно отражает состояние знаний по компаративистике и уровень владения этими знаниями. Несомненно, освоив некоторые ключевые положения нового сравнительно-исторического метода, соответствующие частные исследовательские приемы и материал, А. Ф. Гильфердинг не сумел верно приложить приобретенные им познания к сформулированной им самой задаче.

Сравнительно-исторические, историко-фонетические результаты А. Ф. Гильфердинга основываются на этимологическом фундаменте. Многие этимологии, принятые или предложенные им, как мы уже говорили, неверны, некоторые фантастичны. Однако наряду с многочисленными неудачными этимологическими решениями в книге можно найти и довольно значительное число удач, этимологически корректных и перспективных сопоставлений, причем часть их, по всей видимости, принадлежит самому автору, а часть заимствована у предшественников. Среди самостоятельных этимологий отнюдь не все заслуживают упрека в «поверхностности», на некоторых из них мы позволим себе остановиться ниже <sup>13</sup>.

Для слав. \**baĵati* ‘говорить’ Гильфердинг принимает родство с др.-инд. *bhā-* ‘светить’ (с. 14), в то же время подчеркивая, что значение ‘говорить’ обнаруживается также у лат. *fāgī* и греч. *φημί*. Эта точка зрения долгое время вообще не рассматривалась в науке <sup>14</sup> и была возрождена Баком <sup>15</sup>. Теперь факт родства славянского глагола можно считать доказанным, эта этимология (без упоминания авторства Гильфердинга, как и во всех случаях, рассматриваемых далее) принята в этимологических словарях <sup>16</sup>. Словарями принята и этимология слав. \**basъkъ(jь)*, рус. диал. *баской* ‘красивый’ — к др.-инд. *bhās-* ‘светить, блестеть, сиять’ (с. 14) <sup>17</sup>. Весьма перспективно сближение слав. \**gadati-* ‘говорить, гадать’ с др.-инд. *gad-* ‘говорить’ (с. 18), заново рассмотренное А. А. Фрейманом в 1924 г. <sup>18</sup> и безусловно более удачное, чем традиционное сопоставление этого славянского слова с греч. *χαυδάω* ‘хватать’. Смелое сравнение рус. диал. *кавник* ‘колдун’ с др.-инд. *kavi-* ‘мудрец, поэт’ (с. 20) приобретает в настоящее время более глубокое звучание ввиду недавно проде-



ланного В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым анализа слав. \*kovati и его производных, действительно родственного др.-инд. kavi-<sup>19</sup>.

Далее мы приводим перечень некоторых других удачных этимологий А. Ф. Гильфердинга, ограничиваясь для экономии места только указанием более поздних авторов, разделивших его точку зрения: слав. \*šajati 'ждать' — др.-инд. sāu- 'замечать, наблюдать' (Мейе, Бернекер); слав. \*šipъ, \*šiniti 'располагать, делать' — др.-инд. śip- 'собирать, складывать' (Мейе, Бернекер); слав. \*jaxati/\*jexati 'идти, ехать' — др.-инд. yā- то же (Мейе); слав. \*emela 'омела' — др.-инд. amalā 'незапятнанный' (Потебня; впоследствии этимология оспаривалась); слав. \*gojiti 'кормить, воспитывать, лечить' — др.-инд. gāu- 'лекарство' (Микуцкий, Бернекер); слав. \*gostъ 'гость' — др.-инд. ghas- 'поедать' (Блумфилд, Мейе); слав. \*žerbe 'жеребенок' — др.-инд. garbha- 'чрево, плод'; слав. \*gътъ 'куст' — др.-инд. gulma- то же (Уленбек); слав. \*bělъ(ь) 'белый' — др.-инд. bhālam 'блеск' (Бернекер); слав. \*ętro 'печень' — др.-инд. antram 'внутренности' (Бернекер); слав. \*děbati 'бить, ломать' — др.-инд. dabh-, dambh- 'вредить, причинять боль, ранить' (до настоящего времени это славянское слово не имеет общепринятой этимологии<sup>20</sup>); слав. \*šegrъ 'черепок, череп' — др.-инд. kaṛaga- 'черепок, чаша' (Погодин, Шефтеловиц).

Следует иметь в виду, что приведенный выше список отнюдь не исчерпывает всех этимологий А. Ф. Гильфердинга, которые могут быть признаны удачными. Кроме того, надо помнить, что в эту группу мы не включали тех толкований, которые ко времени написания книги уже были приняты в науке. С этой существенной поправкой достоверность этимологического материала в исследовании Гильфердинга может быть признана достаточно высокой для середины XIX в.

Магистерская диссертация А. Ф. Гильфердинга «Об отношении языка славянского к языкам родственным» по своему содержанию существенно отличается от книги «О родстве языка славянского...»: некоторые вопросы, поставленные в последней, автор развивает, используя дополнительный материал (так, например, на базе литовских и славянских слов вновь обсуждается вопрос о дэтимологизированных префиксах — с. 60 след.), однако в целом диссертация имеет обзорный характер и затрагивает такие проблемы, как родство индоевропейских языков, индоевропейские истоки славянского склонения, морфология глагола в балтийском и славянском и т. п. В начале книги автор дает сжатую историю развития индоевропейистики и краткую характеристику некоторых ин-



доевропейских языков. Этот раздел представляет для нас особый интерес, поскольку именно здесь впервые в отечественной лингвистике дается на достаточно высоком научном уровне лаконичное сравнительно-историческое описание албанского языка (Об отношении языка славянского... с. 19—28).

Как единственный источник своего знакомства с албанским языком А. Ф. Гильфердинг называет книгу Ксиландера<sup>21</sup>, однако прямое сопоставление с последней показывает, что работа Гильфердинга не могла опираться на одни только данные Ксиландера: в приводимых Гильфердингом материалах лишь часть слов точно воспроизводит транскрипцию и морфологическое оформление, принятые Ксиландером, в то время как другие лексемы представлены в иной форме<sup>22</sup>.

То обстоятельство, что русский читатель вообще не имеет никакой достоверной информации об албанском языке, заставляет Гильфердинга охарактеризовать этот язык с большей степенью подробности, чем другие (греческий, итальянские, даже кельтские), менее экзотические.

Албанцев русский исследователь считает потомками фракийцев. «К несчастью,— замечает он,— албанский язык так искажен или, лучше сказать, обезображен, что не только трудно вывести из него какие-нибудь заключения о прежнем языке фракийцев, но и нелегко даже узнать в нем индоевропейское начало» (с. 19). Затем А. Ф. Гильфердинг приводит ряд сопоставлений албанских слов с лексикой других индоевропейских языков (преимущественно древнеиндийской); многие сопоставления заимствованы у Ксиландера, хотя в некоторых случаях можно отметить уточнения, принадлежащие, видимо, самому Гильфердингу.

Любопытное наблюдение делает А. Ф. Гильфердинг в связи с албанским глаголом. «Во всех членах индоевропейской семьи,— пишет он,— главное сходство имеют корни глаголов, а в именах представляется больше отступлений и разнообразия; один албанский язык состоит из глагольных корней, совершенно отличных или уж так искаженных, что в них не видно вовсе индоевропейского начала, а из имен по большей части сходных с санскритскими [...] Корни глаголов [...] у албанцев совершенно особенные» (с. 26—27). Далее приводится список глагольных корней, не поддающихся этимологизированию на индоевропейской почве.

Этот отрывок тем более интересен, что мы можем проследить его источник. Им, безусловно, является замечание аналогичного содержания, сделанное Ксиландером<sup>23</sup>, который, правда, высказывается несколько более осторожно и подчеркивает, что албанский располагает меньшим фондом индоевропейских

глагольных корней, нежели германский и славянский. Таким образом, мы вправе говорить не только о том, что А. Ф. Гильфердинг почерпнул у Ксиландера часть приводимого им албанского лексического материала, но и подвергся определенному влиянию со стороны Ксиландера в том, что касается содержательной трактовки этого материала.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают выводы, венчающие обе книги А. Ф. Гильфердинга, ибо именно они, к сожалению, были до настоящего времени основой для оценки этих исследований. Здесь сразу обращает на себя внимание контраст между тоном и смыслом заключения книги «О сродстве языка славянского...» и «Положений» магистерской диссертации. Выводы исследования «О сродстве языка славянского...» имеют в целом сугубо конкретный, прагматический характер. А. Ф. Гильфердинг делает попытку оценить количественное соотношение слов индоевропейского и неиндоевропейского происхождения в славянских языках (правда, пресувеличивая при этом процент исконной индоевропейской лексики и противопоставляя свою точку зрения «западной»). Далее высказывается смелый для лингвистики XIX в., но вполне оправданный тезис, гласящий, что «все славянские наречия сохранили в одинаковой мере древние слова, восходящие для эпохи первобытного единства семьи индоевропейской», причем «областные говоры славянских народов не менее книжных наречий богаты коренными словами, родственными санскритским» (с. 286)<sup>24</sup>. Нужно подчеркнуть, что это положение А. Ф. Гильфердинга не голословно, а прямо согласуется с его исследовательской практикой: привлеченная им к анализу славянская лексика изобилует диалектными (преимущественно восточнославянскими) словами. А. Ф. Гильфердинг переходит затем к обоснованию тезиса о ближайшем родстве древнеиндийского с балтийским и славянским, и, хотя он, безусловно, заблуждается, полагая, например, что ирано-индийские связи не столь тесны и что аргументируемая им близость доказывается параллельно проходившими в санскрите, балтийском и славянском фонетическими процессами, многое в его оценках может быть принято и сейчас, поскольку в ряде отношений между древнеиндийским и балто-славянским действительно отмечается ряд знаменательных фонетических и лексических изоглосс.

«Положения» магистерской диссертации в ряде существенных пунктов повторяют выводы книги «О сродстве языка славянского...», однако первые тезисы «Положений»

поражают своим несоответствием как содержанию самой диссертации, так и выводам книги «О сродстве...». Конституируя, что «западные языки индоевропейского племени, т. е. персидский в Азии, греческий, албанский, латинский, немецкий и кельтский в Европе, отличаются от языка санскритского постоянными, органическими изменениями звуков, особенными в каждом из них», А. Ф. Гильфердинг неожиданно высказывается следующим образом: «Все живые языки западной половины индоевропейского племени суть языки *вторичного образования* и произошли в историческое время от утратившихся языков первичных, частью известных нам, частью неизвестных. Единственные сохранившиеся до сих пор языки *первичного*, доисторического образования суть языки Восточной Европы, литовский и славянский» (с. 127).

Вряд ли можно отрицать, что здесь А. Ф. Гильфердинг, опираясь, кстати, на определенную концепцию языкового развития, разрабатывавшуюся в середине XIX в.<sup>25</sup>, рисует славянофильски тенденциозную картину, идущую вразрез с содержанием его диссертации или, во всяком случае, никак не вытекающую из последней. Отсутствие подобных рассуждений в книге «О сродстве языка славянского...» (вышедшей на полгода ранее) и некоторые другие признаки, в частности тот факт, что в предисловии к диссертации выражается признательность А. С. Хомякову, не упоминаемому в книге «О сродстве...», заставляют предполагать, что первая половина 1853 г. была для А. Ф. Гильфердинга периодом, на протяжении которого произошли определенные изменения в его общественно-политической позиции, или точнее, что эта позиция приобрела более ясные очертания. А. Ф. Гильфердингом были сделаны первые шаги в сторону от «академической» славистики, и эти шаги в сущности совпали по времени с началом его научной деятельности.

Мы вправе теперь подвести некоторые итоги наших наблюдений. Лингвистические работы А. Ф. Гильфердинга имеют определенные достоинства: в них содержится ряд удачных этимологических решений, они свидетельствуют о том, что молодой автор был неплохо осведомлен в проблематике и основных методических установках сравнительно-исторического языкознания, был знаком с отдельными важными исследованиями по компаративистике. Вместе с тем познания А. Ф. Гильфердинга в этой области носили преимущественно пассивный характер: он далеко не всегда успешно применял к языковому материалу

исследовательские принципы, известные ему теоретически. В некоторых случаях это приводило к логическим противоречиям в концепции языковых отношений между славянскими языками и древнеиндийским. При том, что исследования А. Ф. Гильфердинга в целом свободны, от каких-либо экстралингвистических влияний, следует отметить, что в магистерской диссертации автор делает на основании вполне объективно освещенных фактов весьма тенденциозные выводы, сформулированные в славянофильском духе. Несмотря на это, следует достаточно высоко оценить эти исследования, и прежде всего потому, что они ввели в отечественную науку значительное количество новых лингвистических фактов: А. Ф. Гильфердингом было дано сравнительно-историческое описание албанского языка и предложены этимологии (нередко удачные) большого числа славянских слов, в том числе и диалектных. Представляется принципиально важным не предавать забвению эти стороны научной деятельности А. Ф. Гильфердинга и восстановить в необходимых случаях его авторство как этимолога-слависта.

- <sup>1</sup> *Гильфердинг А. Ф. О сродстве языка славянского с санскритским.* СПб., 1853, 288 с. Книга вышла в свет в феврале 1853 г. и представляет собой извлечение из 2-го тома «Прибавлений к Известиям второго отделения Академии наук».
- <sup>2</sup> *Гильфердинг А. Ф. Об отношении языка славянского к языкам родственным.* М., 1853, III+126+IV с. Книга опубликована в октябре 1853 г.
- <sup>3</sup> *Лангева Л. П.* [А. Ф. Гильфердинг].— В кн.: *Славяноведение в дореволюционной России.* Биобиблиографический словарь. М., 1979, с. 122.
- <sup>4</sup> Там же.
- <sup>5</sup> *Колесов В. В. Становление идеи развития в русском языкознании первой половины XIX в.*— В кн.: *Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX века.* Л., 1984, с. 175 и сл.
- <sup>6</sup> *Колесов В. В. Становление идеи...* с. 176. Спорность этого высказывания во всех его деталях, на наш взгляд, не нуждается в комментариях.
- <sup>7</sup> Уже одно это позволяет поставить работу Гильфердинга выше откровенно любительских работ его современников, написанных на сходные темы, но без всякого учета сравнительно-фонетического аспекта. Ср., например: *Хомяков А. С. Сравнение русских слов с санскритскими.* СПб., 1855, 156 с.
- <sup>8</sup> Это следует из сообщения самого Гильфердинга (*Об отношении языка славянского...*, с. 69) и из проведенной нами выборочной сверки материала.
- <sup>9</sup> К 1853 г. в свет вышли т. 1 (*Лаврентьевская и Троицкая летописи.* СПб., 1846), т. 2 (*Ипатьевская летопись.* СПб., 1843), т. 3 (*Новгородские летописи.* СПб., 1841) и т. 4 (*Новгородские и псковские летописи.* СПб., 1841).



- <sup>10</sup> Jungmann J. Slovník česko-německý. Praha, 1835—1839, d. I—V. Linde S. B. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1807—1814, t. I—VI.
- <sup>11</sup> «И. И. Срезневский открыл мне чрезвычайно важные лингвистические материалы, собранные им в разных славянских землях» (О родстве языка славянского..., с. 7).
- <sup>12</sup> Bopp F. Über das Konjugationssystem des Sanskrits Sprache, in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache, nebst Episoden des Ramajan und Mahabharat. Frankfurt a/M, 1816; XLVI+312 S. *Idem*. Vergleichende Grammatik des Sanskrits, Zend, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gotischen und Deutschen. Berlin, 1833—1852. (Bd. 1, XVIII+288 S.; Bd. 2, VIII+S. 289—732; Bd. 3, XV+S. 733—980).
- <sup>13</sup> Во всех приводимых ниже примерах мы предпочли подавать материал в более привычной для современного читателя, «модернизированной» форме: лексика славянских языков дается в праславянской реконструкции с указанием реконструируемого значения, древнеиндийский материал представлен в принятой в наше время транслитерации, а в значениях древнеиндийских форм внесены (без оговорок в тексте) необходимые уточнения.
- <sup>14</sup> Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—1913, S. 39.
- <sup>15</sup> Buck C. D. Words of speaking and saying in the Indo-European languages.— American Journal of Philology, 1915, v. 36, p. 127.
- <sup>16</sup> Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974. Вып. 1, с. 138—140.
- <sup>17</sup> Sadnik L., Aitzetmüller R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1964, Lief. 2. S. 127.
- <sup>18</sup> Цит. по кн.: Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1979, Вып. 6, с. 78.
- <sup>19</sup> Иванов В. В., Топоров В. Н. Этимологическое исследование семантически ограниченных групп лексики в связи с проблемой реконструкции праславянских текстов.— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Докл. сов. дел. М., 1973, с. 155 и сл. Принадлежность рус. диал. *кавник* к гнезду слав. \*kovati представляется весьма вероятной.
- <sup>20</sup> Отсутствие надежного этимологического решения для этого интересного праславянского диалектизма констатируется и в кн.: Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1977, вып. 4. с. 225. Очевидно, неприемлемо толкование Махека, видящего здесь экспрессивное смягчение *terati*. (*Machek V*. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971, s. 640). Этимология Гильфердинга представляется нам во всяком случае заслуживающей тщательной проверки.
- <sup>21</sup> *Xylander J., Ritter von*. Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren. Frankfurt a/M, 1835, XIII+320 S.
- <sup>22</sup> Вопрос о том, какими еще источниками по албанскому языку пользовался Гильфердинг, пока остается для нас открытым.
- <sup>23</sup> *Xylander J*. Die Sprache..., S. 306—308.
- <sup>24</sup> Вплоть до совсем недавнего времени эта мысль А. Ф. Гильфердинга показалась бы слависту еретической, поскольку она противоречила бы представлению о примате древних памятников славянских языков в этимологии. Однако на современном этапе развития славистики возобладала точка зрения, вполне созвучная концепции Гильфердинга и исходящая из перспективности этимологического обследования диалектной лексики.



<sup>25</sup> Речь здесь идет об учении А. Шлейхера, проводившего четкую границу между доисторическим периодом в развитии языков и периодом историческим. Первый рисовался Шлейхеру как период развития и формирования языков, второй — как период распада (или упадка). Это учение излагалось в кн.: *Schleicher A. Sprachvergleichende Untersuchungen. Zur vergleichenden Sprachengeschichte.* Bonn, 1848, VIII+166 S. Эта книга, а возможно, и ее вторая часть (*Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht.* Bonn, 1850, X+270 S.) в которой разрабатывалась идея «языкового организма», были, по всей видимости, известны Гильфердингу.

*М. А. Робинсон*

**Методологические вопросы  
в трудах русских славяноведов  
конца XIX — начала XX в.**

**(В. И. Ламанский, П. А. Кулаковский, К. Я. Грот)**

В науке широко известно, какое сильное влияние оказало славянофильство на славяноведение своего времени. Отмечается также, что славянофильство как основное научное течение занимало до 70-х годов XIX в. господствующее положение в славяноведении<sup>1</sup>. К концу XIX в. и началу XX славянофильство как общественно-политическое направление уже давно ушло в прошлое. В методологии славяноведения также стали больше проявляться иные теоретические концепции, значительное влияние приобрели «теоретические построения позитивизма»<sup>2</sup>. Тем не менее многие идеи и элементы славянофильства, трансформируясь, пополняли общий фонд славяноведения как науки, проникая в разные его методологические направления. Так произошло, например, с идеей славянской взаимности. Ее политические интерпретации, отражения в различных идейных течениях прослежены в работах В. А. Дьякова<sup>3</sup>. Эта идея стала достоянием и научных исследований представителей разных идейно-политических и теоретико-методологических направлений. Так, в преобразованном виде она вошла в теоретический фонд такого буржуазно-либерального течения, как неославизм.

У многих ученых теоретическая схема славянофильства из области методологического применения перешла в сферу лишь политических взглядов. К такого рода ученым можно прежде всего отнести М. К. Любавского. В целом придерживаясь позитивистской методологии, ученый в ин-

терпретации результатов своих исследований, особенно по истории Польши, отдавал дань славянофильским традициям.

Были исследователи, старавшиеся и в теоретическом плане и в практическом научном применении объединить на равных правах теоретические схемы славянофильства с методологией позитивизма. Наиболее ярким примером в данном ряду может быть назван Ф. Ф. Зигель. В пределах его «Истории славянского права»<sup>4</sup> мирно уживалось и то и другое, с той лишь разницей, что относительно истории права зарубежных славян он выступал, особенно в теоретических рассуждениях, в основном как классический позитивист, а в понимании отечественной истории только как традиционный славянофил.

Но основные элементы славянофильской концепции продолжали жить и в почти неизменном виде. И нас в первую очередь интересуют ученые, у которых эти концепции являлись главным теоретико-методологическим стержнем, так или иначе оказывая влияние на анализ материала и конечные выводы трудов. Для нашего исследования мы избрали трех ученых, представителей разных областей славяноведения: В. И. Ламанского, занимавшегося в тот период в основном вопросами общетеоретическими; П. А. Кулаковского — специалиста по истории южного славянства; К. Я. Грота — специалиста по истории западных славян и славяно-венгерских отношений. Ламанский, старейший славист, учитель нескольких поколений русских славистов, был в самой тесной близости со славянофилами еще в 50-е годы, в особенности с И. С. Аксаковым. Грот же и Кулаковский неоднократно в публицистических выступлениях заявляли о своей приверженности идеалам «старого» славянофильства<sup>5</sup>.

Нам представляется необходимым не только проследить те основные черты славянофильской концепции истории славянских народов, которые прямо отразились в виде постулатов в работах названных ученых, но и попытаться выявить влияние этих концепций на конкретные исследования, на сам анализ тех или иных фактов из истории славян.

Важнейшим положением славянофилов относительно русской истории, перенесенном и на историю всех славянских народов, являлось утверждение о принципиальном отличии истории западноевропейской от русской и славянской, о противоположности миров романо-германского и греко-славянского. Теоретики славянофильства провозгла-

шали эту противоположность исторических судеб и извечную враждебность германского мира миру славянскому. Ученые славяноведы, разделявшие эти теоретические построения, выбирали и обращали больше внимания за редким исключением именно на такие моменты славянской истории, которые было бы легче подвести под общетеоретические концепции славянофилов.

Ламанский продолжал собственно теоретические изыскания в этом направлении, пытаясь как можно подробнее аргументировать самую идею противостояния. В своей книге «Три мира Азийско-Европейского материка»<sup>6</sup> ученый стремился ставить и решать проблемы развития всего человечества в глобальном масштабе. Его ученик и последователь Грот тесно связывал этот труд с идеями, освоенными и развитыми Ламанским еще в начале его научной деятельности, когда он ярко заявлял себя «убежденным приверженцем народно-самобытного, национального направления и славянофильского мировоззрения»<sup>7</sup>. Эти убеждения сложились у Ламанского «в форму совершенно оригинальных и глубоких историко-философских построений» (с. 212). Всю жизнь развивая эти идеи, Ламанский подошел к «заключительному аккорду», «к последнему их наиболее блестящему и сильному выражению», «к замечательному трактату» — «Три мира Азийско-Европейского материка» (с. 217). Мы вполне согласны с Гротом, что это было наиболее полное выражение основных теоретических идей Ламанского на завершающем этапе его научной деятельности. И поэтому наш анализ взглядов ученого будет опираться именно на этот труд.

Ученый сосредоточился на выделении собственно греко-славянского мира, определении его границ не только на западе, но и на востоке и юге. Ламанский находил на территории Евразийского континента три самостоятельных «мира». В данной конструкции греко-славянский мир получил название «среднего»: «Средний мир, т. е. не настоящая Европа и не настоящая Азия» (Ламанский В. И. Три мира ..., с. 3). Самым важным аргументом в пользу разделения всех трех миров Ламанский считал вопрос о религиозной принадлежности жителей Европы и Азии. В этом ученый прямо следовал за славянофилами, также ставившими конфессиональные вопросы на первое место в своих исторических построениях.

Ламанский особенно не останавливался на необходимости доказывать противоположность романо-германского мира славянскому. Для него этот вопрос очевиден. Однако

В попытках определить место «Среднего мира», как-то отделить от него «Азиатский мир» Ламанский вынужден искать не только различия, но и общие черты первых двух «миров». Такое сходство ученый находил прежде всего в истоках господствующей в них образованности: «У мира Среднего и у Европы историческая жизнь и образованность возникают и развиваются если не из совершенно одинаковых, то более и менее общих и сходных источников: христианства и греко-римской цивилизации и культуры» (с. 43—44). И далее: «В главных своих основах и идеалах они составляют одну новую христианскую образованность» (с. 44). Идея единения всех славян в рамках «Среднего мира» заставляет ученого выдвинуть на первое место вопросы этнического родства и этнической нетерпимости. Один же из основных признаков в различиях «миров» общетеоретического характера — различие между православием греко-славянского мира, с одной стороны, и католицизмом и протестантизмом романо-германского мира — с другой, в данном случае отодвинут на второй план. Так, ученый утверждал, что западные славяне «резко отличаются от своих западных соседей единоверцев, немцев и итальянцев, глубокою взаимною антипатиею, разностью языков и характеров, прогивоположенностью национальных интересов» (с. 23). Ламанский всячески подчеркивал, что западные и восточные славяне «тесно связаны общностью исторических судеб, культурных и национальных интересов, величайшим сходством языков и прав» (с. 107). Ученый все же не мог не заметить «внутренние различия и уособицы славян западных и восточных» (с. 23). Но при этом он считал необходимым отметить, что «есть одно общее им всем, крепко связующее их воззрение на западного их соседа немца и глубокое к нему, веками оправданное недоверие и нерасположение» (с. 24). А оправдывается оно тем, что «исконный, первый и главный интерес Европы Карла <Великого> и его преемников вплоть до Наполеона I и III до Вильгельма I и Фридриха III с их Бисмарком состоял в ослаблении, унижении, территориально сокращении греко-славянского мира» (с. 24). Интересно также отметить, что ученый ставил этнический антагонизм славянства и германства в прямую зависимость от «общности и внутреннего сродства просветительных начал как Среднего мира, так и собственной Европы» (с. 43).

Все эти рассуждения в чисто славянофильском духе об исконной враждебности славян и немцев попадали

ученому для его глобального вывода о том, что необходимо «все западные славянские земли с точки зрения этнологической и историко-культурной отделить от собственной Европы и относить заодно с Россией и с землями ей единоверными как единоплеменными, так и иноплеменными к так названному нами миру Среднему» (с. 24). Таким образом, Ламанский в отграничении «Среднего мира» на западе опирался прежде всего на этнические признаки, оставив в стороне как вопросы конфессиональные, так и политическую карту Европы.

В поисках границ «Среднего мира» на востоке и юге Ламанский руководствовался теми же тремя элементами: этническим, конфессиональным (с его прямым следствием — «образованностью») и политическим. Но главным признаком разделения здесь становился именно тот, которым он пренебрег в Европе, — государственные границы. Не забудем, что это границы Российской империи. Поэтому для Ламанского, сторонника сильной монархической России, было естественным написать: «Относительно же прочих сухопутных границ Среднего мира с собственно Азией следует заметить, что их правильнее всего отождествлять с политическими границами России, хотя часто они переходят и границы естественные и этнографические. Таковы целые среднеазиатские области...» (с. 42). Но как объяснить такое изменение принципам этническому и конфессиональному? Для Ламанского это не представляло особой сложности, ибо он давал им иное, чем в первом случае, толкование. Ученый вначале констатировал, «что между азиатами и русскими разница в просветительных началах, идеях, обычаях и нравах несравненно значительнее, чем между западными славянами и немцами и итальянцами в этих же отношениях» (с. 43). Затем он утверждал, что именно это абсолютное отличие служит признаком не отталкивания их из «Среднего мира», а включения в него. По его мнению, «при всяком новом сближении этих присоединенных к России азиатов с русской жизнью и образованностью они все более и более отрываются от коренных основ своей прежней национальной истории и культуры» (с. 43). Очевидно, что Ламанский вполне допускал расширение «Среднего мира» за счет роста Российской империи, тем более что в своих футурологических предположениях он писал: «...в самом благоприятном для них (народов Азии.— М. Р.) предположении тут ничего иного нельзя ожидать, как постепенного и более мягкого подчинения этих народов Европе



и России» (с. 10). В связи с этим последним предположением нельзя не вспомнить письмо Ламанского к И. С. Аксакову 1 ноября 1858 г. Уже там он писал: «Голова кружится, как подумаешь о будущем влиянии нашем на азиатском Востоке»<sup>8</sup>.

На южных границах на первое место выходит конфессиональный признак. Здесь Ламанский причисляет к землям «Среднего мира» районы Турецкой империи, населенные «прежними христианами, ныне же мусульманами чисто по нужде и по имени» (*Ламанский В. И.* Три мира..., с. 42). И кроме того, полагал ученый, «мы должны симитов, сирийских христиан и азиатских арийцев, армян за их слишком тысячелетнюю чисто христианскую историю и культуру относить не к миру азиатскому, но и не к европейскому, а так называемому нами Среднему» (с. 41).

Рассмотрев развитие Ламанским славянофильской концепции различных историко-культурных «миров», мы не можем не обратить внимание на их теорегическую несостоятельность. Ученый не выдерживает, да и не может соблюсти единства применяемых им теоретико-методологических принципов. Так, на Западе для него самое главное — этническое единство славян, на Среднем и Дальнем Востоке — нерушимость границ Российской империи с возможным дальнейшим ее расширением, на Ближнем Востоке — религиозные мотивы тесно переплетаются с политическими. Не только славянофильские теории, но и государственно-политические убеждения и взгляды ученого накладывали четкий отпечаток на его методологические построения.

Важнейшим в концепциях славянофилов был вопрос конфессиональный. Именно он наряду с этническим был основным в разделении европейских народов на «миры». Для Ламанского этот вопрос также принципиален. Так, христианство для него важнейший фактор истории, который «издавна составляет общепросветительное начало и существенный историко-культурный признак европейского и так называемого нами Среднего мира» (с. 41). Подчеркивая положительную роль христианской образованности, ученый стремился определить ее «общие начала и стремления» (с. 44). По его мнению, это «безграничное стремление к свободе духа во всех проявлениях человеческой деятельности, полнейшее уважение к достоинству и правам человеческой личности без различия полов, званий и состояний, сознание внутренней обязательности для каждой без исключения личности самоосуждения, раскаяния,

самопожертвования и братского благоволения к людям, с неустанным призыванием общего благоденствия, наступления царства божия на земле в виде общего братства и свободы всех людей и народов» (с. 44). Конечно, Ламанский был вынужден констатировать, что эти идеалы «осуществляются медленно обеими частями, половинами нового, христианско-арийского человечества», как собственной Европой, так и «Средним миром», но тем не менее они им «одинаково дороги уже в течение многих веков» (с. 44). В данном случае подчеркивание общехристианских «начал» мира Европы и «Среднего мира» необходимо Ламанскому для того, чтобы оттолкнуться от мира «третьего», отвергнуть всякую возможность для равноправного рассмотрения этих трех «миров». Он исключал для народов Азии возможность приобщиться и понять принципы «христианского просвещения». Ламанский твердо стоял за прямую зависимость христианства и просвещения, он сетовал на то, что, «строго говоря, наш мир далеко еще не заслуживает названий просвещенного, образованного, благоустроенного». А связано это с тем, что «более миллиона мусульман имеется в самом славянстве» — это, во-первых, и, во-вторых, взгляды на само христианство еще нередко отличаются «вещественностью» и в «миллионах простых православных людей» (с. 85).

Ученый не мог равнодушно относиться к такому положению дел, ибо его кредо состояло в том, что «каждый христианин, бесспорно, желает распространения и утверждения христианства на всем земном шаре и у себя в отечестве», причем идейное значение христианства выше «политических интересов и польз своего отечества», оно не может занимать «подчиненное отношение к нашей личной и национальной особи» (с. 115).

Как мы видим, в данном случае Ламанский не разделял христианство на враждебные направления, оно для него едино. Но такой взгляд ученый не мог провести последовательно до конца, так как он вступил бы в противоречие с важнейшей догмой славянофильства. Одна из задач труда Ламанского — доказать и утвердить единство всего славянского мира, поэтому он предпочитал особенно не заострять внимание на его религиозных распрях<sup>9</sup>. Не призывая открыто западных славян к прямому возвращению в лоно «истинной» славянской религии — православия, Ламанский всячески давал понять, что оно предпочтительнее для успешного национального развития. Поэтому он неоднократно обращался к средневековой

истории, тем ее моментам, когда социальная и национальная борьба выражалась в форме религиозной. Так, ученый видел в чешской истории XV в. и польской истории XVI в. «высшие эпохи своего национального развития» западных славян. У чехов оно выражалось в желании «порвать всякую связь с империей и латинством и сближении с Цареградом», а у поляков — в стремлении «основать славянскую церковь с женатым духовенством» (Ламанский В. И. Три мира..., с. 50). В названной работе Ламанский еще раз подчеркивал, что у чехов были в XV в. «попытки церковного единения с Цареградом», а Польша вообще после Люблинского сейма в 1569 г. «сделалась государством, страной, по числу жителей более православною, чем католическою» (с. 51). Велико желание ученого доказать благотворность православия и даже воспоминаний о нем и для современного ему развития славянских народов. Он подчеркивал, что всякий представитель западного славянства, «особенно в странах, полнее сохранивших предания славянской церкви и борьбы с немецкою империею, может сохранять и проявлять, и чем он даровитее, тем сильнее и решительнее, свою народность в различных формах деятельности» (с. 43).

Итак, рассуждая об исторических судьбах славянства, Ламанский, как и подобает славянофилу, заявлял себя сторонником православия как исконной славянской религии. Он усматривал во многих религиозных движениях XV—XVI вв. стремление католиков-славян к возвращению в лоно православия. И тем не менее Ламанский не обращался специально к принципиальной критике католицизма. Подвергались осуждению лишь некоторые свойственные ему, по мнению Ламанского, черты. Кроме того, критика шла и по особой линии — критиковались проявления католицизма в православии. В определенных случаях Ламанский стремился стать выше этих конфессиональных разногласий, осмыслить значение христианства для развития всех народов Европы. Этот подход помогал ученому обосновать важнейшую идею всего труда — доказать историческую возможность и необходимость единства всего славянства перед лицом враждебного германского «мира». Так, в итоге Ламанский вновь возвращался к основному тезису славянофильства — борьбе «миров».

Хронологически близким к труду Ламанского было исследование П. А. Кулаковского «Иллиризм. Исследование по истории хорватской литературы периода Возрождения», которое вышло в 1894 г. Этот труд Кулаковского

являлся значительным достижением для славистики своего времени, о чем неоднократно писалось в научной литературе<sup>10</sup>. Отмечалась и приверженность Кулаковского славянофильским идеям в его работах, предшествовавших «Иллиризму», и значительно более слабое их проявление в этой книге<sup>11</sup>.

Взгляды Кулаковского, несомненно, заслуживают внимательного рассмотрения, так как нам представляется, что он не изменил своей приверженности славянофильским построениям и в наиболее известном своем научном произведении — «Иллиризме». Надо сразу отметить, что в отличие от Ламанского Кулаковский ставил перед собой конкретную задачу и поэтому не углублялся в общесоциологические рассуждения о противоборстве «миров». Но многие из его суждений чрезвычайно тесно связаны с обязательностью для него этого славянофильского утверждения. Кулаковский неоднократно противопоставлял в своей работе интересы хорватского народа, аристократии и высшего духовенства. Он также считал, что иллиризм был «народным движением и выдвинул действительные интересы народа, понимаемые не в узком смысле прав и нужд народной массы и вообще югославянской народности в широком объеме»<sup>12</sup>. Все эти высказывания служат основанием для выраженных в научной литературе мнений о том, что «в этих и других положениях книги нельзя не усмотреть влияния на Кулаковского демократической мысли России и Хорватии, в частности суждений об иллиризме Пыпина, Ягича, Рачко и др.»<sup>13</sup>. Нам представляется, что этот вопрос сложнее и процитированное мнение требовало бы более весомых доказательств. Мы считаем, что в гораздо большей степени взгляды Кулаковского опираются на фундаментальное положение о противоборстве двух миров: германского и славянского, католического и православного. Данное положение проявляется в труде Кулаковского не в открытой, декларативной форме, а в тех концепциях, которые опирались на него.

Кулаковский неоднократно писал: «Феодальный строй жизни, представлявший права только аристократии и дворянству, отчуждившемуся от народа и преследовавшему только свои эгоистические интересы, приводил к союзу между хорватскими и мадьярскими правящими классами» (Кулаковский П. А. Иллиризм ..., с. 6). Идея о разобщающей силе феодализма пронизывает всю работу ученого: «Феодальный строй жизни в Хорватии выдвигал на первое место только дворянство и отчасти духовенство, а выс-

ший класс хорватского народа, казалось, окончательно порвал связи с народной массой» (с. 52). Как мы видим, Кулаковский резко критиковал господствующие классы и ратовал за народные интересы. Но обратимся еще к одному отрывку из его книги, где он, обосновывая особенности хорватского национального Возрождения, утверждал, что хорваты находились между Западом и Востоком Европы, на пределе двух культурных миров». Католицизм ставил «их в зависимость от Рима, исторические условия, *социальный и политический строй жизни* (выделено нами.— М. Р.) связывали их с западноевропейским миром» (с. 312). Теперь мы достаточно ясно видим, что вопросы социального устройства общества ученый соотносил с теорией двух враждебных миров. Само существование словесного феодального общества у славянского народа уже в принципе вызывало отрицательное отношение у последователя славянофильства. В данной конструкции *аристократия — народ* аристократия является предательницей исконных славянских начал, а народ — носителем и хранителем оных. И «демократизм» Кулаковского опирается скорее всего на это славянофильское положение. Тем более это очевидно, когда Кулаковский писал, что «и по языку, и по географическому положению, и по характеру своей истории они (хорваты.— М. Р.) примыкали к южным православным славянам» (с. 313). Здесь, как и у Ламанского, обнаруживается один из основных славянофильских постулатов, разделяющих европейские народы на «миры».

Работы Кулаковского обнаруживают особое пристрастие к теме борьбы православия и католицизма, истинности первого и ложности второго учения. Причем следует отметить, что интерес к этой проблеме со временем не ослабевал, а, наоборот, обострялся.

Сам предмет исследования в «Иллиризме» — национальное возрождение южных славян-католиков — частично удерживал Кулаковского от откровенно славянофильских суждений. Здесь автор делал большой упор на то, что идеями национального хорватского Возрождения было проникнуто только рядовое духовенство, близкое к народу, понимаемому в духе славянофильской традиции, как носителю славянского духа. Кулаковский не может не признать, что в Далмации и Крайне «главными деятелями и патриотическими руководителями в первой четверти текущего столетия были католические священники» (с. 131, 155—156). Так же высоко он оценивал деятельность в Боснии членов ордена францисканцев (с. 213). Но как



только речь заходила о сопротивлении идеям иллиризма. Кулаковский всегда старался подчеркнуть связь этого сопротивления с католицизмом. Против Л. Гая выступали, как подчеркивал ученый, «только ультракатолики среди духовенства» (с. 156).

Славянофильски ориентированный ученый искал возможность в той или иной степени утвердить и в данной работе преимущества православия, хотя бы через доказательство лучшего соответствия кириллицы славянскому языку<sup>14</sup>. Доказательство у Кулаковского велось в основном по принципу от противного, т. е. через утверждение, что латиница является азбукой, «бедной знаками для выражения богатства славянских языков» (*Кулаковский П. А. Иллиризм...*, с. 53), и что вообще все «католические славяне, ознакомившись с кириллицей, не могли не видеть бедности и неудобства латинской азбуки» (с. 403). Эта «бедность» требовала улучшения латиницы путем введения в нее «некоторых знаков кириллицы» или «особых значков, подобных кирилловским» (с. 403). Он утверждал, что «было бы естественно ожидать, что они (иллиры.— *М. Р.*) примут кириллицу как свой славянский алфавит» (с. 408). Следует заметить, что Кулаковский, отрицая различные варианты латиницы и ратуя за кириллицу, лишь вскользь упоминает, что и та кириллица, которую он так ревностно отстаивал, была «прилаженной» (с. 130), т. е. тоже национальным вариантом этого алфавита и к тому же с буквами, взятыми из латиницы.

Ученый прекрасно понимал, что вопросы об алфавите и орфографии были отнюдь не только вопросами лингвистическими, «с ними связывались вопросы другого порядка — политические и религиозные. Как в кириллице видели признак православия, так латиницу признавали исключительно католическим письмом» (с. 131). Именно с этими проблемами было связано и то, «что введение *j* в сербской азбуке Караджича было одною из главных причин, почему столь долго вуковица была запрещена в Сербии» (с. 131).

Реальная политическая обстановка никак не соответствовала идеальным представлениям Кулаковского о перспективах единения всего южного славянства первоначально через принятие им общего кириллического алфавита. Ученый вынужден был констатировать как «ожесточенные» споры в сербской среде «между сторонниками и врагами вуковицы» (с. 407), так и то, что подобной замены алфавита вообще «не произошло и не

могло произойти, если обратить внимание на время и условия, при каких совершалось «Возрождение хорватов» (с. 408). Кстати, как признавал ученый, именно сербы «вскоре оказались самыми горячими противниками иллиризма Гая» (с. 152).

Кулаковский, несмотря на невозможность осуществления своих идеалов в настоящем, не оставлял надежд на будущее. Причем возможность этого объединения он видел только, когда сближение славян приведет их «к полному, а следовательно, и к религиозному объединению» (с. 232). Здесь Кулаковский опирался на Л. Штура. Ученый писал, что этот «искренний глубокий славянский деятель [...] прямо признал единственно правильным выход из славянской разрозненности в единении всех в религиозном отношении и возвращении к православию со всеми последствиями этого шага» (с. 232). Таким образом, Кулаковский ясно показал, что в подходе к сложным проблемам южного славянства он твердо стоит на принципах славянофильской доктрины.

В книге, посвященной проблемам влияния русской школы в Сербии XVIII в.<sup>15</sup>, ученый абсолютизировал конфессиональный признак в определении принадлежности человека к той или иной народности, причем «не только у югославян, но и у других славян» (с. 36). Здесь же он выдвигал мысль о том, что католицизм является «существенным» признаком «западноевропейской культуры» (с. 74).

Статья Кулаковского «Славянский язык богослужения у католиков югославян», по названию предполагавшая, казалось бы, рассмотрение локальной проблемы, дает возможность еще раз показать, какое место в его теоретических воззрениях занимают конфессиональные вопросы. В этой работе ученый постепенно переходил от проблем собственно южного славянства к рассмотрению исторической роли католицизма в судьбах всего славянства. Углубляясь в историю западных славян, он видел начало борьбы «между латинским Римом, желавшим властвовать над миром, и принципом национальным в церкви славян-католиков» еще «тысячу лет тому назад, при св. Кирилле и Мефодии» и продолжающуюся «и доныне»<sup>16</sup>. К кирилло-мефодиевской традиции он присоединял и Я. Гуса и «даже поляков». Как особо отмечает ученый, «дух протеста против Рима находил сильный отзыв, влиятельные польские магнаты становились последователями протестантизма» (с. 545). Можно заметить, что

в данном случае Кулаковский в обращении к польской и чешской истории выделяет те же самые моменты, что и Ламанский, и так же, как последний, стремится так или иначе возвести истоки протеста против Ватикана к традициям Кирилла и Мефодия, а следовательно, по его убеждению, православия. С проблемой «национализации католичества у славян» Кулаковский связывал пробуждение национального самосознания. Это самосознание, по мнению ученого, должно повести к возрождению того, «что определяется кирилло-мефодиевской идеей» (с. 544, 547), т. е. вести к православию и, следовательно, к естественному сближению с Российской империей. Только в ней «восточное славянство, оставшись верным православной церкви и сохранив заветы св. Кирилла и Мефодия, осталось центром и силою восточного культурного мира, сохранило и воскресило свою государственность» (с. 547).

Кулаковский не только решительно отстаивал историческую миссию православия как истинной славянской религии, но и не менее решительно винил католицизм во всех бедах славянства. «Латинский Рим,— писал ученый,— разделил славянство на две части: восточную и западную. Он был причиной того, что славянство не могло жить никогда в своей цельности и своей самобытной жизнью» (с. 547). Кулаковский стремился не только к подобной констатации, но и пытался философски интерпретировать и обобщить это положение. «Все западнославянские народности,— рассуждал он,— став рабами западной культуры, или стали жертвами других народностей и погибли, растворившись в них, как, например, полабские славяне, или потеряли свою государственность, иные, как хорваты, например, весьма рано, в начале XII в., а иные, как поляки, дотянув до конца XVIII в.» (с. 547). Все эти рассуждения Кулаковского в данном случае отнюдь не оригинальны, а являются повторением славянофильских положений, высказанных еще за полвека до него. Так, еще П. А. Гильфердинг писал о том, что полабские славяне погибли от искажений «коренных начал славянской жизни», вызванных внесением в их жизнь элементов чуждой германской стихии<sup>17</sup>.

Кулаковский был убежден в проникновении католицизма и в научные труды. Так, он считал, что Рим «боится даже азбуки кирилловской, а западные ученые всячески стараются помочь ему и потому доказать, что кириллица православная не есть даже изобретение св. Кирилла и что глаголица именно и есть плод св. Кирилла» (Кулаков-

ский П. А. Славянский язык богослужения., с. 546). Таким образом, сложнейший научный вопрос, до сих пор не нашедший окончательного решения, подменяется риторикой, опирающейся на незыблемость «кирилло-мефодиевской идеи».

Наиболее ярко славянофильская основа методологических воззрений К. Я. Грота в рассматриваемый нами период обнаруживается в его обширной рецензии на труд А. Н. Ясинского «Падение земского строя в Чешском государстве (X—XIII вв.)»<sup>18</sup>. С самого начала очевидно, что Грот усматривал в поднятой Ясинским проблеме значительно более глубокий общеисторический и методологический смысл. Он писал: «Дело в том, что возбужденный им (Ясинским.— М. Р.) вопрос не есть вопрос частный или узкоспециального значения и интереса, это, наоборот, один из самых крупных, самых важных и основных вопросов исторической судьбы западного славянства,— это вопрос, который существует не в одной истории Чехии, а касается одинаково всего западнославянского мира» (с. 5). Ученый считал, что изучение поставленной проблемы должно раскрыть, «каким образом, под какими воздействиями развивались социально-политическая жизнь и государственность не только у чехов, но и у других западнославянских народностей, попавших в аналогичные условия со времени принятия ими христианства, какими путями и при каких условиях они переходили от первоначальных своих племенных, а потом так называемых земских установлений к *новому строю с западноевропейским феодальным характером* (выделено нами.— М. Р.)» (с. 5).

Грот считал, что избранная тема, «закрывающая в себе значительный философский или народно-психологический элемент, требует и соответственно широкой постановки в [...] рамках изучения культурно-исторического развития западноевропейского (романо-германского) мира сравнительно с восточным (византийским) и исторических отношений и сближения славянства с тем и другим» (с. 5—6). Теперь становится совершенно очевидным, что Грот исходил в своей оценке работы Ясинского из соответствия ее выводов этому постулату славянофильства. Уже в этих первых цитатах из самого начала его рецензии видно, что становление феодальных отношений в Чехии в X—XIII вв. есть «уступка» Западной Европе, а следовательно, и чуждому и враждебному германскому миру. Здесь же Грот бросал упрек Ясинскому в том, что он обошел в своей работе «важную и существенную сферу



культурных влияний, шедших чрез посредство преимущественно церкви, латинского образования и литературы» (с. 6).

Очень скоро мы узнаём причину, почему вопрос о влияниях столь беспокоил Грота. Это выясняется тогда, когда он, наконец, раскрывает главное положение в труде Ясинского, его теорию «самобытности». Цель Ясинского, как писал Грот и подтверждал это многочисленными цитатами, «постараться указать, какая необходимость, какие местные условия и нужды вызвали изменение общественного и государственного строя в конце XII в.» (с. 11). Исследователь переводил спор в область методологических принципов. Он возражал против понимания Ясинским термина «необходимость», упрекал его в том, что тот, «видимо, увлекся своей точкой зрения, ибо историческая необходимость, как, между прочим, следствие местных условий, потребностей и обстоятельств, не может быть отождествлена с понятием органического и самостоятельного развития и очень часто обуславливается преимущественно действием внешних факторов» (с. 12). Грот верно понимал основной тезис Ясинского, столь для него неприемлемый. «Он думает,— писал Грот,— оправдать свою теорию „самобытности“ и „органичности“ выяснением исторической необходимости, которую выводит исключительно из внутренних, местных (или народных) потребностей и условий. В этом, как нам кажется, его главное заблуждение» (с. 12). Поставив, таким образом, под сомнение главное теоретическое положение Ясинского, Грот старался на конкретном разборе показать и доказать его ошибочность. Может показаться странным, что приверженец славянофильской идеи борьбы двух враждебных миров резко обрушивается на теорию «самобытности», одно из излюбленных понятий того же славянофильства. Но дело, однако, здесь в том, что «самобытность» Ясинского не имеет ничего общего с «самобытностью» теорий славянофильства и прямо противоположна ей. Ясинский опирался в своих исследованиях на концепции позитивизма, искавшего, правда в пределах идеалистической методологии, определенных закономерностей в историческом развитии, одинаковом для всех европейских народов. Именно это и вызвало такую негативную оценку Грота.

Отрицание положений Ясинского опирается у Грота на принципиально иное понимание причин развития общества вообще. Грот утверждал, что «народный быт, а с ним и старый земский строй терпит существенные изменения



и разлагается не столько в силу внутренних причин, нужд и стремлений самого населения, сколько в силу потребностей, образующихся в сферах более высоких, и влияний оттуда идущих, в силу интересов слоев сильных и властных»; «сверху вниз идет главный импульс и воздействие в процессе исторического развития» (с. 30). Постепенно, шаг за шагом Грот подводил читателей к основам своего общетеоретического взгляда на проблему. Если всякое развитие идет сверху вниз, от представителей господствующих классов, то «мы не можем отрицать неизбежного влияния на это развитие и того мира понятий, воззрений и нравов, в котором воспитываются и живут люди этих руководящих сфер» (с. 30). Эти люди находятся «в непрерывных разнообразных связях и общении с внешним, соседним культурным миром, одним словом, влиянии культуры и *всего жизненного строя* (выделено нами.— М. Р.) ближайших соседей — и через них всего латино-германского запада» (с. 30). Рассуждения ученого привели к закономерному для его концепции выводу. Исконный народный земский быт славян перестраивается верхушкой общества, заимствующей свои воззрения от соседей. Становится ясно, что феодализм для славянского мира явление неорганичное и чуждое. Таким образом, славянофильская схема вполне соблюдена.

Развивая свои аргументы против идеи естественного зарождения и развития феодальных отношений в Чехии, Грот считает нужным особо рассмотреть и вопрос не только о роли знати, но и о том, почему она сыграла столь отрицательную роль. Но ничего оригинального ученый в решении этого вопроса не предлагал. Он лишь повторял старые идеи славянофильства, указывая, например, на то, что знать постепенно складывается в сословие, «стремящееся к ограничению в свою пользу власти государя» (с. 86). И конечно, этот процесс происходит, «несомненно, под рано начавшимся влиянием идей и культурно-исторического мировоззрения соседнего германского и вообще западноевропейского мира, где разделение общества на классы и обособление высшей шляхты или знати в привилегированное сословие, признанное делить власть с государем и совместно управлять и опекать низшие классы, т. е. народ, были типичными и характернейшими признаками его социального строя» (с. 87). Следовательно, утрата исконных начал «земского строя» западными славянами произошла от враждебного влияния германского мира, расколовшего славян на сословия,

чего по теории славянофилов долго и счастливо избегала Россия. Кстати, вопрос о власти монарха, подрыв ее сословными претензиями аристократии в Чехии очень интересовал Грота и недаром, ведь монарх как выразитель чаяний всего народа, его защитник был очень дорог для славянофильских теорий. По его убеждениям, именно через вредоносное влияние германского мира «прививались обществу собственно чуждые славянской жизни и характеру социальные отношения, принципы и взгляды на государственные и церковные отношения» (с. 91). И именно этими влияниями определялась деятельность чешского монарха, вначале соответствовавшая его интересам, но «в конце концов в ущерб его самодержавию и независимости совершалось пересоздание старого земского строя в сословно-привилегированное государственное устройство западного типа» (с. 91).

В итоге мы можем определенно говорить о том, что все возражения Грота Ясинскому по вопросам социальных процессов Чехии в X—XIII вв. исходили из принципиальных теоретических убеждений первого. Они сводятся в конечном итоге к основной идее славянофильства — враждебности романо-германского и греко-славянского миров.

Еще в более резкой форме свою приверженность теоретико-методологической славянофильской концепции двух враждебных миров ученый обнаруживает в обширной статье «Карпато-дунайские земли в судьбах славянства и русских исторических изучениях», опубликованной в 1905 г.<sup>10</sup> Уже в самом начале статьи Грот критиковал положение в отечественной исторической науке. По его мнению, это «рабская зависимость от идей и точек зрения западного, романо-германского мира», причем она существует и в изучении «истории нашего собственного среднего греко-славянского мира» (с. 69). Такая ситуация, по его мысли, безусловно, вредна, так как современные ему ученые смотрят «на себя и на весь мир глазами глубоко нам чуждого и враждебного европейского Запада, главным образом германского» (с. 70).

Обращаясь собственно к исторической судьбе карпато-дунайских земель, ученый также широко использовал идею борьбы враждебных миров. Он заострял внимание на том, что эти земли всегда являлись в определенном смысле пограничьем. «Это не европейский Запад и не славянский или азиатский Восток,— писал Грот,— а пестрая полоса соприкосновения, взаимного натиска, самозащиты

и вечной борьбы друг другу чуждых и по существу враждебных стихий и сил на почве племенной, культурной и религиозной» (с. 72). Именно в этих землях, по мнению Грота, виднее всего ощущалась наступательная политика Запада, и именно в этих землях пришлые народы — авары, венгры, татары и турки — «надолго остановили или задержали напор германского мира на славянский в областях среднего Дуная, на Балканском полуострове и даже в соседних восточноальпийских и чешских землях» (с. 78). На первый взгляд это положение Грота может показаться несколько неожиданным, ведь и авары, и татары, и турки были жестокими завоевателями и поработителями всех народов названного региона. Но для Грота идея борьбы двух миров представляется явлением глобальным и извечным, поэтому у него нашествие гуннов рассматривается весьма положительно, ведь гунны освободили славян от готов (с. 85), а «погром мадьярский» задержал «наступательное движение романо-германского мира в эту сторону» (с. 88). В связи с этими рассуждениями Грота стоит вспомнить об очень сходных идеях славянофилов, положительно оценивавших в татарском нашествии на Русь то, что оно задержало, по их представлению, распространение немецкого влияния на славян<sup>30</sup>. Здесь, таким образом, видна самая тесная связь построений Грота не только в основной идее противостояния миров, но и в идеях, логически следовавших за их общей теоретической концепцией.

Начало борьбы, а точнее, наступления германизма Грот относил к далекому прошлому. Выстраивая свою периодизацию истории карпато-дунайских земель, ученый опирался на все те же славянофильские теории. Так, уже в раннем периоде (VI—IX вв.) он видел пору «первых решительных движений и ударов этих западных сил в лице германства на образующийся в его соседстве мир славянский, первых схваток начавшейся между ними борьбы» (*Грот К. Я. Карпато-дунайские земли...*, с. 84). Образование же Священной Римской империи и церковный раскол «породили широкие завоевательные, религиозные и культурные замыслы, а тем самым и решительное наступательное движение на Восток, на возникающий новый славянский мир» (с. 85). Славянский мир, в свою очередь, в то время начинает «естественное сближение и сроднение» с Византией, это являлось «чем-то predetermined и неотвратимым и должно было предусматриваться и предчувствоваться в Европе». Происходит «культурное

срастание двух национальных стихий, образование греко-славянского культурно-исторического целого» (с. 88). Грот рассматривал даже это явление с точки зрения противостояния двух миров при изначальной агрессивности мира романо-германского.

Так же, как Ламанский и Кулаковский, Грот трактовал роль конфессионального фактора в плане методологическом. По его убеждению, католицизм способствовал усилению влияния на славян чуждого романо-германского мира с его феодальным строем. Ученый, как мы уже писали, всячески старался объяснить возникновение этого строя внешними влияниями. Ведущее место он отдавал среди них латинскому образованию и литературе, распространявшимся через церковь. Об этом он писал неоднократно, подчеркивая, что «латинское образование (с латинским языком), проникавшее через церковь и усваиваемое лишь известным, выше стоящим слоем народа, являлось, как известно, элементом разобщающим; оно отрывало тех, кто его усваивал, от народной массы и создавало между ними некоторого рода пропасть. Оно не могло, следовательно, не сыграть своей роли в процессе распада населения» (*Грот К. Я.* Рец. на кн. А. Н. Ясинского..., с. 39). Проводниками же этой чуждой культуры были «церковь и служители ее, многочисленный класс духовенства» (с. 39). Грот не останавливался лишь на освещении пагубности для «славянских начал» духовного влияния католицизма, а указывал и на социальное «могущественное влияние римской церкви, ее учреждений и строя (монастырей, орденов и т. д.)» (с. 39). Он видел в католической церкви непосредственную распространительницу в Чехии феодализма. «Мы убеждены,— писал Грот,— что именно римская церковь со своим на западе вполне установившимся правовым строем и обычаями была главным инициатором и проводником в прививке многих юридических установлений и форм западнославянским государственным организациям» (с. 83).

Вся эта критика сводится в итоге к классическому положению славянофильства о том, что католицизм есть основное духовное орудие в наступлении романо-германского мира на мир греко-славянский.

В рассматриваемых нами работах Грот, подобно Ламанскому и Кулаковскому, не останавливался специально на значении православия для всех славянских народов. Тем не менее и он не ограничивался лишь резкой критикой католицизма. Ученый полагал, что «христианизация на-



родных масс и их быта, обращение к греческой церкви, насаждение церковнославянской письменности и образованности» были явлениями, породившими возникновение славянского «национального самосознания» (Грот К. Я. Карпато-дунайские земли..., с. 86). У истоков этого явления стояли Кирилл и Мефодий.

Совсем иной взгляд, как мы уже видели, был у Грота на католическую христианизацию. Ее роль была только отрицательной. Это последнее положение Грот подтверждал и на примере истории Венгрии. Он писал, что «сохранению мадьярами своей народности могли способствовать [...] условия, созданные деятельным влиянием Запада. Такова роль римской церкви, латинства и [...] латинского языка» (с. 89). И тут же мы находим положение о том, что латынь способствовала укреплению «западных германских влияний и римской церкви. В этом смысле для самобытности Угрии ее роль отрицательная» (с. 89). Таким образом, католицизм и латынь, с одной стороны, помогали венграм сохранить свою этническую целостность, а с другой — уничтожали «самобытность» Венгрии. Казалось бы, ученый противоречит сам себе. Но дело в том, что Грот рассматривал всю проблему сквозь призму «славянских интересов» с явными признаками национальной нетерпимости не только к немцам, но и к венграм. Для него Венгрия была бы «самобытна», если бы удалось «ославянивание» (с. 89) на ранних этапах ее исторического развития.

Грот видел в конфессиональных традициях тех или иных стран стержень их внутренней и внешней политики. Так, конфликт между Австрией и Германией он усматривал в том, что Австрия «искони» представляла и защищала интересы «римско-католической церкви и папства», а действия Германии с ее «пангерманскими тенденциями и политикой в протестантской либеральной окраске» (с. 121) этим устремлениям Австрии препятствовали. В настоящее же для Грота время Австрия, «став на путь пангерманской, прусско-немецкой политики, очутилась в глубоком разладе, в коллизии со своими старыми традиционными римско-папскими, латинскими стремлениями, задачами и сочувствиями, столь дорогими многим из ее католических народов» (с. 121). Из процитированного нами с совершенной очевидностью обнаруживается полное непонимание истинных основ политики двух европейских монархий. Схема, пережившая себя, цепко державшаяся в сознании ученого, мешала реальному и объективному по-



ниманию как событий прошлого, так и современности.

Подводя итоги, следует признать, что в методологических принципах, на которые опирались в своих трудах Ламанский, Кулаковский и Грот, ведущее место занимают основные элементы славянофильской концепции. Конкретный анализ трудов названных ученых показал, что главенствующее место принадлежит идее разделения и исконной враждебности двух «миров»: романо-германского и греко-славянского. Несмотря на то что славянофильство как общественно-политическое движение ушло в прошлое, выдвинутая им концепция продолжала существовать в работах наиболее консервативной части русских историков-славяноведов. Делались даже попытки некоего теоретического ее развития, как, например, у Ламанского. Особенно ярко славянофильская идея двух миров проявилась в отстаивании и Гротом и Кулаковским чуждости феодализма «славянским началам», искусственному его насаждению в славянских землях. Не менее решительно и Грот и Кулаковский отстаивали тесно связанный с идеей раскола Европы на враждебные миры славянофильский тезис о противостоянии исконной славянской религии — православия и чуждого и враждебного ему католицизма. Следует заметить, что Ламанский в данном случае выступал значительно умереннее и осторожнее, заботясь прежде всего об идее всеобщего единения славян. Даже на фоне других буржуазных теоретико-методологических течений концепции, служившие Ламанскому, Кулаковскому и Гроту руководящими, являлись глубоко устаревшими, мешавшими объективному взгляду как на историю прошлого, так и на современные им исторические явления.

<sup>1</sup> *Лантева Л. П.* Развитие русской исторической мысли в XIX в. в области славяноведения.— Вест. МГУ. Сер. История, 1983, № 1, с. 36.

<sup>2</sup> Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979, с. 28.

<sup>3</sup> *Дьяков В. А.* Политические интерпретации идей славянской солидарности и развития славяноведения (с конца XVIII в. до 1939 г.).— В кн.: Методологические проблемы славистики, М., 1978, с. 232—260.

<sup>4</sup> *Зигель Ф. Ф.* История славянского права. Курс лекций. Ростов-на-Дону, 1916, ч. 1, 2, 100, 88 с.

<sup>5</sup> *Штакельберг Ю. И.* Грот Константин Яковлевич.— В кн.: Славяноведение в дореволюционной России..., с. 135; *Лециловская И. И.* Кулаковский Платон Андреевич.— Там же, с. 202.

<sup>6</sup> *Ламанский В. И.* Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892, XX, 152 с. (Далее ссылки на эту книгу см. в тексте.)

<sup>7</sup> *Грот К. Я.* Владимир Иванович Ламанский.— Ист. вест., 1915, № 1, с. 212 (далее ссылки на эту статью см. в тексте).

- <sup>8</sup> Переписка двух славянофилов И. С. Аксакова и В. И. Ламанского.— Русская мысль, 1916, кн. 9, с. 15.
- <sup>9</sup> В связи с этим можно считать не случайным, что в своих статьях, опубликованных в 1900 г. в венском журнале «Славянский век»,— «Взгляд на судьбы юго-западного славянства» и «Можно ли уподоблять Россию Австро-Венгрии в вопросе о народностях?» — проблеме конфессиональной В. И. Ламанский вообще не уделил абсолютно никакого внимания.
- <sup>10</sup> *Лециловская И. И.* Иллиризм. М., 1968, с. 6; *Беляева Ю. Д.* Литература народов Югославии в России. Восприятие, изучение, оценка. Последняя четверть XIX — начало XX в. М., 1979, с. 191, 197.
- <sup>11</sup> *Беляева Ю. Д.* Литература народов Югославии..., с. 184—185. Следует, однако, отметить, что автор делает ряд оговорок о приверженности П. А. Кулаковского «прежним симпатиям», с. 191.
- <sup>12</sup> *Кулаковский П. А.* Иллиризм: Исследование по истории хорватской литературы периода Возрождения. Варшава, 1894, с. 403 (далее ссылки на эту книгу см. в тексте).
- <sup>13</sup> *Беляева Ю. Д.* Литература народов Югославии..., с. 186.
- <sup>14</sup> Там же, с. 190.
- <sup>15</sup> *Кулаковский П. А.* Начало русской школы у сербов в XVIII в. Очерк из истории русского влияния на югославянские литературы. СПб., 1903, II, 176 с. (Далее ссылки на эту книгу см. в тексте).
- <sup>16</sup> *Кулаковский П. А.* Славянский язык богослужения у католиков югославян.— Славянские известия, 1909, № 4, с. 545 (далее ссылки на эту статью см. в тексте).
- <sup>17</sup> *Гильфердинг А. Ф.* История балтийских славян. СПб., 1865, ч. 1, с. III. О взглядах Гильфердинга см. подробнее: *Лаптева Л. П.* Развитие русской исторической мысли..., с. 35—36.
- <sup>18</sup> *Грот К. Я.* Рец. на кн.: А. Н. Ясинский. Падение земского строя в Чешском государстве (X—XIII вв.). Киев, 1895. СПб., 1899, 95 с. (Далее ссылки на эту книгу см. в тексте).
- <sup>19</sup> *Грот К. Я.* Карпато-дунайские земли в судьбах славянства и русских исторических изучениях.— В кн.: Новый сборник статей по славяноведению/Сост. и изд. учениками В. И. Ламанского. СПб., 1905, с. 69—140 (далее ссылки на эту статью см. в тексте).
- <sup>20</sup> Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955, т. I, с. 329.

*Е. Н. Масленникова*

**Проблемы реализма  
в советском и венгерском литературоведении  
20-х годов XX в.**

В 20-е годы в советском литературоведении шли ожесточенные споры по самым разным проблемам литературы и искусства. Именно это обилие поднимаемых вопросов, желание сразу расставить все по своим местам создают впечатление, что о реализме в то время говорили довольно мало. Категория реализма тогда еще не устано-

вилась, но подоплекой многих (если не большинства) дискуссий был вопрос о творческом методе, выводящий именно к этой категории. Крепла новая литература советского общества, и необходимо было не только изучать и определять ее основополагающие принципы, но и соотносить ее с литературой прошлого, находить ее место в системе традиций. В обстановке бурного становления социалистического искусства были естественными оживление левацких мнений, отрицание классического наследия, которые начались в некоторых литературных группировках еще в начале века. Понимая истоки этого процесса и осознавая возможность его развития, многие проникательные литературоведы и критики начали борьбу с ним уже в начале 20-х годов. Свидетельством этому может служить дискуссия 1923—1925 гг. в журнале «На посту». В то время как здесь нашел свое выражение переход советской литературы от «космического» пафоса, абстрактности художественного мышления, схематизма социальных характеристик — черт, присущих поэзии «Пролеткульта» и «Кузницы», к конкретно-историческому изображению новой действительности, к постановке больших гуманистических проблем, особую актуальность приобрел вопрос об усвоении и развитии реалистических традиций классической литературы.

В то время в защиту классического наследия выступили А. Луначарский, Л. Аксельрод, А. Воронский. Они выдвинули на передний план проблему реализма, утверждая, что качественно новый творческий метод социалистической литературы не может возникнуть на пустом месте, что он имеет корни в критическом реализме прошлого века. В 1923 г. Луначарский выдвинул лозунг «Назад, к Островскому»<sup>1</sup>. В 1925 г. в газете «Комсомольская правда» была напечатана его статья «Читайте классиков», в которой он писал о реалистической литературе прошлого и утверждал, что «пролетариат обеими ногами стоит на почве научного реализма, а поэтому классики реализма могут быть для него хорошими учителями художественной обработки действительности»<sup>2</sup>. Тогда же, в первой половине 20-х годов, Луначарский много писал и выступал перед различными аудиториями с докладами о фугуризме, экспрессионизме, кубизме, анализируя их роль и место в современной литературной жизни, и все эти заметки гакже вели к одной цели — определению нового творческого метода советской литературы, которая, конечно же, не может не взять многого из самых последних исканий, но останется

Все же достойной наследницей классических (и в основном реалистических) традиций.

К первой половине 20-х годов сходную с мнением Луначарского позицию по вопросам реализма занимал известный критик А. Воронский. Он звал современных писателей «назад, к классикам-реалистам», занимаясь одновременно исследованием творчества Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя. Проблема реализма волновала его не только как проблема историко-литературного характера, но и как насущный вопрос развития лучших традиций прошлого в современной советской литературе.

Многие советские писатели и критики пытались уже в те годы определить новое эстетическое качество художественного метода советской литературы. В 1923 г. Маяковский говорил о «тенденциозном реализме», в 1924 г. А. Толстой — о «монументальном реализме», Луначарский — о «социальном реализме», А. Лежнев — о «диалектическом реализме» и т. д.

Во второй половине 20-х годов проблема реализма начинает еще больше волновать советских литературоведов, критиков и самих писателей. В 1928 г. в издательстве «Круг» вышел сборник статей А. Воронского «Искусство видеть мир». Для современного читателя очевидны многие верные и глубокие положения исследователя. Основной акцент в его статьях делался на познавательную сторону искусства, причем большое место автор отводил интуиции художника. В статье «Заметки о художественном творчестве» он писал: «В противовес внешнему реализму, который у нас еще часто господствует, мы должны воспринять от художественников много интуиции и чувства, внутренний реализм, иначе наше искусство... будет лишь модным, будет злободневным, но не будет долговечным, не будет современным, не будет отражать эпохи». Вывод из этой статьи — «искусство есть познание жизни с помощью образов, причем огромное значение в этом познании имеет интуиция» — многими воспринимался в то время как прямо враждебный<sup>3</sup>.

Воронский и его последователи, несмотря на ошибочность взглядов по вопросам классовости искусства, во многом приближались к современному пониманию реализма, даже к определению социалистического реализма. В статье «Искусство видеть мир» Воронский писал: «Весь вопрос для искусства сейчас в том, как с помощью достигнутых ранее, крайне острых индивидуальных, субъективных приемов достигнуть самых объективных изображений мира,



т. е. таких, в которых прочная данность его ощущалась бы с наибольшей очевидностью; чтобы вместе с тем и в то же время эти художественные открытия мира соединялись с волевой активностью, с целеустремленностью, с творческими мощными общественными желаниями». В положении о гегемонии пролетариата в области искусства Воронский усматривал вульгаризаторский подход к художественному творчеству, с чем считал своим долгом бороться. Он писал: «...оценивая социологически то или иное произведение искусства, мы должны ставить вопрос, насколько художественно правдиво и истинно изображена в нем действительность и как общественно-политически звучит эта правда в соответственной обстановке. У нас же часто такую оценку подменяют прокурорским следствием: например, исходным пунктом таких оценок делают принадлежность писателя, скажем, к мелкой буржуазии, его путаные и неверные рассуждения, оставляя в стороне вопрос о художественной правде произведения»<sup>4</sup>.

В результате характерной для споров того времени резкости Воронский видел в теориях своих противников только лишь принижение роли реализма, они же, в свою очередь, замечали в основном буржуазно-философскую основу его взглядов. И. А. Виноградов писал в 1931 г., что для всей линии Воронского «характерно кантианско-бергсонинское понимание искусства как особого мира, как особого способа приобщения к сущности действительности отрешенно от практических интересов, отрешенно от рассудка, порочного по своей природе. Отсюда и понимание художественного метода принимает психологический характер: это способ настроить себя к восприятию подспудных вибраций жизни». Сам Виноградов, правильно считавший, что «художественный метод — это не только познание того, что было, но и борьба за то, что должно быть»<sup>5</sup>, не замечал у Воронского близких к этому положений.

Виноградов и многие другие критики РАППа на рубеже 20-х и 30-х годов приближались к современному определению сущности нового творческого метода, называя его без учета различий в специфике литературы и философии методом диалектического материализма, механически отождествляя материализм и идеализм с реализмом и романтизмом. В то время уже большинство литературоведов пришли к выводу о ценности реализма прошлого, о реалистическом пути дальнейшего развития советской литературы, подтвердив тем самым оценку, данную теории



Воронского А. В. Луначарским. Еще в 1927 г. Луначарский писал: «Может быть, Воронский не прав, сводя к познавательной стороне искусство на все 100% — этого, конечно, нет, но что в значительной степени он был прав — это не подлежит ни малейшему сомнению»; на протяжении всей второй половины 20-х годов Луначарский продолжал утверждать, что «поворот к реализму, к искренней демократизации искусства есть вещь совершенно неизбежная»<sup>6</sup>.

В начале же 30-х годов все очевиднее становится проникновение нового понимания художественного метода в сознание не только теоретиков литературы, но и писателей. А. Фадеев, который еще в 1928 г. на 1-м Всесоюзном съезде пролетарских писателей говорил о новом методе социалистической литературы как о методе диалектического материализма, в 1931 г. в статье «Долой Шиллера!» резко ополчился против романтизма, в 1932 г. в статье «О социалистическом реализме» он уже писал, что «романтический прорыв в будущее является одной из сторон реализма», приближаясь тем самым к определению социалистического реализма, данному на 1-м съезде советских писателей, а в 1932 г. в статье «За ТРАМ и против „трамчванства“» призывал учиться у художников прошлого, подчеркивая, что «брать» ничего нельзя, нужно изучать, понять старое, для того чтобы его переварить и открыть своё, новое»<sup>7</sup>.

Материал венгерского литературоведения данного периода значительно беднее, разобщен «географически» и идеологически. Однако нельзя сказать, что венгерские исследователи совсем не занимались вопросами реализма, ведь теория «большого реализма», выдвинутая венгерским литературоведом и философом Д. Лукачем в середине 30-х годов и игравшая в свое время довольно большую роль как в советском, так и в венгерском литературоведении, базировалась не только на материалах русских и западноевропейских.

Проблемы реализма новой литературы, его соотношения с критическим реализмом XIX в. ставились венгерским литературоведением уже в первые два десятилетия нашего века. Мощный импульс к новому пониманию реализма дал венгерской науке о литературе поэт Э. Ади как своим творчеством, так и теоретическими заметками. Всплывали эти вопросы и во время оживленных литературных дискуссий в Венгерской Советской Республике. Еще до 1919 г. в работах венгерских литературоведов

марксистского мировоззрения, базирующихся на достижениях лучших представителей венгерского и мирового литературоведения, продолжалась и развивалась трактовка реалистического метода как одного из основных принципов художественного отражения действительности. В короткий период времени (1919 г.), когда власть была в руках пролетариата, прозвучали самые разнообразные мнения по поводу, каким должно быть искусство. Большинство исследователей сходились во мнении, что начинать надо с внутреннего овладения всеми богатствами культуры. Но по вопросу о роли литературы в новом обществе наблюдались сильные расхождения, причем исследователи противоречили часто не только друг другу, но и самим себе. Так, Жигмонд Кунфи в своем докладе в Народном комиссариате просвещения в апреле 1919 г. пытался доказать, что литература должна заменить рабочему классу религию и алкоголь, служа источником иллюзий и удовольствия и приобщая одновременно к источникам прекрасного<sup>8</sup>. В то же время в своей статье в газете «Непсава» он подчеркивал, что «величественная музыка социализма должна приветствовать нас красотой и истиной»<sup>9</sup>.

Бела Балаж в своем небольшом исследовании о народных сказках касается вопроса об их наивном реализме, трансформирующемся в волшебном мире, и говорит об их непреходящей ценности<sup>10</sup>. Он же написал в 1919 г. статью о реализме народного театра<sup>11</sup>. Принципы реализма в литературе отстаивал в 1919 г. известный венгерский писатель Лайош Надь<sup>12</sup>. Интерес представляет и позиция, которую занимал в то время вождь венгерского активизма Л. Кашшак. Его призывы к плакатности революционного искусства<sup>13</sup> заставляют вспомнить оценку, данную Воронским футуризму в статье «Достижения Октября и советская литература». Отмечая его «вещность» как достоинство, советский литературовед сожалел, что она «оказалась слишком слабой и примитивной»<sup>14</sup>.

Большую роль играл уже в 1919 г. в венгерском литературоведении Д. Лукач. Будучи наркомом просвещения, он много занимался вопросами литературной политики партии и, заключая одну газетную дискуссию, писал: «Коммунистическая культурная программа делает различие лишь между литературой плохой и хорошей и не намерена отбросить Шекспира или Гёте по той причине, что они не были социалистическими писателями»<sup>15</sup>. Это стремление сохранить для культуры нового общества все богатство мирового литературного наследия, которое и

привело во многом к теории «большого реализма», пронизывает все труды венгерского философа и литературоведа на протяжении 20—30-х годов. Кроме того, необходимо сказать, что в 1917—1919 гг. проблемы реализма поднимал в своих работах молодой Й. Ревай<sup>16</sup>. В 20-е годы он практически не имел возможности сколь-нибудь подробно продолжать свои исследования, но мысли раннего периода нашли свое отражение в зрелых трудах этого исследователя литературы. Говоря о литературной обстановке в Венгерской Советской Республике, нельзя не сказать о том, что в то время там были достаточно хорошо известны работы советских ученых. На страницах газет и журналов печатались и обсуждались статьи о литературе Горького, Луначарского, Плеханова.

После поражения революции 1919 г. теоретическая мысль венгерского литературоведения продолжала развиваться не только на отечественной почве. Проблемы реализма неизменно занимали ее. Всем своим творчеством и публицистическими статьями отстаивал принципы критического реализма известный венгерский писатель Ж. Мориц. Лучшие представители журнала «Нюгат», такие, как М. Бабич, Д. Костолани, в годы, тяжелые для их страны, разрушали свои «башни из слоновой кости», создавали глубоко реалистические произведения, что нашло свое выражение и в их теоретических работах.

В 20-е годы в Венгрии началось движение «народных писателей», девизом которых стали слова Морица: «Проблема одна — правда. Хорошая, плохая, отрадная, пугающая»<sup>17</sup>. Это сложное и интересное направление, неоднородное по своим идеологическим позициям, поставило проблему реализма по-новому, взяв за основу своей творческой деятельности жанр социографии. Литература факта, претендующая на научное значение, отталкивалась от реализма и натурализма прошлого века, вбирала в себя многое от исканий новой литературы. Она продолжает интенсивно развиваться в современной Венгрии уже на основе социалистического реализма. В 20-е годы теоретических исследований нового направления практически не было (впервые исследовал это движение Й. Ревай в 1938 г. в статье «Марксизм и народность», написанной в Москве), но декларации его представителей оказывали большое влияние на формирование мнений литературоведов. В статье «Пришедшее поколение» выдающегося венгерского писателя Д. Ийеша, сделавшего многое для развития этого направления, ставились требования и приво-

дились образцы нового реализма. В качестве одного из примеров автор называл фильм С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Оценивая лучшую, с его точки зрения, современную венгерскую литературу, он писал, что «под поверхностью произведения пульсирует беспощадная жизнь, не воспринимаемая мелкобуржуазным опытом действительность»<sup>18</sup>, а общим ее стремлением называет поиски наиболее адекватной передачи современных явлений.

Иногда прорывались на страницы венгерской прессы в 20-е годы и голоса эмигрантов. Так, в 1925 г. газета «Непсава» напечатала статью Л. Кашшака «Рабочее движение и искусство». В этой работе автор сближается с некоторыми взглядами Воронского, утверждавшего, что искусство стоит по ту сторону классовой борьбы. Кашшак, как и многие другие представители венгерской прогрессивной интеллигенции, эмигрировал после 1919 г. в Вену. Здесь сложилась большая группа писателей и ученых, в кругу которых поднимались и решались многие вопросы венгерской литературы и общетеоретические проблемы. Исследования венского круга эмигрантов нельзя отделить от развития венгерского литературоведения в целом. Кашшак с 1 мая 1920 г. продолжил в Вене издание активистского журнала «Ма». Позиция его оставалась в основном прежней, в том числе и по отношению к реализму. В 1926 г., вернувшись в Будапешт, Кашшак продолжает выступать в печати со своими стихами и теоретическими заметками. В 1928 г. в газете «Мунка» была напечатана его статья «Пролетарское или социалистическое искусство?»<sup>19</sup>, в которой Кашшак относит к великим представителям нового искусства Золя и Горького. Отмечая глубоко реалистическую направленность этой литературы и приветствуя ее, он по-прежнему преувеличивает пропагандистское значение произведений литературы и искусства.

Большую роль в разработке многих теоретических проблем литературы сыграл издаваемый в 1927—1930 гг. в Будапеште журнал Венгерской коммунистической партии «100%». Этот орган печати во многом связывал эмиграцию с Венгрией (в нем печатались многие статьи венских эмигрантов под псевдонимами). Бывший редактор этого журнала А. Тамаш в своей книге 1964 г. «„100%“. Легальный журнал ВКП. 1927—1930» опроверг утверждение о влиянии на литературоведческую концепцию редакции «100%» РАППа. Влияние это было просто-напросто невозможно, так как в Венгрии в то время слишком мало

знали о развитии литературно-теоретической мысли в Советском Союзе, но некоторые общие концепции естественны, ибо они были порождены схожими явлениями. В общем и целом журнал «100%» проводил последовательную линию за реализм литературного творчества, против его формалистической отвлеченности. На страницах журнала печатались произведения Морица, Кодолани, Йожефа, Ийеша. Всегда привлекал внимание редакции Э. Ади. Из произведений советской литературы публиковались Горький, Бабель, Вс. Иванов, Есенин, Маяковский, Эренбург. За несколько лет существования в журнале вышли две большие статьи о реализме новой советской литературы на материале «Цемент» Гладкова и «Тихого Дона» Шолохова<sup>20</sup>.

Последовательно отстаивал принципы реализма в художественном творчестве главный редактор журнала А. Тамаш. Очень характерна его статья «Новая реальность — старая литература», которая явно перекликается с высказываниями по этим вопросам советских литературоведов 20-х годов. В этой статье он писал: «Лишь тот, кто проник до реальных корней реальных проблем, может поднять литературу выше горизонта мелкой буржуазии, на уровень реальных требований. Это стремление еще не означает политики. Оно означает лишь то, что литература стремится понять и овеществить все культурные проблемы в их реальном, т. е. общественном взаимодействии; что критика этими мерами должна измерять ценность творчества исходя из того, переняла ли новая литература наследие Петефи и Ади, Катоны и Этвеша. Речь идет не о подражании им, но о стремлении выполнить ту общественную функцию, которую выполняли они в свое время»<sup>21</sup>. Все изложенное выше очень напоминает призывы Луначарского «Назад, к классикам!», мысли Воронского о познавательной функции искусства и свидетельствует о том, что выработка основополагающих принципов нового творческого метода — социалистического реализма — шла в разных странах схожими путями даже при различии политической ситуации.

Большинство литературно-критических статей в журнале «100%» писали под псевдонимами И. Реваи и Д. Лукач. А. Тамаш в 60-е годы заявлял, что в настоящее время уже невозможно с полной достоверностью выяснить точное авторство многих статей. Но общая линия вырабатывалась совместно, она же выражена в цитированной статье Тамаша. Следует добавить, что отстаивались новые



принципы реалистической литературы часто в запальчивой полемике с М. Бабицем. Сотрудников коммунистического журнала возмущала недооценка им революционной стороны поэзии Ади, они не замечали того, что творчество самого Бабица все более тяготело к реализму, продолжая по-прежнему считать его апологетом «чистого искусства»<sup>22</sup>.

20-е годы были чрезвычайно важны для формирования теории «большого реализма» Лукача. Находясь в эмиграции в Вене, он не мог уделять много внимания вопросам литературоведения и эстетики. Но в то время шло интенсивное становление его политических взглядов<sup>23</sup>. В 1923 г. вышла в свет его большая работа «История и классовое сознание» — не очень удачная попытка теоретического обобщения практического опыта революции. На протяжении 20-х годов он был членом ЦК ВКП, тесно общался со многими выдающимися представителями венгерского коммунистического движения. Его политические взгляды были выражены в написанных в 1928 г. «Тезисах Блюма» (партийный псевдоним Лукача). Партия тогда отвергла его план установления рабоче-крестьянской демократической диктатуры как преддверия диктатуры пролетариата. Однако Лукач, обратясь к проблемам эстетики, использовал многие выводы своих идеологических работ. В 1931 г. в работе «Спор Маркса и Энгельса с Лассалем по поводу Зикингена» Лукач одним из первых начал исследовать эстетические взгляды основоположников марксизма, что помогло ему подвести итог своим прежним взглядам (в чем-то перекликающимся со взглядами Лассала) и начать подробную разработку теории марксистской эстетики, которую он начал с создания теории «большого реализма».

В 20-е же годы Лукач занимался вопросами культуры и литературы почти исключительно с политической точки зрения. В то время выработывался его методологический подход к вопросам литературоведения и эстетики, для которого характерны оперирование понятиями экономики, философии, эстетики, политики, свободный выбор аналогий из этих сфер, благодаря чему его работы выглядели очень доказательными. В основных литературоведческих работах Лукача того периода («L'art pour l'art и пролетарская поэзия», 1926; «О ежегоднике „Шарло эш калапач“», 1927; «Легенда о Дантоне», 1928) видны истоки концепции «большого реализма». Здесь уже проводится его основная идея об определяющем влиянии исторического

облика эпохи на творческий метод выдающихся ее художников. С этой точки зрения даются характеристики натурализма XIX в., декаданса рубежа веков, экспрессионизма 1918 г. В этих работах уже звучит мысль о торжестве реализма в XIX в., которое, с точки зрения их автора, уже не может быть превзойденным в новой литературе. В журнале «100%» Лукач давал характеристику творчества Толстого, явно базирующуюся на ленинских работах. Но видная уже в исследованиях 20-х годов недооценка Лукачем ленинского принципа партийности литературы, а также его мысль о кульминации реализма в XIX в. привели этого литературоведа и философа в 30-е годы к недооценке метода социалистического реализма в целом. Тем не менее нельзя отрицать, что теория «большого реализма» оказала большое влияние на советских исследователей в 30-е годы (в 1929 г. Лукач переехал в Советский Союз, где прожил до 1945 г.) и по праву вошла в историю как советского, так и венгерского литературоведения. Следует также отметить, что большое значение имела в 20-е годы критика Лукачем авангардистских взглядов Л. Кашшака, которая не только способствовала выработке принципиальных теоретических положений новой социалистической литературы, но и оказала благотворное влияние на творчество и мировоззрение самого поэта<sup>24</sup>.

В 20-е годы большая группа венгерских писателей и критиков находилась в Советском Союзе. Они принимали активное участие во многих дискуссиях советской прессы тех лет. Но вполне естественно, что больше, чем теоретические проблемы, их занимали практические (в основном оценочные) вопросы венгерской литературы. Они объединились в 1926 г. в венгерское отделение РАППа и разделяли в основном позицию РАППа по проблемам теории и методологии литературоведения. Многие венгерские писатели и критики входили также в Международное бюро революционной литературы. Заслугой этого круга эмигрантов, несомненно, является то, что они занимались исследованием современной венгерской литературы с позиций нового марксистского литературоведения. К сожалению, оценки их были слишком резки и не всегда правильны. Оторванность от родины и стечение многих других обстоятельств привели к тому, что ими была дана необоснованная и очень резкая критика А. Йожефа и Л. Кашшака. Но многие их статьи в советской прессе заслуживают внимания как первые попытки включить венгерскую революционную литературу в контекст принципов

нового художественного творчества, зарождающегося в эпоху социализма.

С этой точки зрения характерны статьи З. Липкаи «Венгерская социалистическая литература» («На литературном посту», 1927, № 22—23), «Венгерская революционная литература» («На литературном посту», № 19, 20—21), «Распад активизма в венгерской литературе» («Вестник иностранной литературы», 1928, № 11). Возможно, оторванность от венгерской почвы привела к тому, что современную венгерскую литературу он анализировал очень поверхностно и предвзято. Говоря о литературе прошлого, он называл Петефи «борцом за мировую революцию», а Араня — «типичным мелкобуржуазным соглашателем». В таких характеристиках, конечно, чувствуется влияние левацкой критики первых лет Советской власти. Принцип реализма художественного изображения, как правило, рассматривался в этих статьях в связи с революционностью художественного творчества. К началу 30-х годов венгерская группа эмигрантов в Советском Союзе выработала более или менее четкое отношение к проблеме творческого метода, выраженное в «Проекте платформы венгерской литературы», утвержденном венгерской группой Московского союза пролетарских писателей 8 апреля 1931 г. Важнейшей задачей пролетарской литературы в этом документе называется «борьба за овладение диалектико-материалистическим методом»<sup>25</sup>. Кроме того, в «Проекте платформы...» подчеркивалась необходимость продолжать лучшие традиции буржуазной литературы; в то же время в нем содержались неоправданно резкие оценки современной венгерской литературы.

В 20-е годы нашего века разработка категории реализма не занимала центрального места ни в советском, ни в венгерском литературоведении. Тем не менее проблема творческого метода и связанные с ней вопросы реализма по-настоящему встали именно тогда и тогда же начинали закладываться основы теории социалистического реализма. В результате исканий, ошибок, споров исследователей того времени литературоведение приходило к новым истинам, выходило на новую дорогу исследований. И когда после 1945 г. складывалась новая венгерская наука о литературе, достижения ее соотечественников в 20-е годы сыграли при этом немалую роль. Во многом общий, часто пересекавшийся путь развития советской и венгерской литературоведческой мысли оказал свое влияние на тесное сотрудничество ученых этих стран в наше время.

- <sup>1</sup> Луначарский А. В. О театре и драматургии. М., 1958, т. I, с. 626.
- <sup>2</sup> Луначарский А. В. Собр. соч., М., 1967, т. 7, с. 435.
- <sup>3</sup> Воронский А. Искусство видеть мир. М., 1928, с. 76.
- <sup>4</sup> Там же, с. 78, 114.
- <sup>5</sup> Виноградов И. Проблема художественного метода.— РАПП, 1931, № 3, с. 115, 103.
- <sup>6</sup> Луначарский А. В. Собр. соч., т. 7, с. 520, 74.
- <sup>7</sup> Фадеев А. За тридцать лет. М., 1957, с. 74, 93.
- <sup>8</sup> Kunji Zs. Proletárkultúra — proletárművészet.— In: Befunde und Entwürfe. Berlin, 1984, S. 115—119.
- <sup>9</sup> Kunji Zs. Forradalmi istentisztelet.— In: Befunde..., S. 120.
- <sup>10</sup> Balázs B. Ne vegyetek el a gyermekektől a mesét.— In: Befunde..., S. 126.
- <sup>11</sup> Balázs B. A Nép Színház.— In: Befunde..., S. 128—130.
- <sup>12</sup> Nagy L. Világszemlélet az irodalomban.— In: Befunde..., S. 133—136.
- <sup>13</sup> Kassák L. A «Ma» első agitativ estején; Levél Kun Bélához a művészet nevében.— In: Befunde..., S. 136—142, 144—150.
- <sup>14</sup> Воронский А. Искусство видеть мир, с. 172.
- <sup>15</sup> Lukács Gy. Felvilágosításul.— In: Befunde..., S. 143.
- <sup>16</sup> Révai J. Ifjúkori írások (1917—1919). Budapest, 1981, 365 o.
- <sup>17</sup> Móricz Zs. Új világot teremtünk. Budapest, 1953, 38 o.
- <sup>18</sup> Csabay A. (Illyés Gy). Egy megérkezett nemzedék.— In: Befunde..., S. 196.
- <sup>19</sup> Kassák L. Proletárművészet vagy szocialista művészet? — In: Befunde..., S. 204.
- <sup>20</sup> Tamás A. A 100%. A KMP legális folyóirata. 1927—1930. Budapest, 1964, 53. o.
- <sup>21</sup> Tamás A. Új valóság — régi irodalom.— In: 100%. A KMP legális..., S. 175.
- <sup>22</sup> Н-р Vajda S. (Lukács Gy). Két kísértet kézfogása egy sír felett.— «100%», 1927, szept. 1. évf. 1. sz.; Он же. Ady mint programm.— «100%», 1928, jun. 1. évf. 9 sz.
- <sup>23</sup> Общую оценку мировоззрения и идейно-политических позиций Д. Лукача см.: Марксистская философия в международном рабочем движении в конце XIX — начале XX века. М., 1984, с. 379—394.
- <sup>24</sup> Подробная характеристика творчества Лукача в 20-е годы дана в кн.: Lackó M. Szerep és mű. Budapest, 1981, 289 o.
- <sup>25</sup> Plattformenentwurf der ungarischen proletarischen Litefatur.— In: Befunde..., S. 227.

*Н. П. Митина*

**Советское славяноведение 1920—1930-х годов  
и вклад польских политэмигрантов  
в его становление и развитие**

Польские политэмигранты, проживавшие на территории СССР, стали пионерами марксистского направления в изучении истории Польши<sup>1</sup>. Их становлению как историков-марксистов способствовала обстановка, в которой

они жили и работали. Многие польские интернационалисты входили в исполнительные комитеты действовавших в Москве революционных международных организаций: Коминтерна, Профинтерна, Крестьянского интернационала, являлись членами редколлежий издаваемых ими периодических изданий, занимали ответственные партийные и государственные посты в молодой Советской республике, принадлежали к польскому коммунистическому идеологическому активу. Вместе с тем они плодотворно работали в науке, культуре.

Среди тех, кто успешно разрабатывал различные аспекты истории Польши, следует назвать ряд видных деятелей польского рабочего движения. Ю. Мархлевский (псевд. Карский) был действительным членом Коммунистической академии, ректором Коммунистического университета национальных меньшинств Запада, преподавал в МГУ, в Институте красной профессуры, работал в других научных учреждениях. Ю. Ротштадт — (псевд. Красный) известен как крупный организатор науки, автор и редактор многих трудов, первый председатель Центрального издательства народов СССР, ответственный секретарь Польской комиссии Истпарта ЦК ВКП(б) и первый ответственный редактор издаваемого комиссией журнала «Z pola walki» («С поля битвы»). С. Бобинский был организатором и ректором Коммунистического университета на Урале, профессором Горной академии, преподавателем Коммунистической академии в Москве, руководителем первой партшколы для партийного актива КПП, членом Польской комиссии Истпарта. С. Будзинский (псевд. Традиция), профессор, преподавал исторический материализм в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада, был одним из организаторов и постоянных лекторов Коммунистического университета в Белоруссии. Научными сотрудниками Института В. И. Ленина, Института К. Маркса и Ф. Энгельса, а затем ИМЭЛ были выпускник Политической школы Коминтерна кандидат исторических наук Г. Битнер (псевд. Бич), А. Варшавский (псевд. Варский), В. Штейн (псевд. А. Краевский) и др. Известным публицистом, редактором многих периодических изданий, выходящих в СССР на польском языке, был Ю. Лещинский (псевд. Ленский).

Многие польские исследователи работали в возникших в 1920—1930-е годы на Украине и в Белоруссии полонистических научных учреждениях<sup>2</sup>. В 1918—1939 гг. в СССР было издано 1047 книг и брошюр на польском и русском



языках, в том числе и переводных, касающихся польской проблематики<sup>3</sup>.

Польские исследователи много статей публиковали на страницах периодических изданий, таких, как «Коммунистический Интернационал», «Красный Интернационал профсоюзов», «Пролетарская революция», «Мировое хозяйство и мировая политика», «Аграрные проблемы», «История пролетариата СССР» и др.

В одной статье невозможно рассмотреть все историческое и публицистическое наследие польских политэмигрантов 1920—1930-х годов. Они исследовали социальные и национальные движения и роль пролетариата как класса-гегемона в этих движениях, историю польских рабочих партий, изучали узловые вопросы современности. Мы остановимся главным образом на историографии революционной борьбы польского народа за свое социальное и национальное освобождение на пролетарском этапе освободительной борьбы.

Польские коммунисты первыми предприняли попытки марксистской разработки истории польского революционного рабочего движения. Перед исследователями стояла трудная и сложная задача — показать исторические события, либо вообще замалчиваемые буржуазной историографией, либо освещаемые тенденциозно, а следовательно, нуждающиеся в пересмотре и переоценке. Впервые должны были получить освещение проблемы истории СДКПиЛ, ППС-левицы, КПП. Дополнительные трудности создавало то обстоятельство, что в среде польских коммунистов выявились противоречивые взгляды на некоторые проблемы истории партии и рабочего движения.

Большую роль в разработке и изучении польского революционного и рабочего движения сыграла Польская комиссия Истпарта ЦК ВКП(б)<sup>4</sup>, а также созданная на ее базе в 1928 г. Редколлегия польских изданий.

Польская комиссия Истпарта одну из главных своих задач видела в создании Польского коммунистического архива, сборе и подготовке к изданию материалов по истории революционного движения в Польше<sup>5</sup>.

О широких научных и публикаторских замыслах Польской комиссии Истпарта свидетельствует план издания «Материалов по истории социалистического движения в Польше» в 22 томах. Первые 6 томов отводились истории СДКПиЛ (1893—1918), 2 тома — ППС-левице (1906—1918), 2 тома — партии «Пролетариат» (1876—1886), 1 том — Союзу польских рабочих (1888—1892),

«Второму пролетариату» (1888—1892) и майской борьбе 1892 г. в Лодзи, 7 томов должны были осветить историю рабочего движения, забастовки, демонстрации и т. п. (1892—1918). По одному тому планировалось для показа социалистического движения в Галиции, Познани и Верхней Силезии. В одном томе должна была получить освещение история еврейского рабочего движения в Польше, последний том должен был представить историю празднования 1 Мая в Польше<sup>6</sup>. К сожалению, план этот был реализован лишь частично. О вышедших публикациях и исследованиях будет сказано ниже.

Польская комиссия Истпарта и Польский коммунистический архив предприняли издание журнала «Z pola walki»<sup>7</sup>. На протяжении своего существования журнал расширял рамки рассматриваемых проблем, усложнял цели и задачи. Журнал печатал аналитические статьи, в том числе дискуссионные, публиковал материалы и документы, воспоминания, рецензии, хропику. Выходили и тематические номера. Так, третий номер журнала был посвящен памяти Ф. Дзержинского, четырнадцатый-пятнадцатый — 50-й годовщине со дня смерти К. Маркса.

Начальный этап польского рабочего и социалистического движения нашел отражение в нескольких работах. С. Бобинский охарактеризовал события 1876—1882 гг. как подготовительный этап польской коммунистической партии, Б. Шмидт в статье «Об истоках социал-демократии Польши и Литвы» представил историю Союза польских рабочих<sup>8</sup>. Обстоятельней и с большей научной полнотой была исследована история первой пролетарской партии «Пролетариат». В 1934 г. вышел подготовленный в ИМЭЛ Г. Бичем сборник материалов, в который вошли программные документы, показывающие исторический путь этой партии: важнейшие воззвания, статьи, письма<sup>9</sup>. Несколько монографий, статей и воспоминаний о первом «Пролетариате» принадлежат Ф. Кону<sup>10</sup>. Его работы отличает живой повествовательный язык полувоспоминаний-полуэссе. В них рассмотрены создание и история партии, охарактеризованы ее программа и идеология, подчеркивается интернационализм партии. На русском языке была издана богатая фактическим материалом работа Р. Люксембург<sup>11</sup>. История первой польской рабочей партии стала предметом рассмотрения А. Арского, Г. Валецкого<sup>12</sup>. Из подготовленной Б. Будкевичевой работы по истории первых польских социалистических кружков и партии «Пролетариат» опубликована первая часть<sup>13</sup>,

в которой получили освещение вопросы экономического развития Королевства Польского, формирования и положения пролетариата, начала его забастовочной борьбы. Обширные комментарии содержали малоизвестные статистические и фактические данные.

До сих пор не утратили своего научного значения итоги разработки польскими исследователями важнейших этапов истории СДКПиЛ. Особенно следует отметить публикации документов по истории этой партии. В 1927 г. вышел первый том «Материалов по истории социалистического движения в Польше», охватывающий период 1893—1903 гг.<sup>14</sup> Материалы явились первым систематическим изданием документов о СДКПиЛ. Они содержали много нового: имена участников первых съездов и конференций, картину работы социал-демократических организаций на местах, сведения о деятельности рабочих-передовиков конца XIX — начала XX в., а самое главное, показывали основные идейные и организационные принципы партии.

Более полным и в научном отношении более зрелым было издание социал-демократических документов за период 1893—1904 гг., подготовленное в ИМЭЛ Б. Шмидтом<sup>15</sup>. В него вошли материалы, показывающие процесс возникновения и развития СДКПиЛ в указанные годы, отчеты съездов, важнейшие резолюции, неизвестные архивные документы, статьи из прессы. Введение представляло собой краткий исторический очерк экономического и политического развития Польши, рабочего движения и СДКПиЛ в те годы.

Возникновение и ранний период деятельности социал-демократической партии показал также в статье Б. Шмидт<sup>16</sup>. А. Варский опубликовал протоколы IV съезда СДКПиЛ и материалы об участии польских социал-демократов во II съезде РСДРП<sup>17</sup>. Во вступительной части он осветил формирование позиции СДКПиЛ по национальному вопросу. Ряд статей А. Варского, Я. Ганецкого, С. Кржижановского, З. Ледера также характеризует взгляды СДКПиЛ по национальному вопросу и показывает взаимоотношения польских и российских социал-демократов в период подготовки и проведения II съезда РСДРП<sup>18</sup>.

Эти вопросы, по словам С. Кржижановского, имели для польских коммунистов не только историческое, но и политическое значение. Они были актуальны в борьбе за ленинскую национальную политику в эпоху пролетарской революции<sup>19</sup>.

В 20—30-е годы определенные успехи были достигнуты в изучении революции 1905—1907 гг. в Польше. В польской историографии не было в то время ни одной серьезной работы, посвященной этой революции. Освещались лишь некоторые второстепенные вопросы, как, например, школьная забастовка. Огромный пласт источников был еще не тронут. Мемуарная литература начинала только складываться.

Перед историками-марксистами стояла задача показа революции 1905 г. как одного из ключевых событий новой истории Польши, оказавшего огромное влияние на многие области жизни польского общества. Участие пролетариата и крестьянства в революции, анализ движущих сил, роль пролетарской партии — вот те проблемы, раскрытие которых имело не только историческое значение, но и в значительной степени могло способствовать пониманию актуальных задач современного польского революционного движения.

Одним из первых исследователей революции 1905 г. был Ю. Красный. «Я намерен собрать весь фактический и цифровой материал о революции 1905—1907 гг. в Польше,— писал он в одной из своих работ,— с целью сделать выводы, каков был в самом деле размах движения, как глубоко проникал он в гущу рабочего класса и какие изменения происходили в массах во время самого процесса революции»<sup>20</sup>.

Прежде всего следует отметить первые попытки публикаций документов о революции 1905—1907 гг. Под редакцией Ю. Красного вышел второй том «Материалов», издаваемых Польской комиссией Истпарта<sup>21</sup>. Публикаторы отдавали себе отчет, что это лишь первый шаг в большой и ответственной работе. В 1925 г. вышел небольшой сборник материалов, преимущественно СДКПил, о Лодзинском вооруженном восстании, составленный и с предисловием Ю. Красного<sup>22</sup>. Был опубликован сборник статей под ред. Ю. Красного<sup>23</sup>, в котором приняли участие С. Пестковский, З. Ледер, Г. Валецкий, Б. Гробель и А. Марковский. Статьи и воспоминания о революции 1905 г. в Польше принадлежат также Ф. Кону<sup>24</sup>. Общую картину революции представил в небольшой брошюре З. Ледер<sup>25</sup>.

Борьбу партий в польском рабочем движении в 1905 г. осветил С. Пестковский<sup>26</sup>. Автор показал пробуждение массового рабочего движения в 1905 г., рост социал-демократии, раскол ППС. Много ценного исторического материала о СДКПил и ее роли в революции 1905 г. содер-

жится в статьях А. Краевского, С. Пестковского, Н. Ловицкого<sup>27</sup>.

Хронологию событий и революционных боев польского пролетариата в 1905 г. представил М. Плохоцкий<sup>28</sup>. События 1905 г. в Литве осветил В. Мицкевич-Капсукас<sup>29</sup>. История революционного движения в Польше в связи с русско-японской войной и январскими событиями 1905 г. нашла отражение в статье А. Арского<sup>30</sup>.

К 25-й годовщине революции 1905—1907 гг. вышла монографическая статья Пшибышевского «Пролетариат в революционном движении Польши»<sup>31</sup>. На большом фактическом материале автор поднял ключевые проблемы революции, попытался показать роль и место отдельных классов и политических группировок в революционных событиях, дать анализ характера и движущих сил революции. По мнению современных польских исследователей, это была первая и в течение долгого времени единственная обобщающая работа, не утратившая своего значения и по сей день<sup>32</sup>.

Деятельность СДКПиЛ в годы реакции (1908—1910 гг.) осветил З. Ангаретис (псевд. Алекса)<sup>33</sup>. Ценным источником по истории СДКПиЛ в годы первой мировой войны является изданный Б. Шмидтом второй том материалов и документов<sup>34</sup>. Очерк борьбы рабочего класса и деятельности СДКПиЛ в 1914—1918 гг. принадлежит Г. Каменскому<sup>35</sup>. В книге использованы партийные материалы и имеется приложение из 17 документов СДКПиЛ.

Польским коммунистам принадлежит приоритет в критическом осмыслении некоторых организационных, тактических и идеологических принципов польской социал-демократии. А. Краевский и В. Турковский<sup>36</sup> рассмотрели сильные и слабые стороны взглядов СДКПиЛ. Они подвергли анализу такие не решенные СДКПиЛ и унаследованные КПП вопросы, как роль партии в подготовке и проведении вооруженного восстания, о гегемонии пролетариата и его связях с революционным крестьянством, о характере и задачах временного революционного правительства, о позиции Р. Люксембург и Л. Тышки по этим вопросам.

Жизнь и деятельность Р. Люксембург и Л. Тышки в связи с 10-й годовщиной со дня трагической их гибели охарактеризовал А. Малецкий. Были опубликованы также письма Р. Люксембург и Л. Тышки<sup>37</sup>.

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на польское рабочее движение получило освещение



в обширной статье Е. Пшибышевского<sup>38</sup>. Автор показал состояние и роль различных партий, в том числе и буржуазных, в польском обществе, их социальную базу, проникновение коммунистических идей в широкие слои населения, рост массового рабочего движения, причины поражения революционного натиска.

В связи с 10-й годовщиной Великого Октября появился ряд работ, в которых нашло отражение участие поляков в Октябрьской революции. М. Здзярский в статье «Октябрьская революция и пролетариат Польши»<sup>39</sup> показал рост коммунистического влияния в массах, проявление пролетарской солидарности, причины поражения польского пролетарского натиска в 1918 г.

Участие поляков в Октябрьской революции в Петербурге было освещено в специальном сборнике статей<sup>40</sup>. Отношение поляков, проживавших в СССР, к Октябрьской революции отражено в книге Ф. Кона<sup>41</sup>. Участие в революции польских рабочих на территории Белоруссии показал С. Гельтман<sup>42</sup>. Октябрьские дни в Москве нашли отражение в воспоминаниях С. Будзинского<sup>43</sup>. Монографическое освещение участия поляков в Октябрьской революции и строительстве первого социалистического государства представил Т. Домбаль<sup>44</sup>.

Ценной работой по истории рабочего движения в Польше является подготовленный в ИМЭЛ Г. Бичем сборник материалов и документов о Советах рабочих депутатов в Польше в 1918—1919 гг.<sup>45</sup> В книге показаны сложившаяся в стране революционная ситуация, большая политическая активность рабочих масс и крестьянской бедноты, раскрываются тактика и задачи КПП, предательская роль вождей ППС, идеологические и тактические ошибки КПП, причины поражения революционной ситуации в Польше. Г. Бич опубликовал также статью на ту же тему<sup>46</sup>.

Уцелевшие номера печатных органов двух советов, действовавших в Домбровском угольном бассейне, опубликовала В. Гостинская<sup>47</sup>.

В научной и публицистической деятельности польских коммунистов большое место занимали показ положения трудящихся масс буржуазной Польши, анализ обострения классовых и национальных противоречий в стране и подъем революционного и национально-освободительного движения. Особое место уделялось раскрытию роли КПП в подготовке и проведении революционных боев, критике допущенных просчетов, выработке правильной руководящей линии партии.

Борьба польского пролетариата в 20-е годы, особенно краковское восстание 1923 г., которое явилось высшей формой классовой борьбы того периода, освещены в работах А. Р., Т. Домбалья, Б. Ксавера, А. Романского, А. Франковской, И. Юзефовича<sup>48</sup>. Авторы вскрыли явления глубокого экономического кризиса в Польше, показали нарастание в стране революционного кризиса, представили картину краковского восстания, охарактеризовали идеологические и тактические ошибки КПП в тот период.

Положение польского пролетариата, а также размах стачечного движения накануне переворота Пилсудского и в первые годы фашистского режима нашли отражение в статьях Т. Федера и С. Гортвиц (псевд. С. Бельская)<sup>49</sup>.

Глубокий анализ классовых боев лодзинских текстильщиков в 1928 г. произвели Г. Лауэр (псевд. Э. Бранд), Е. Чешейко-Сохацкий (псевд. Ю. Братковский), А. Вольский<sup>50</sup> и др. Они отметили ярко выраженный политический антифашистский характер лодзинских событий и их огромное историческое значение. Ю. Братковский вскрыл также цели фашистской национальной политики, показал обострение классовых и национальных противоречий в Западной Украине, подъем национально-освободительной борьбы против польской фашистской оккупации.

Роль КПП в подготовке и проведении Красного международного дня в Польше 1 августа 1929 г., а также задачи партии в будущих классовых боях осветил Пурман<sup>51</sup>.

Рост безработицы и положение безработных в Польше, их борьбу в 1929—1930 гг. охарактеризовала С. Бельская<sup>52</sup>.

Развитие экономического кризиса в 1929—1933 гг., обострение социальных противоречий в городе и деревне, усиливающаяся борьба угнетенных национальностей нашли широкое отражение в работах А. Радзишевского (псевд. Арский), Ю. Братковского, К. Вольского, Г. Генриховского, Т. Данишевского (псевд. Т. Нулковский), Т. Жарского, Ю. Ленского, С. Маркса, Я. Михальчука, С. Мертенса (псевд. Скульский)<sup>53</sup>. Особенно полно все эти вопросы освещены в книге Ю. Братковского «Польша на пути к революционному кризису» (М.: Партиздат, 1932)<sup>54</sup> и работе А. Балущкого «Революционная борьба текстильщиков Лодзи» (М.: Профиздат, 1934).

Широкая картина социально-экономических и политических противоречий при фашистской диктатуре, причины загнивания польского капитализма, небывалый рост со-

циального и национального угнетения, поворот к крупным политическим стачкам протеста предстают в обстоятельной книге Е. Явленского «Жизнь и борьба рабочих Польши» (М.: Профиздат, 1935). Автор подробно останавливается на задачах КПП по подготовке рабочего класса и широких трудящихся масс к революционному выходу из кризиса — к вооруженному восстанию.

Т. Данишевский на большом статистическом материале выделил и охарактеризовал четыре периода борьбы польского пролетариата в 1928—1934 гг.<sup>55</sup>

Краковские события 1936 г. как новый этап классовой борьбы в Польше представили Ф. Градовский и Ю. Юневич<sup>56</sup>.

Задачи КПП в условиях фашистской диктатуры и подъема революционного движения в стране нашли отражение во многих опубликованных партийных решениях и статьях польских коммунистов<sup>57</sup>.

Состояние сельского хозяйства буржуазной Польши, положение широких крестьянских масс, их борьба нашли отражение во многих работах польских политэмигрантов.

О крестьянском вопросе во время революционного движения в 1918—1920 гг. и о необходимости рабоче-крестьянского союза писали С. Бобинский и Т. Домбаль<sup>58</sup>. Крестьянский вопрос в первые годы существования буржуазной Польской республики рассмотрел А. Арский<sup>59</sup>.

Особенно широкое освещение получили проблемы аграрных кризисов, упадка сельского хозяйства, грабительской политики фашизма, структуры крестьянства и происходящих в деревне классовых сдвигов, обострения классовой борьбы и задач КПП в крестьянском вопросе.

Все эти вопросы на большом статистическом материале получили наиболее полный анализ в книге Р. Яновского<sup>60</sup>, а также в коллективном труде «Польская деревня во время кризиса» (М., 1935), в монографии и статьях С. Влодавского<sup>61</sup>, А. Зоркого<sup>62</sup>. Обострение аграрного кризиса в 1934—1935 гг., усиление ограбления широких крестьянских масс путем налогового пресса, лишение крестьян политических прав, характер революционного крестьянского движения и задачи КПП нашли отражение в обстоятельной статье Я. Михальчука<sup>63</sup>. Тесную взаимосвязь аграрного и промышленного кризисов, внешнюю торговлю Польши, налоговую и кредитную политику фашизма показал в своих статьях А. Соколовский<sup>64</sup>. Рост крестьянского и национально-освободительного движения, а также борьбу за крестьянство различных политических пар-

гий осветил Б. Тарашкевич<sup>65</sup>. Обличительными документами против польского фашизма, рисующими непомерные страдания и нищету крестьянства буржуазной Польши, являются сборники под редакцией и с предисловием Я. Михальчука «Польские крестьяне о своей жизни» Пер. с пол. М., 1936, и сборник, составленный С. Влодавским<sup>66</sup>.

Борьба КПП за крестьянские массы нашла отражение в статье О. Червеца<sup>67</sup>.

Обширную и ценную публицистику оставили польские коммунисты по важнейшему политическому вопросу своего времени — необходимости объединения всех демократических сил страны под руководством пролетариата против фашизации Польши и угрозы новой войны<sup>68</sup>.

В 1920—1930-х годах появилась огромная литература о Коммунистической партии Польши. Было опубликовано большое число партийных документов: материалы к программе КПП, решения и резолюции съездов и конференций, выступления их участников, создана большая публицистика<sup>69</sup>.

Польские коммунисты были первыми историографами КПП. Историю КПП от ее возникновения и до VI съезда осветил Б. Бортновский (псевд. Бронковский)<sup>70</sup>.

В 1935 г. вышла под редакцией С. Скульского работа Белорусской академии наук, посвященная истории, идеологии и политике политических партий, действующих в Польше, Западной Белоруссии и Западной Украине<sup>71</sup>. Автором очерка о КПП был Б. Бронковский. С. Скульский осветил Народную рабочую партию (НРП), Христианско-демократическую партию (ХД) и беспартийный блок. Автором очерка о Стронництве людовом являлся С. Влодавский. Национально-демократическую партию (НД) представили С. Волковыский и Шевахович. Историю Польской социалистической партии (ППС) осветили С. Волковыский и Я. Шнейдер.

Ценный материал, характеризующий деятельность ППС в 1919—1921 гг., содержится в книге С. Ланцуцкого «ППС — Польская социалистическая партия» (Пер. с пол. М., 1924), а также в воспоминаниях Г. Битнера<sup>72</sup>. С. Скульский является автором работы о сотрудничестве беспартийного блока с правящими кругами<sup>73</sup>.

Статья не могла охватить всего научного наследия польских политэмигрантов. За ее рамками осталась историография польского национально-освободительного движения, особенно восстания 1863—1864 гг. (работы Е. Пши-

бышевского, Я. Витковского, С. Гельтмана), содержательные и разнообразные работы по экономическому и политическому положению буржуазной Польши, ее внутренней и внешней политике, исторические труды Ю. Мархлевского и др.

Рассмотренные в статье исторические и публицистические работы польских коммунистов-политэмигрантов неодинаковы по объему и профессиональному уровню. Однако нет никакого сомнения, что в совокупности они имели большое методологическое значение, они стали первыми марксистскими исследованиями по многим актуальнейшим вопросам польской истории, исследованиями, сохраняющими свою научную значимость до наших дней.

- <sup>1</sup> Отчасти это уже затрагивалось в литературе: *Белявская И. М.* Советское славяноведение за 50 лет.— В кн.: Советское славяноведение: Материалы IV конференции историков-славистов. Минск, 1969; *Королюк В. Д., Тульчинский М. Р.* Славяноведение.— СИЭ, 1971, т. 13; *Королюк В. Д.* Славяноведение.— БСЭ, 1976, 3-е изд., т. 23; *Горяинов А. Н.* Советское славяноведение 1920—1930-х годов.— В кн.: Исследования по истории славяноведения и балканистики. М., 1981; *Стецкевич С. М., Якубский В. А.* Становление и развитие советской исторической полонистики.— Там же; *Горяинов А. Н., Дьяков В. А., Литаврин Г. Г.* и др. Вклад советской науки в изучение истории зарубежных славян.— В кн.: Историки-слависты СССР; Биобиблиографический словарь-справочник. М., 1981.
- <sup>2</sup> *Горяинов А. Н.* Советское славяноведение..., с. 12—14.
- <sup>3</sup> *Korzanowa Z.* Materiały do bibliografii polskiego ruchu robotniczego (1918—1939). Warszawa, 1960, прил. № 2; *Fryshmanowa F.* Książka polska w ZSRR w 1934. Bibliografia. Mińsk, 1935; *Zalewski J.* Bibliografia polskiej literatury radzieckiej wydanej w ZSRR w 1917—1927. Kijów, 1928; *Он же.* Bibliografia polska literatury rodzimej wydanej w ZSRR w 1928. Kijów, 1929; *Он же.* Библиография литературы об Польщы, Заходняй Украіне и Заходняй Беларусі, выданай у СССР 1917—1929 гг. Менск, 1931; *Он же.* Библиография литературы об Польщы, Заходняй Украіне и Заходняй Беларусі, выданай у СССР у 1930 г. Менск, 1933.
- <sup>4</sup> Польская комиссия Истпарта была утверждена в январе 1925 г. в составе: председателя — Ф. Дзержинского, зам. председателя — Ю. Уншлихта и членов комиссии — С. Бобинского, Ф. Кона и Ю. Красного.
- <sup>5</sup> О структуре архива, наличии в нем периодических изданий, прокламаций, книг и брошюр см.: *Красный Ю.* Отчет Польской комиссии Истпарта ЦК ВКП(б).— Пролетарская революция, 1927, № 8—9, с. 440—446; *Бобинский С.* Материалы по истории польского большевизма.— Историк-марксист, 1928, № 7, с. 256; *Z pola walki*, 1931, № 11—12, с. 402—403.
- <sup>6</sup> *Бобинский С.* Материалы по истории..., с. 256—258.
- <sup>7</sup> Издавался в 1926—1934 гг. Вышло 16 номеров. Ежеквартальник. Ответственным редактором первых четырех томов был Ю. Красный. Последующие номера выходили под редакцией Редколлегии польских изданий и под грифом Института В. И. Ленина и с 1931 г.— ИМЭЛ.



- <sup>8</sup> [Бобинский С.] Этапы развития коммунистической партии в Польше.— Пролетарская революция, 1922, № 11, 19—34; Борьба классов, 1936, № 5, с. 60—69.
- <sup>9</sup> Bicz H. «Proletariat» — pierwsza socjalno-rewolucyjna partia w Polsce. Materiały i dokumenty. М., 1934.
- <sup>10</sup> Kon F. «Proletariat» — międzynarodowa socjalno-rewolucyjna partia. М., 1926; Он же. Суд над партией «Пролетариат», М., 1926; 2-е изд. М., 1931; Он же. Пролетариатцы: Людвик Варынский.— Пролетарская революция. № 11; Он же. Союз «Пролетариата» с «Народной волей». — Каторга и ссылка, 1926, № 3.
- <sup>11</sup> Люксембург Р. Памяти «Пролетариата»/Пер. с польск. Харьков, 1926.
- <sup>12</sup> Арский А. Из истории социально-революционной партии «Пролетариат». — Красная летопись, 1923, № 8, с. 44—76; Валецкий Г. Сорокалетие польской партии «Пролетариат». — Коммунистический Интернационал, 1926, № 3, с. 177—181.
- <sup>13</sup> Budkiewiczowa B. Ruch robotniczy w Królestwie Polskim w latach 1870—1890. Mińsk, 1934, cz. 1.
- <sup>14</sup> Materiały do dziejów ruchu socjalistycznego w Polsce. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. М., 1927, т. 1, cz. 1.
- <sup>15</sup> Szmidt B. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty. М., 1934, т. 1.
- <sup>16</sup> Szmidt B. Z okresu powstania SDKPiL.— Z pola walki, 1934, N 16.
- <sup>17</sup> Z pola walki, 1929, N 7—8.
- <sup>18</sup> Warski A. SDKPiL wobec II-go Zjazdu SDKPiL: 20-letni spór z Leninem.— Z pola walki, 1929, N 5—6. То же на русском яз.— Коммунистический Интернационал, 1929, № 14, 16—17; Ганецкий Я. Делегация СДКПиЛ на II съезде РСДРП.— Пролетарская революция, 1933, № 2; Кржижановский С. Польская социал-демократия и II съезд РСДРП.— Пролетарская революция, 1933, № 2 (эту же статью на польском яз. см.: Z pola walki, 1934, N 16); Leder Z. Lenin i niepodległość Polski. Nie spór z Leninem, a spór z Warskim.— Z pola walki, 1930, N 9—10 (см. также: Пролетарская революция, 1927, № 2—3).
- <sup>19</sup> Кржижановский С. Польская социал-демократия..., с. 135.
- <sup>20</sup> Красный Ю. Состояние организации социал-демократии Польши и Литвы в 1905—1907 гг.— Пролетарская революция, 1926, № 5, с. 111.
- <sup>21</sup> Materiały do dziejów ruchu socjalistycznego w Polsce: Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. М., 1927, т. 2, cz. 2.
- <sup>22</sup> Łódzkie powstanie zbrojne w czerwcu, 1905. М., 1925; есть также издание на рус. яз.
- <sup>23</sup> 1905 rok w Polsce. Zbiór artykułów. М., 1926; есть также изд. на рус. яз.
- <sup>24</sup> Кон Ф. Тысяча девятьсот пятый год. М., 1930; Он же. Военные суды в Царстве Польском (в период революции 1905 г. и последующих лет реакции). — Каторга и ссылка. М., 1925, № 6—7.
- <sup>25</sup> Leder Z. 1905 год в бывшей царской Польше. Л., 1926.
- <sup>26</sup> Пролетарская революция, 1922, № 11.
- <sup>27</sup> Krajewski A. SDKPiL w rewolucji 1905—1907. r.; Łowicki N. Rewolucja 1905—1907 a SDKPiL.— Z pola walki, 1931, N 11—12; Piestkowski S. Metody organizacyjne SDKPiL w roku 1904—1905.— Z pola walki, 1929, N 5—6; Он же. SDKPiL i kwestia związków zawodowych 1905—1907.— Z pola walki, 1929, N 7—8.
- <sup>28</sup> Z pola walki, 1931, N 11—12.
- <sup>29</sup> Пролетарская революция, 1922, № 11.
- <sup>30</sup> Красная летопись, 1925, № 4.

- <sup>31</sup> Пролетариат в революции 1905 г. М.; Л., 1930.
- <sup>32</sup> *Przybyszewski E.* Pisma. Warszawa, 1961, s. 39—40.
- <sup>33</sup> Пролетарская революция, 1922, № 11.
- <sup>34</sup> Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy: Materiały i dokumenty. М., 1936, t. 2, 1914—1918.
- <sup>35</sup> *Каменский Г.* Из истории борьбы польского пролетариата, 1914—1918. М.; Л., 1926.
- <sup>36</sup> *Krajewski A.* W dziesiątą rocznicę I zjazdu Komunistycznej Partii Polski.— Z pola walki, 1929, № 7—8; *Он же.* К характеристике идеологии социал-демократии Польши и Литвы.— Пролетарская революция, 1931, № 6; *Turkowski W.* SDKPiL jako partia rewolucyjnego proletariatu Kongresówki.— Z pola walki, 1936, N 16.
- <sup>37</sup> *Malecki A.* W 10-letnią rocznicę 1919—1929.— Z pola walki, 1929, № 7—8; Там же, 1930, № 9—10; 1931, № 11—12; Пролетарская революция, 1931, № 3.
- <sup>38</sup> Октябрьская революция и рабочий класс Польши.— История пролетариата СССР, 1933, № 3. В конце текста подп. Ч. Ясинский.
- <sup>39</sup> Красный Интернационал профсоюзов, 1927, № 10. В конце текста псевд. М. Войткевич.
- <sup>40</sup> Dziesięć lat. 1917—1927 Udział Polaków w Rewolucji Październikowej w Leningradzie. М., 1927.
- <sup>41</sup> *Kon F.* Rewolucja Październikowa a ludność polska w ZSRR. М., 1927.
- <sup>42</sup> *Heltman S.* Robotnik polski w Rewolucji Październikowej na Białorusi. Mińsk, 1927.
- <sup>43</sup> Пролетарская революция, 1927, № 10.
- <sup>44</sup> Polacy Związku Radzieckiego: Ich pochodzenie, udział w Rewolucji Październikowej i w budownictwie socialistycznym. Szkic historyczno-opisowy. М., 1929. Перед заглавием подп. *Tęgorowski W.*
- <sup>45</sup> Rady Delegatów Robotniczych w Polsce w 1918—1919. Materiały i dokumenty. М., 1934.
- <sup>46</sup> Советы рабочих депутатов в Польше в 1918—1919 гг.— История пролетариата СССР, 1933, № 3.
- <sup>47</sup> Там же.
- <sup>48</sup> *A. P.* Борьба польского пролетариата.— Красный Интернационал профсоюзов. М., 1922, № 11; *Dąbał T.* Powstanie Krakowskie: Polska w październiku i listopadzie r. 1923 w świetle faktów i dokumentów. Ze słowen wstępny *J. Leszczyńskiego.* М., 1925; *Ксавер Б.* Уроки вооруженного восстания в 1923 году.— Коммунистический Интернационал, 1934, № 7—8; *Романский А.* Экономическая анархия и положение рабочего класса в Польше.— Красный Интернационал профсоюзов, 1923, № 3; *Франковская А.* Краковское вооруженное восстание. (К 10-летию 6 ноября 1923 — 6 ноября 1933 г.).— Борьба классов, 1933, № 12; *Юзефович И.* Стачечная волна в Польше.— Международное рабочее движение. М., 1921, № 4.
- <sup>49</sup> Всеобщая забастовка текстильщиков.— Красный Интернационал профсоюзов, 1927, № 4; *Бельская С.* Положение пролетариата Польши при правительстве Пилсудского.— Красный Интернационал профсоюзов, 1928, № 11; *Она же.* Рабочее движение в Польше в 1926 г.— Международное рабочее движение, 1927, № 1; *Федер Т.* Польша в 1925 г.— Международное рабочее движение, 1925, № 40—41.
- <sup>50</sup> *Бранд Э.* Значение лодзинских событий.— Коммунистический Интернационал, 1928, № 43; *Братковский Ю.* На новом этапе борьбы.— Коммунистический Интернационал, 1929, № 8; *Вольский А.* Лодзинская стачка. М., 1928.
- <sup>51</sup> *Пурман.* Первоавгустовская борьба в Польше и ее уроки.— Коммунистический Интернационал, 1929, № 34—35.

- <sup>52</sup> Красный Интернационал профсоюзов, 1930, № 3.
- <sup>53</sup> *Арский Р.* Положение рабочего класса в Польше.— Проблемы марксизма. М., 1932, № 3; *Братковский Ю.* Подъем революционных боев в Польше.— Революция и национальности, 1931, № 10—11; *Он же.* Революционный подъем в Польше.— Большевик, 1931, № 16; *Он же.* Борьба против национального гнета в Польше.— Революция и национальности, 1932, № 5; *Вольский К.* Как живет и борется польский рабочий. М., 1932; *Генриховский Г.* Стачечные бои польского пролетариата.— Коммунистический Интернационал, 1934, № 14; *Данишевский Т.* Жизнь и борьба польского пролетариата. М.; Л., 1930; *Жарский Т.* Стачечное движение в Польше в годы кризиса.— Мировое хозяйство и мировая политика. М., 1933, № 9; *Ленский Ю.* За революционное разрешение кризиса в Польше!— Коммунистический Интернационал, 1930, № 26; *Он же.* На пути к общеполитическому кризису в Польше.— Коммунистический Интернационал, 1930, № 13—14; *Он же.* Новая стадия революционного подъема в Польше.— Коммунистический Интернационал, 1931, № 23; *Он же.* Четвертый год кризиса в Польше.— Коммунистический Интернационал, 1932, № 4; *Он же.* Основное звено революционного подъема.— Коммунистический Интернационал, № 24; *Маркс С.* Революционный подъем в Польше.— Большевик, 1931, № 15; то же в кн.: Мировой экономический кризис и конец стабилизации капитализма. М., 1933; *Михальчук Я.* Как живут трудящиеся Польши под властью фашизма.— Аграрные проблемы, 1935, № 5—6; *Скульский С.* Некоторые данные о развитии стачечного движения в Польше.— Коммунистический Интернационал, 1932, № 14; *Он же.* Положение рабочего класса, стачечное движение и борьба безработных в Польше.— Красный Интернационал профсоюзов, 1932, № 14.
- <sup>54</sup> Является переводом книги: *Bratkowski J.* Polska faszystowska na drodze ku kryzysowi rewolucyjnemu. М., 1932. Книга переведена также на немецкий яз.
- <sup>55</sup> *Proletariat Polski w ogniu strajkowych.* М., 1936. Перед заглавием: *Nulkowski T.*
- <sup>56</sup> *Градовский Ф.* Краковские события.— Коммунистический Интернационал, 1936, № 7; *Юхневич Ю.* Краковские события — предвестник нового этапа классовой борьбы в Польше.— Красный Интернационал профсоюзов, 1936, № 7.
- <sup>57</sup> *Komunistyczna Partia Polski. Zjazd V.* М., 1931, cz. 1—2; *W walce z nacjonalizmem. Zbiór artykułów i dokumentów.* М.; Л., 1934. Узловые вопросы революционного движения Польши на XII пленуме Исполкома Коминтерна/Под ред. и с пред. Ю. Братковского. М., 1933; *Альберт.* Об организационных вопросах компартии Польши.— Коммунистический Интернационал, 1932, № 32; *Аронский Г.* К вопросу о руководстве стачечными боями.— Коммунистический Интернационал, 1933, № 23; *Бевер О.* Уроки и задачи партстроительства КПП.— Коммунистический Интернационал, 1932, № 7; *Бронковский Б.* VI съезд КПП о борьбе с оккупацией и национальным гнетом.— Коммунистический Интернационал, 1933, № 1; *Данишевский Т.* Печать Компартии Польши в борьбе за революционный выход из кризиса.— Коммунистический Интернационал, № 34—35; *Ленский Ю.* Компартия Польши перед крупными боями.— Коммунистический Интернационал, 1929, № 6; *Он же.* На подступах к революционному кризису.— Коммунистический Интернационал, 1934, № 1—2; *Он же.* Обострение классовых боев в Польше и тактика КПП.— Коммунистический Интернационал, 1933, № 19—20; *Он же.* Положение в Польше и задачи польской Компартии.— Коммунистический Интерна-

- ционал, 1931, № 13—14; Материалы о майских ошибках партии. Б. М. 1936. 55 с.; *Мицкевич-Кансукас В.* Положение в Компартии Польши.— *Большевик*, 1929, № 12; *Рейхер Г.* Рост империалистического шовинизма в Польше и наши задачи.— *Коммунистический Интернационал*, 1933, № 16, подп.: Г. Рваль; Р-ский Н. Раскол в ППС и наши задачи в Польше.— *Красный Интернационал профсоюзов*, 1929, № 1; Фашистский переворот в Польше и Коммунистическая партия Польши.— *Коммунистический Интернационал*, 1926, № 8.
- <sup>58</sup> *Bobiński S.* Sprawa rolna podczas rewolucji 1918—1920. М., 1920; *Dąbal T.* Rozwój rewolucji w Polsce. М., 1921.
- <sup>59</sup> *Арский А. Ф.* Крестьянский вопрос в Польше. М., 1923.
- <sup>60</sup> *Janowski R.* Kwestia włościańska w Polsce. М., 1929.
- <sup>61</sup> *Włodawski S.* Życie i walka robotników rolnych w Polsce faszystowskiej. М., 1936; *Он же.* Положение сельскохозяйственных рабочих в Польше.— *Коммунистический Интернационал*, 1931, № 15; *Он же.* Польша.— В кн.: Аграрный вопрос и современное крестьянское движение. М., 1935, вып. 2.
- <sup>62</sup> *Зоркий А.* Аграрный кризис и деградация сельского хозяйства в Польше.— *Мировое хозяйство и мировая политика*, 1932, № 7—8; *Он же.* Политические последствия аграрного кризиса в Польше.— *Мировое хозяйство и мировая политика*, 1933, № 1.
- <sup>63</sup> *Михальчук Я.* Состояние сельского хозяйства и крестьянское движение в Польше в 1934 г.— *Аграрные проблемы*, 1935, № 1.
- <sup>64</sup> *Соколовский А.* Аграрный кризис в Польше.— В кн.: Аграрный кризис. М., 1932, кн. 3; *Он же.* Крестьянское движение в Польше.— *Аграрные проблемы*, 1932, № 10—11; *Он же.* Революционная борьба крестьян в Польше: К XV годовщине Октября.— *Аграрные проблемы*, 1932, № 10—11.
- <sup>65</sup> *Тарашкевич Б.* Крестьянское восстание в Галиции.— *Аграрные проблемы*, 1934, № 1—2; *Он же.* Польская деревня.— *Аграрные проблемы*, 1934, № 7—8.
- <sup>66</sup> *Chłopi Polski faszystowskiej o swoim życiu.* М., 1936.
- <sup>67</sup> *Коммунистический Интернационал*, 1929, № 25.
- <sup>68</sup> *O antyfaszystowski front ludowy: Przemówienia delegatów Komunistycznej Partii Polski.* М.; Л., 1935, (есть пер. на рус. яз.). См. также: *Ленский Ю.* Актуальные вопросы народного фронта в Польше.— *Коммунистический Интернационал*, 1936, № 14; *Он же.* Германия и Польша — узловые позиции революционного фронта.— *Коммунистический Интернационал*, 1932, № 23—24; то же.— В кн.: Мировой экономический кризис и конец стабилизации капитализма. М., 1933; *Он же.* Наступление фашизма и антифашистский фронт в Польше.— *Большевик*, 1935, № 15; *Он же.* Опыт борьбы за народный фронт в Польше.— *Коммунистический Интернационал*, 1937, № 1.
- <sup>69</sup> Выходили отдельными изданиями, а также публиковались в различных периодических изданиях.
- <sup>70</sup> *Бронковский Б.* Коммунистическая партия Польши. Минск, 1935. Работа является расширенным вариантом опубликованной ранее статьи «15 лет КПП» (*Коммунистический Интернационал*, 1934, № 3).
- <sup>71</sup> Политические партии в Польше, Западной Белоруссии и Западной Украине. Минск, 1935.
- <sup>72</sup> *Bitner H.* Lewica wobec rewolucji r. 1917.— *Z pola walki*, 1932, N 13.
- <sup>73</sup> *Скульский С.* Беспартийный блок сотрудничества с правительством. Минск, 1935, 2-е изд.



---

## Источниковедение

---

*Л. П. Лаптева*

**Изучение источников  
по истории богомилства в Болгарии  
в русской историографии XIX — начала XX в.**

Русская историческая литература XIX — начала XX в. насчитывает десятки работ, содержащих сведения о богомилстве в Болгарии<sup>1</sup>. Различные по объему и научному уровню, эти работы освещают проблему либо в синтетическом плане, либо останавливаются на деталях, но в целом русская дооктябрьская историография богомилства в Болгарии принадлежит к числу крупнейших. Она создала фундамент и традиции изучения богомилства, на базе которых развивались дальнейшие исследования этого значительного явления истории не только Болгарии, но и всей средневековой Европы.

Интерес русской исторической науки к богомилству объясняется рядом обстоятельств. Одним из важных факторов было наличие источников о богомилстве в памятниках русской письменности. Если за пределами России источники о богомилстве почти полностью утрачены, то в древнерусской рукописной книжности они дошли до нас либо целиком, либо в извлечениях, переделках и т. п. Наличие источниковой базы дало русским ученым первый толчок для исследования богомилства. В дальнейшем возникла необходимость эту базу расширить, что и явилось стимулом для поисков рукописей в других странах. На этом поприще русские ученые добились также немалых успехов. К концу исследуемого периода русской историографии все основные источники о богомилах были не только известны русским ученым, но в большинстве случаев ими же опубликованы и введены в научный оборот. Настоящая статья ставит своей задачей дать обзорные сведения о том, как источники о богомилстве в Болгарии изучались в русской историографии. Оценка же русскими учеными источников о богомилстве с филологической точки зрения в статье не отражается.



Русская историография анализировала источники о богомилстве от самых ранних до позднейших. В нашем изложении последовательность представления русских работ зависит прежде всего от времени возникновения трактующих ими источников: работы, исследующие более древние источники, представляются ранее работ, анализирующих источники более поздние. Если же одному источнику посвящен ряд исследований, то последние представляются в порядке хронологии их выхода в свет.

I. Самым ранним источником о богомилстве русская историческая литература считает письмо патриарха Константинопольского Феофилакта царю Болгарии Петру. Этот документ был изучен в России лишь в 1913 г., когда казанский славист Н. М. Петровский<sup>2</sup> (1875—1921), получив фотоснимки «Послания» из миланской Амвросиевской библиотеки, опубликовал его текст на греческом языке и параллельно в русском переводе<sup>3</sup>. Во введении к изданию Петровский определяет время возникновения документа (между 933 и 956 гг.<sup>4</sup>) и идентифицирует автора текста. Дело в том, что в одной из рецензий промелькнуло предположение, будто бы автором «Послания» был Феофилакт — епископ Охридский, что Петровским опровергается. Убедительно аргументируется авторство Феофилакта — патриарха. Петровский относил новый для русской историографии источник к более древним свидетельствам существования у болгар манихейско-павликианской ереси, чем обличительное сочинение Козмы Пресвитера. По мнению ученого, «текст анафематствования адептов появившейся в Болгарии ереси, приводимый в послании Феофилакта...— первая по времени характеристика болгарского видоизменения манихейства»<sup>5</sup>. Петровский высказал также предположение, что публикуемое им письмо могло быть одним из источников, из которых заимствовал материал или идеи Козма Пресвитер, однако это не доказано<sup>6</sup>. Казанский славист сделал еще попытку оценить значение содержания изданного им «Послания» для истории Болгарии в целом. По мнению ученого, документ доказывает появление (а может быть, и крупные успехи) в Болгарии X в. учения, противоречащего догматам христианской церкви<sup>7</sup>.

II. Одним из главных источников о богомилстве в Болгарии является «Беседа на новоявившуюся ересь Богомилу» болгарского писателя X в. Козмы Пресвитера. Она была широко распространена в древнерусской церковной литературе и сохранилась только в ней, причем самый

ранний список относится к XV в. В новое время первое упоминание о Козме и его сочинении появилось только в 1834 г., когда П. М. Строев (1796—1876), известный археограф и специалист в области славяно-русской библиографии, привел сведения об одной из рукописей «Беседы»<sup>8</sup>. В качестве источника для очерка истории богомилства «Беседа» была впервые использована в книге Н. Руднева о ересьях и расколах (1838)<sup>9</sup>. Автор заимствовал из «Беседы» некоторые факты, а в примечаниях опубликовал отрывок из сочинения Козмы (по рукописи Московской духовной академии), свидетельствующий о вероучении богомилов<sup>10</sup>. Рукописи «Беседы» были известны позднее и другим ученым, в том числе русским В. И. Григоровичу, А. Ф. Гильфердингу. Последний в 1855 г. сообщил об одной из таких рукописей известному чешскому слависту П. Й. Шафарику<sup>11</sup>, а в 1856 г.— хорватскому историку И. Кукулевичу-Сакцинскому, который и опубликовал присланный Гильфердингом текст в 1857 г.<sup>12</sup>

В России первое полное издание «Беседы» было осуществлено в 1864 г. журналом «Православный собеседник», органом Казанской духовной академии, без указания имен издателей<sup>13</sup>. Здесь во вводной статье критикуется публикация Кукулевича. Указано, что в «Архиве» помещено не все «Слово», а лишь несколько более половины, что издание осуществлено «по рукописи неисправной, в которой язык писателя поновлен, встречается много ошибок и перемешаны листы», что имеется много ошибок, «допущенных переписчиком, не знавшим славянских букв», и т. д., так что в целом хорватское издание «невозможно для употребления»<sup>14</sup>. Казанская публикация осуществлена по списку XV в., хранившемуся в библиотеке Соловецкого монастыря и переданному в 1855 г. Казанской духовной академии. Заглавие рукописи — «Недостойного Козмы Пресвитера Беседа на новоявившуюся ересь Богомилу». Текст хорошо сохранился, а издатели приспособили его к чтению широкими кругами публики. Значение издания 1864 г. для исследования богомилства русскими учеными сомнению не подлежит: подавляющее большинство работ, касающихся историй богомилов вплоть до конца исследуемого периода русской историографии, основывалось на этой публикации<sup>15</sup>.

В 1865 г. появилась статья о богомилах Е. Соловьева<sup>16</sup>. Для характеристики их учения автор воспользовался «Беседой» Козмы, текст которой, касающийся богомилов, процитирован почти полностью<sup>17</sup>. Соловьев исполь-

зовал рукопись XVI в., находившуюся тогда в библиотеке Вятского архиепископа<sup>18</sup>. О Козме и его сочинении автор привел только самые общие сведения, характеризовал структуру произведения. В целом «Беседа» была для Соловьева «пособием» в деле обличения еретиков.

Первым русским автором, оценившим «Беседу» как исторический источник, был известный славист А. Ф. Гильфердинг. Будучи знаком с рукописями памятника, он попытался в своей работе «История сербов и болгар» решить ряд связанных с «Беседой» вопросов. По мнению Гильфердинга, «Козма действовал... в последней четверти XV, т. е. в начале царствования Самуила». Историк попытался разобраться в структуре произведения и разделил его на ряд отдельных сочинений под общим названием. «Первая беседа,— писал ученый,— не имеет особого заглавия; затем следуют беседы: 2) о комкании (т. е. причастии); 3) о литургиях; 4) о пророках; 5) о ненавидении еретическом; 6) о исповедании еретическом; 7) о мятущихся черньцах; 8) о хотящих отйти в черные ризы; 9) о затворниках; 10) о добрых черньцах 11) о вере; 12) о богатых; 13) о епископах о попех. Только беседы 7, 8, 9, 10, 12 и 13 не имеют прямого отношения к богомилству»<sup>19</sup>.

Мнение, что Козма написал не одну, а несколько «бесед» против богомилов, продержалось в русской литературе до начала XX в. Гильфердинг обратил внимание на то, что «беседы» дают понятие не только о религиозном учении богомилов, но отчасти указывают и на ту политическую роль, которую играли тогда приверженцы богомильского учения. Высоко оценив данные Козмы как «современника и туземца», ученый обращает, однако, внимание и на односторонность источника, на то, что Козма «писал в увлечении борьбы с богомилами» и не мог оставаться «вполне беспристрастным». Все же в целом показания Козмы представляются историку достаточно достоверными: их подтверждают «греческие, славянские и западные» источники. Далее Гильфердинг полагает, что не в интересах Козмы было бы исказить критикуемые догматы, ибо превратное описание их помешало бы книге достигнуть желаемой цели, т. е. «обращения еретиков». Учение и деятельность богомилов излагаются Гильфердингом на основе публикации «Беседы» в «Православном собеседнике»; текст используется почти в полном объеме. Однако в отличие от предшествующих русских авторов Гильфердинг проверяет показания Козмы другими источниками, уточняет и развивает данные «Беседы»<sup>20</sup>.

В 1869 г. в Казани вышла книга университетского профессора-медиевиста Н. А. Осокина (1843—1895) «История альбигойцев и их времени». Выдвинув тезис о тождестве религиозных учений альбигойцев и богомилов, автор характеризует догматику последних на основании сочинения Козмы. Он, как и Гильфердинг, считает, что Козма жил в период правления царя Самуила. Произведение «Козмы» Осокин именуется «Словом», отмечая, что оно дошло до нас «в русской редакции, может быть, еще XI в.». По мнению казанского историка (он пользовался текстом «Православного собеседника»), памятник распадается «на две существенные части», а именно: «1) Слово святого Козмы Превзитера на еретики препрение и поучение от божественных книг, и 2) О церковном чину слово». Осокин полагает, что Козма «помнил самого Богомила» и, следовательно, считает реальным существование лица, основавшего секту и создавшего ее учение. Изложив это учение на основании Козмы, Осокин обращает внимание на социальную и политическую сторону проповеди богомилов. «Учение еретиков,— пишет он,— было слишком радикально», так что их обличитель Козма «должен защищать перед ними необходимость государственной власти»<sup>21</sup>.

Одной из важнейших в русской историографии работ по истории богомильства является труд Г. Киприановича «Жизнь и учение богомилов по Паноплии Евфимия Зигабена и другим источникам» (1875)<sup>22</sup>. Освещая учение богомилов на основании «Паноплии», автор исследования ставит, однако, рядом с ней и обличение Козмы, пользуясь текстом «Православного собеседника». Подобно Гильфердингу, Киприанович видит в структуре сочинения Козмы 13 бесед, подобно Осокину, считает попа Богомила историческим лицом. Но при этом Киприанович показывает, что у Козмы есть прямые свидетельства поддержки богомильской ереси массой простого народа, что причину распространения ереси Козма усматривает в «нестроениях» церкви: разврате, жадности, лености духовенства. В целом ученый считал, что Козма «обращает внимание больше на внешнюю сторону ереси, на практические последствия основных положений ее и весьма мало касается догматических начал»<sup>23</sup>.

Известный славист болгарского происхождения М. С. Дринов (1838—1906) обращает внимание на социальную сторону учения богомилов, как она выглядит в изложении Козмы. В частности, цитируется по изданию



«Православного собеседника» высказывание Козмы о том, что богомилы запрещали повиноваться властям и работать на господина, называли духовенство и все церковные саны вообще «слепыми фарисеями» и «сильно лаяли на них» за их леность, корыстолюбие и невоздержанную жизнь. В связи с этим ученый приходит к выводу: «Свидетельства Козмы, не оставляющие никакого сомнения, что у богомилов были и свои политические и общественные идеалы, представляли их весьма опасными для существующего порядка вещей еретиками; кроме того, свидетельства эти прямо указывают на социальные нововведения и на испорченность духовенства как на главные причины быстрого распространения секты». Оценка Дриновым свидетельств Козмы дала новое направление русской литературе, исследовавшей богомилство. Изменился взгляд на общественную функцию источника: если ранее его содержание служило делу борьбы с еретиками в православной церкви, то теперь он рассматривался как материал для обоснования тезиса о правомерности борьбы богомилов против церкви и господствовавших в X в. общественных порядков. Дринов не только использовал «Беседу» для освещения интересовавшего его сюжета, но и подошел к источнику критически, заметил в сочинении противоречия<sup>24</sup>.

В работе Ф. И. Успенского «Очерки по истории византийской образованности» текст «Беседы» использован в сравнительном плане. Рассматривая Синодик царя Бориса, автор заметил, что в нем зафиксирована лишь догматическая сторона богомилского учения, а внешние черты поведения богомилов и практические выводы из верования... больше объясняет Беседа Козмы Пресвитера на богомилов, которая относится к первейшим и первостепенным источникам в настоящем вопросе... Таким образом, Синодик восполняет Беседу и, в свою очередь, иллюстрируется ею»<sup>25</sup>.

В 1892 г. вышло новое издание 3-й части «Истории Афона», написанной епископом Порфирием Успенским (1804—1885). Излагая учение богомилов, автор использует «Беседу» Козмы по рукописи Московской духовной академии<sup>26</sup>. Но ни рукопись, ни содержание источника Порфирием не характеризуются и не анализируются.

Значение «Беседы» Козмы для истории древней славянской литературы оценил известный русский болгарист профессор Московского университета М. И. Соколов (1854—1906). По его суждению, «Слово» Козмы Пресви-



тера принадлежит к числу замечательнейших самостоятельных сочинений во всей старославянской литературе, свидетельствует не только о хорошем знакомстве с богомилским учением и православной догматикой, но и с лучшими приемами полемики. М. И. Соколов указывает на широкое распространение «Беседы»: «Сочинение Козмы Пресвитера приобрело большое значение: из него делались выписки отдельных мест в сборниках и заимствования как в полемических, так и в обличительных сочинениях на Руси в XV в.»<sup>27</sup>. М. И. Соколов не обращается к тексту «Беседы», но предлагает обобщенную ее характеристику, установившуюся в русской литературе конца XIX столетия.

И еще одно произведение русской историографии самого конца XIX в. упоминает сочинение Козмы. Речь идет о рецензии известного слависта-филолога П. А. Лаврова (1856—1929) на издание Синодика царя Бориса, осуществленное М. Г. Попруженко. Сравнивая статьи о богомилах, включенные в Синодик, с высказываниями Козмы, которые автор цитирует опять же по публикации «Православного собеседника», Лавров в заключение своего рассуждения по этому вопросу дает характеристику болгарского писателя: «Прекрасное знакомство Козмы Пресвитера с богомилской ересью, богатство указаний на разные стороны учения еретиков, диалектическое искусство полемики с ними, мужественное разоблачение темных сторон в жизни болгарского общества и целая масса бытовых указаний... наконец, выдающиеся литературные достоинства изложения дают „Словам“ Козмы почетное место в ряду важнейших источников богомилства»<sup>28</sup>.

К концу XIX в. русской науке было известно несколько полных списков «Беседы» и много фрагментов. В частности, А. А. Кочубинский сообщил о существовании малого пергаментного листка XII—XIII вв. с отрывком из сочинения Козмы и напечатал текст отрывка<sup>29</sup>.

Возникла необходимость дополнить и исправить столь популярный у исследователей текст «Православного собеседника». Новое издание было предпринято профессором Новороссийского университета в Одессе М. Г. Попруженко (1866—1943) в 1907 г. Ученому были известны 8 полных текстов произведения Козмы, учтены и извлечения, которыми пользовались на Руси при составлении назидательных сборников, компиляций и т. п. В предисловии к своему изданию «Беседы» Попруженко дал археографическое описание всех известных ему полных списков, а так-

же указал на рукописи, где в том или ином виде встречаются извлечения из труда Козмы. На основании своих изысканий ученый пришел к выводу, что в Древней Руси «труд этот в значительной степени ценился и знакомство с ним считалось желательным», что на Козму установился в древности «определенный взгляд как на автора такого полемического труда, которым удобно пользоваться для целей обличительных и поучительных».

Касаясь структуры произведения, Попруженко в общем повторяет своих предшественников. Он считает далее, что вся структура сочинения указывает на широкое распространение в Болгарии при царе Петре богомилства и что Козма стоял во главе борьбы против еретиков, «обнаружил большое знание сущности богомилской ереси; он ею возмущается, указывая на самые детальные стороны учения еретиков и с большим диалектическим искусством полемизируя с ним. Вместе с этим, однако, Козма не оставляет без обличения ряд темных сторон в жизни болгарского общества. Он дает наставления духовным лицам (епископам и попам), требуя от них примера для других и доказывая, что ересь происходит от небрежения и лени пастухов словесного стада. От желающих идти в иноки Козма требует чистоты духовной и телесной. Одновременно с такого рода наставлениями духовенству Козма рисует также весьма характерные картины быта болгар, упрекая их в пристрастности к различным играм и зрелищам, которые вместе с пьянством и верою „всякому учению сотонину“ не дают права называться им христианами. Причиной такого... образа жизни Козма считает „непочитание книжное“ и неуважение к церкви»<sup>30</sup>.

Эта характеристика Козмы, хотя и не лишенная односторонности, была для начала века наиболее подробной.

Попруженко в 1907 г. издал «Беседу» по рукописи XVII в., использовав при этом тексты, напечатанные в 1857 г. в Arkiv'e и в 1864 г. в «Православном собеседнике». Учтены были еще одна рукопись XV в. и упоминавшийся выше отрывок на листке XII—XIII вв. Издание 1907 г., правда, не полностью удовлетворяло требованиям науки начала XX в.<sup>31</sup> (что понимал и Попруженко, продолжавший исследование проблемы), однако это была новая, более высокая ступень в изучении источника сравнительно с публикациями XIX в.

Кроме Попруженко, продолжали интересоваться Козмой и другие ученые. Так, в 1908 г. в Харькове вышла на русском языке статья болгарского историка В. Златарско-

го «Сколько бесед написал Козма Пресвитер?». Эта работа принадлежит болгарской науке, но здесь необходимо передать ее содержание, поскольку она нашла широкое отражение в последующих русских исследованиях. Златарский пересмотрел укоренившийся в литературе взгляд на структуру сочинения Козмы. Он пришел к выводу, что Козма написал не 13 отдельных отрывков, а всего одно сочинение под названием «Недостойного Козмы Пресвитера Беседа на новоявившуюся ересь Богомилу»<sup>32</sup>.

Эта точка зрения была принята русскими учеными. В 1908 г. профессор Харьковского университета Г. А. Ильинский писал: «В. Н. Златарский весьма убедительно доказал, что все эти „беседы“ в сущности представляют одну, первоначально имевшую одно общее название»<sup>33</sup>. Дальнейшими исследованиями Попруженко выводы Златарского были подтверждены. Изучая вновь обнаруженные списки «Беседы», Попруженко заключил, что Козма писал свое сочинение, «не сделав в нем никаких делений на главы». Попруженко был главным русским исследователем «Беседы» вплоть до конца исследуемого периода. В 1911 г. в работе «Козма Пресвитер» он проследил, каким образом и с какой целью текст «Беседы» вносился в различные литературные сборники, как вплоть до XVIII в. составители этих славяно-русских сборников, обычно назидательных, пользовались текстом Козмы для утверждения определенных идей. Попруженко пришел к выводу, что Козма «должен быть признан выдающимся обличителем пороков и недостатков общественных», а «те части сочинения Козмы, которые трактуют об этих вопросах, стали распространяться... в целях наставления и руководства, совершенно не связывая высказанные в них мысли с обличением еретиков». Разобрав возможные источники Козмы, язык и стиль произведения, Попруженко заключил, что Козма «был выдающимся писателем древнеболгарской литературы»<sup>34</sup>.

В 1913 г. П. А. Лавров опубликовал старославянский текст отрывков из обличений богомилов Козмой по рукописи XIII или XIV в. как «второй образец старинной записи» произведения<sup>35</sup>.

Таким образом, к концу исследуемого периода в русской историографии был накоплен значительный материал как о сочинении Козмы, так и о нем самом. Имелось три издания полного текста. И все же прогрессирующая наука требовала новых критических публикаций. Первое критическое издание источника осуществлено лишь в 1936 г.,

но было фактически достижением русской дореволюционной науки. Предпринял его все тот же Попруженко в Болгарии, выпустив книгу под названием «Козма Пресвитер, болгарский писатель X века». Она основана на вывезенных ученым из России копиях и фотографиях различных списков сочинения Козмы. Получал Попруженко из России и дополнительные материалы. В общем подготовленные исследователем предпосылки для публикации были составлены в России, а методика изучения и издания памятника разработана русской наукой. Результатом был фундаментальный труд. Из 11 известных Попруженко полных списков сочинения Козмы в публикации использованы 7. Привлечены также извлечения из «Беседы», имеющиеся в рукописях XIII—XVII в., характеризуются и все фрагменты, известные науке того времени. Попруженко считал, что произведение состоит из двух основных частей: обличительной и поучительной, и вновь доказывал невозможность внесения самим Козмой «заглавий» отдельных отрывков. В книге анализируются также обстоятельства появления богомилства в Болгарии, уровень развития литературы в Византии и Болгарии X в.<sup>36</sup> Новое издание текста было признано наилучшим, использовалось и для перевода памятника на другие языки.

В целом можно с полным правом говорить о больших достижениях русской дореволюционной историографии в изучении такого важного источника по истории богомилства, каким является «Беседа» Козмы Пресвитера. Высшее достижение в этой области принадлежит М. Г. Попруженко<sup>37</sup>.

III. Второй главный источник о богомилах в Болгарии, трактат греческого монаха XII в. Евфимия Зигабена, часто именуемый «Паноплией»<sup>38</sup>, также был известен каждому русскому исследователю богомилства. В источниковедческом плане это произведение анализировалось менее интенсивно, чем «Беседа» Козмы, что объясняется рядом причин. Во-первых, рукописей «Паноплии» сохранилось значительно меньше, чем списков «Беседы». Во-вторых, Зигабен освещает только догматическую сторону ереси богомилов, не останавливаясь на причинах ее возникновения и на практической стороне движения.

Трактат представляет собой 23-ю главу сочинения Зигабена «Догматическое всеоружие православной веры» и был известен русским исследователям в нескольких рукописях и изданиях. Уже Н. Руднев в 1838 г. знал, что «ученый цареградец Зигабен занимается преимуществен-

но изложением догматических оснований ереси» богомилов<sup>39</sup>. Но первое подробное описание произведения Зигабена мы находим в уже упомянутом сочинении Е. Соловьева «О богомилах». Автор отмечает, что книга написана Зигабеном на греческом языке, имеет заглавие «Паноплия догматика», по латинскому же изданию известна как «Panoplia dogmatica orthodoxae fidei adversus omnes Haereses». Иностранцы пользовались греческим и латинским изданиями, «но у нас сохранилась на старославянском языке рукопись под заглавием «Книга догматики Паноплие вторая». Это отрывок из греческого сочинения, переведенный на славянский язык. Время и автор перевода неизвестны. Утвердительно можно сказать только, что она принадлежит к отделу южнославянских рукописей и никак не позднее XV в. Далее отмечается, что в подлиннике сочинение Зигабена состоит из двух книг, но в славянской рукописи представлен только трактат о богомилах, т. е. 23-я глава второй книги. Трактат состоит из 48 пунктов. В первых двадцати шести обличаются «догматические, обрядовые и нравственные заблуждения богомилов», в последних двадцати двух — «нелепое толкование богомилами евангельской истории». Далее Соловьев приводит тексты 30 пунктов богомильского учения и опровержения их Зигабеном. Судя по употреблению Соловьевым таких выражений, как «заблуждение», «лжеучение», «нелепые толкования», при характеристике богомилов этот русский автор относился к «Паноплии» не только как к историческому памятнику, но и как к средству решения актуальных задач русской православной церкви середины XIX в. Соловьев цитирует некоторые толкования богомилов специально для того, чтобы показать их «нелепость» и «суемудрие»<sup>40</sup>.

Краткую историю возникновения богомильства в Болгарии, а также догматическое и нравственное учение этой «секты» излагает на основании сочинения Зигабена харьковский профессор К. Истомина<sup>41</sup>. Источник подробно пересказывается, и автор выражает к нему полное доверие, одобряя позицию Зигабена в отношении богомилов, повторяя его негативные характеристики и обвинения в адрес «еретиков». Анализа источника в сочинении Истомина нет. Работа была опубликована в журнале «Духовный дневник», издававшемся при Харьковской духовной семинарии, и имела то же назначение, что и сочинение Соловьева.

Е. Е. Голубинский называет среди использованных им источников «Евфимия Зигабена Паноплии часть 2, титул



XXIII», предполагая, что Зигабен «пользовался собственно вероучительной книгой богомилов, но она не сохранилась до нашего времени»<sup>42</sup>. Это предположение не подтвердилось, дальнейшие исследования выявили иное происхождение Паноплии. Отношение ученого историка церкви Голубинского к сведениям Зигабена отличается в целом той же некритичностью, которая характерна и для «популяризаторов» Соловьева и Истомина. Лишь в некоторых случаях Голубинский указывает на наличие в литературе XIX в. иных, чем у Зигабена, мнений относительно образа жизни богомилов. Кроме того, Голубинский пишет о богомилах в достаточно спокойных тонах, без брани, которой полны сочинения как ряда предшественников Голубинского, так и самого Зигабена.

В 1873 г. в «Православном обозрении» был напечатан русский перевод трактата Зигабена о богомилах<sup>43</sup>. Он выполнен с греческого оригинала С. Н. Палаузовым (1818—1872) и опубликован с его же предисловием, извлеченным, как и перевод, из литературного наследия ученого. В этом предисловии имеется введение с данными о жизни Зигабена, греческого монаха XII в., отразившего в своем сочинении положения богомильского учения. Палаузов пишет: «Учение богумилов, записанное скрытым борзописцем со слов Василия, сохранил Зигабен. Оно послужило ему материалом для составления истории учения богумилов»<sup>44</sup>. Это новая версия происхождения трактата Зигабена.

Появившийся в том же «Православном обозрении» в 1875 г. труд Г. Киприановича уже упоминался нами выше в связи с разбором сведений о «Беседе» Козмы. Однако, как показывает уже само заглавие — «Жизнь и учение богомилов по Паноплии Евфимия Зигабена и другим источникам»<sup>45</sup>, автор обратил главное внимание на трактат греческого монаха. В статье предложен подробный источниковедческий анализ источника на основании латинского издания 1842 г. Киприанович считает, что Евфимий был редактором большого труда о различных ересьях, составленного по поручению византийского императора Алексея Комнина, который сам и дал название труду Зигабена — «Догматика Паноплиа». Все произведение в целом Киприанович объявляет «малооригинальной компиляцией», но 23-ю главу, написанную в целях обличения богомилов, оценивает как наиболее самостоятельную, считая известия Зигабена о богомилах в общем достоверными, хотя все же не лишенными искажений. С точки зрения Киприановича, осведомленность Зигабена была достаточ-

но широка: Евфимий сам беседовал с богомилами, имел записи, сделанные скорописцем со слов Василия, а также «письменные источники, принадлежавшие сектантам», но «не вполне совладал с бывшим в его руках богатым материалом». Затем в работе излагается структура трактата, состоящего из двух частей (52 пунктов), отмечается, что он носит на себе следы поспешности автора, который не придерживался строго систематического порядка при изложении богомильского вероучения. Русский ученый поставил перед собой задачу изобразить богомильство так, как оно описано в «Паноплии». Путем сравнения с данными других писателей он стремился выяснить, насколько полно и верно переданы Зигабеном история и учение богомилов. К некоторым положениям трактата русский ученый отнесся весьма критично, отметив, что «Евфимий изложил учение богомилов о Троице противоречиво и представил такие вещи, которые совершенно противоречат здравому смыслу». Далее исследователь указывает на недостаточную обстоятельность изложения Зигабеном ряда пунктов богомильского учения (например, о принятии в секту, о крещении) и на основании других источников изобличает Зигабена в необъективности. Не согласен Киприанович и с мнением Зигабена о происхождении богомилов: «Евфимий считает, что богомилы произошли от мессалиан, прибавив к учению последних нечто свое. Но... и мессалиан и богомилов можно скорее назвать отраслями ереси павликианской». Сведения Зигабена о крайней безнравственности богомилов Киприанович считает значительно преувеличенными, ибо «богомилы на деле умели доказать, что нравственность их была выше учения, привлекая к себе многочисленных последователей, соблазнявшихся именно строго нравственным образом жизни. Страстное отношение к ним Евфимия Зигабена и других писателей объясняется громадной опасностью, какую грозила эта ересь церкви». В целом предпринятый Киприановичем анализ текста трактата Зигабена следует признать наиболее критичным и в то же время наиболее объективным во всей русской литературе рассматриваемого периода.

Труд Киприановича высоко оценен его современниками, специалистами по истории Болгарии и Византии. В 1892 г. его статья была полностью перепечатана в приложении к «Истории Афона» (ч. 3) Порфирия Успенского<sup>46</sup>. После Киприановича уже никто из русских ученых столь основательно не анализировал сочинение Зигабена, хотя оно и позднее использовалось в работах о богомилах.

Хотя русские ученые пользовались главным образом латинской публикацией трактата Зигабена, им были известны и рукописи текста. Еще в середине 40-х годов XIX в. списки «Паноплии» обнаружил известный славист В. И. Григорович. На Афоне он в 1844 г. нашел рукопись этого произведения, заключающую «статью о богомилах, учение которых было распространено в Болгарии в XI стол.». Хотя рукопись по словам Григоровича, была уже «напечатана в Валахии», русский ученый счел необходимым «иметь отдельную копию... для себя»<sup>47</sup>. Продолжая путешествие, он в 1845 г. обнаружил еще один список Паноплии. «Сочинение это,— писал он,— заключающее в себе опровержение разных ересей, и в том числе учения богомилов, находится в монастыре Быстрице». Далее из цитируемого отчета 1845 г. узнаем, что в «афонском монастыре Хиландаре» Григорович в 1844 г. обнаружил первую часть Паноплии, а в 1845 г. в Быстрице — вторую<sup>48</sup>.

М. Г. Попруженко в конце XIX в. были известны три списка Паноплии, он отозвался об этом источнике так: «Что же касается... Паноплий Зигавина, то они не различают в учении богомилов хорошего от дурного. Зигавин был пристрастным в деле обличения богомилов». В приложениях к своему труду о Синодике царя Бориса Попруженко опубликовал перевод 23-й главы «Паноплии» по рукописи XV в., хранившейся в Новороссийском университете. Она представляет собой сербский перевод с болгарского списка. Одесский ученый отметил особенности сербского перевода, пояснил некоторые слова<sup>49</sup>.

IV. Наряду с основными источниками о богомилах в Болгарии — сочинениями Козмы и Зигабена — в России изучались и другие, например описание расправы с богомилами в Константинополе, устроенной императором Алексеем Комнином (1081—1118). Об этом событии упоминают Е. Соловьев<sup>50</sup> и К. Истомирин<sup>51</sup>, оно известно благодаря сочинению Анны Комнин, носящему название «Алексиада». Здесь говорится, в частности, о том, как Алексей Комнин обнаружил «ереснарха» богомилов Василия, выведал у него подробности богомильского учения (они были при этом зафиксированы спрятым борзописцем) и приказал сжечь Василия на костре. Длинная выдержка из «Алексиады» приводится в работе В. Левицкого<sup>52</sup>. О том, как Алексей Комнин заманил к себе во дворец Василия, расспросил об учении богомилов, выведал имена его двенадцати апостолов и со всеми распра-

вился, рассказано и в сочинении С. Н. Палаузова, послужившем предисловием к русскому изданию «Паноплии»<sup>53</sup>, затем в работах Киприановича<sup>54</sup>, А. Лебедева<sup>55</sup> и других сочинениях вплоть до популярных<sup>56</sup>. Однако глубокому анализу «Алексиада» в работах русских ученых не подвергалась. Отметим, что, несмотря на наличие русского перевода «Алексиады»<sup>57</sup>, ученые России пользовались в основном изданиями текста на латинском и греческом языках.

V. Большим вниманием русских ученых пользовался «Синодик царя Бориса», возникший в Болгарии в XIII в., но найденный в XIX в. только в двух более поздних списках. Обе рукописи находились в распоряжении ученых, работавших в России, что, видимо, и определило интерес русской науки к этому многоплановому источнику, содержащему и важные сведения о богомилах.

Впервые в русской печати сведения о «Синодике» появляются в 1848 г. в отчете В. И. Григоровича о его путешествии по Европейской Турции. «В Габрове,— писал ученый,— я видел рукопись, которая принадлежит теперь г. Николаю Палаузову, одесскому жителю, с которым я встретился в его родном селе. Она называется „Синодик“, о котором сказано, что он переписан от греческого на болгарский язык по повелению царя Бориса. В отделении анафем упомянуты болгарские еретики: Константин Болгарин, Богомил и ученики его — Федор, Добри, Стефан, Василий и Петр»<sup>58</sup>. В 1855 г. эту рукопись опубликовал С. Н. Палаузов, присовокупив к тексту краткую историю возникновения памятника, относящегося к XIV в. и найденного в Тырнове. С. Палаузов отмечал, что «Синодик» царя Бориса (или Борила), правившего в Болгарии с 1207 по 1217 г. представляет собой перевод с греческого на болгарский, выполненный в связи с созывом в 1210 г. в Тырнове обличительного собора против богомилов. Первый отдел рукописи, по мнению С. Н. Палаузова, возник при Борисе и современен собору, но переписан в XIV в., а следующие статьи, упоминающие о событиях после царствования Бориса, прибавлены переписчиком. На листах рукописи 1—25 перечисляются верования и учения, проклинаемые православной церковью. Здесь рядом с учением манихеев встречаются верования мессалиан и богомилов. Отметив, что в рукописи недостает ряда страниц, издатель приводит далее текст той части «Синодика», где говорится об обличении собором богомилов<sup>59</sup>. Затем публикуются сохранившиеся части списка.

Позднее русские ученые широко использовали уже опубликованный текст в сочинениях о богомилах. Так, В. Левицкий на основании «Синоди́ка» определил географию распространения богомилства в Болгарии XIII в.<sup>60</sup>, Е. Е. Голубинский же ссылался на то место «Синоди́ка», где говорится о постановлении собора 1210 г. против богомилов<sup>61</sup>.

Вторая рукопись «Синоди́ка», относящаяся к XVI в., находилась в распоряжении М. С. Дринова, который сравнил тексты обоих списков по отдельным деталям<sup>62</sup>. Еще в одной работе Дринов характеризовал весь принадлежавший ему южнославянский рукописный сборник, содержащий наряду с другими памятниками и текст славянского «Синоди́ка». Хотя дриновский список «Синоди́ка» на два столетия моложе палаузовского, хотя в нем тоже недостает нескольких листов, он все же дает относительно более полное представление о составе всего памятника. Дринов отмечает, что «Синодик» имеет греческую основу, а болгарские составители, переводя греческий текст, внесли в него ряд добавлений, а именно: а) анафематствование Богомилу и всем ... апостолам богомилства; при этом сделаны кое-какие указания на время происхождения знаменитой ереси...; б) изложение главных пунктов богомильского вероучения с анафематствованием каждого из них в отдельности». Дринов предположил, что как в вопросе о происхождении богомилов, так и в изложении их учения составители «Синоди́ка» пользовались сочинениями Козмы и Зигабена. Материал о богомилах содержится не только в статьях, осуждающих их учение, но и в других частях памятника. Так, имеется «славословие» царю Борису за то, что он оказал услугу православной церкви, созвав «собор в Тырнове против учителей богомилства, которые в это время, как волки, расхищали христово стадо»<sup>63</sup>. Сравнивая оба списка, М. Дринов начал тем самым научно-критическое исследование памятника.

Один из крупнейших русских славистов конца XIX — начала XX в., киевский профессор Т. Д. Флоринский (1854—1919), своими разысканиями дополнил сведения о разделах «Синоди́ка», касающихся богомилов. Рукопись С. Н. Палаузова была передана в Народную библиотеку Софии, и Флоринский, находясь в 1882 г. в Болгарии, обнаружил в этом источнике молитвословия и «чины», не вошедшие в издание Палаузова. Флоринский остановился в одной из своих статей на верованиях богомилов, привел имеющийся в рукописи текст «О заблуждениях еретиков»



со «списками отлучения», а также еще один текст, непосредственно касающийся богомильского учения. Этим материалам киевский ученый по праву придавал важное значение, поскольку в них, между прочим, содержалось «сжатое изложение сущности болгарского богомильства». «Доселе,— продолжает Флоринский,— сведения об учении болгарских богомилов почерпались из произведений обличителей ереси, главнейше — из бесед Пресвитера Козмы... Теперь же перед нами церковно-законодательный акт, в котором учение прокливаемой ереси сформулировано кратко, точно, ясно. Не может быть сомнений, что этот акт проклятия составлен на соборе против богомилов, созванном в Тырнове 11 февраля 1211 г., и вставлен в тогда же переведенный с греческого чин анафематствования». Автор отмечает, что в обнаруженных материалах указаны также мотивы отрицательного отношения богомилов к тому или иному установлению, например к браку; имеются подробности, способные объяснить большой успех богомилов среди народных масс; наконец, указаны имена неизвестных ранее учителей и проповедников богомильства<sup>64</sup>. Эти данные объясняют и организационную структуру богомильства, о которой сведений также не было. Таким образом, находка Флоринского предоставила науке важные дополнительные сведения.

Неоднократно обращался к «Синодику» царя Бориса в своем научном творчестве известный русский византолог и болгарист Ф. И. Успенский (1845—1928). В работе «Образование Второго Болгарского царства» ученый использовал опубликованный в 1855 г. текст «Синодика» для объяснения факта гонений на богомилов<sup>65</sup>. Более подробно на характеристике «Синодика» Ф. И. Успенский остановился в монографии «Очерки по истории византийской образованности». Он проанализировал три редакции греческого «Синодика» XI в. и причислил к греческим образцам также «Синодик» болгарский — царя Бориса. Успенский полагал, что в болгарском «Синодике» официально зафиксировано догматическое начало богомильства, но нет данных о поведении богомилов и указаний на практические выводы из богомильского вероучения, в связи с чем для более полного представления о богомильстве нужно привлекать такой источник, как «Беседа» Козмы Пресвитера<sup>66</sup>.

В 1893 г. Ф. И. Успенский в качестве приложения к названной монографии опубликовал сводный греческий текст «Синодика в неделю православия» с переводом на

русский язык. Этот материал, также содержащий обличения против богомилов, отсутствует в русских переводных синодиках и других древнерусских памятниках, а потому опубликован по венскому и эскориальскому (Испания) спискам. Таким образом, усилиями Ф. Успенского наука получила дополнительные сведения о богомилах, а сам ученый пришел к выводу о связи между богомильством и иконоборческим движением в Византии<sup>67</sup>.

Известный историк древнерусской и болгарской литературы профессор Юрьевского университета Е. В. Петухов (1863—1948), изучая «Синодик» русской редакции, уточнил многие детали, связанные с «Синодиком» царя Бориса. Он отметил, что driновский список является по содержанию частью рукописи XIV в., т. е. той, которая принадлежала Палаузову и была передана в Софию. Рукопись Дринова, по наблюдению Петухова, написана приблизительно в середине XVI в. «последовательным сербским правописанием с примесью болгаризмов, указывающих на происхождение ее из западных областей». Сличение отрывков из рукописи Дринова «с соответствующими местами из чина православия по рукописи Московской Синодальной библиотеки приводит к заключению, что болгарский перевод сделан с той же редакции греческого „Синодика“, что и русские»<sup>68</sup>.

К концу XIX в. в русской историографии накопились значительные сведения о «Синодике» царя Бориса. Задачи науки требовали критического издания памятника. Его осуществил в 1897 г. М. Г. Попруженко; в 1899 г. вышло предпринятое тем же ученым исследование «Синодика»<sup>69</sup>. В основу труда положен Софийский список XIV в., факсимиле которого Попруженко получил от директора Русского археологического института в Константинополе Ф. И. Успенского. К изданию привлекались также текст driновского списка, текст греческого «Синодика» и ряд опубликованных фрагментов. Попруженко выяснил соотношение двух списков «Синодика», разобрал их язык, анализировал проблему распространения «Синодика» среди славян, рассмотрел русский перевод первой и второй редакций, сделал экскурс в историю Болгарии, выяснил причины и обстоятельства создания памятника, определил состав источника, его место в истории болгарской письменности, предложил краткий очерк развития еретических движений в Византии и Болгарии вообще, богомильства в частности, особо подчеркнув связь его с иконоборчеством. Главное значение «Синодика» заключается, по мнению

исследователя, в статьях, направленных против богомилов, поскольку «памятник этот происхождением своим обязан именно этой секте, т. е. вызван ее распространением и необходимостью бороться с нею». Ученый считал, что «Синодик», дающий для изучения богомильства «официальные данные», должен быть поставлен на первое место среди источников о богомилах. Сопоставив содержание «Синодика» со сведениями Козмы и Зигабена, ученый приходит к выводу, что они находятся в близкой взаимозависимости. Но если в произведениях Козмы и Евфимия много места уделено опровержению еретических мнений богомилов, то «Синодик» как источник официальный содержит указания о ереси, включая ее историю, приводит более разнообразные и отсутствующие в других источниках данные о богомилах. Подводя итог своим рассуждениям, Попруженко замечает, что «Синодик» является «источником, резюмирующим все наши сведения о богомилах». «Отцы Тырновского собора,— продолжает ученый,— стоя на страже официального порядка и благоустройства церковного, отметили в учении еретиков все, что в нем было опасно и вредно для церкви как для государственного учреждения, указав попутно и на то, что грозило, по их мнению, и государственному спокойствию. Вместе с тем они совершенно опустили этическую сторону учения богомилов, не имея оснований считать ее опасной»<sup>70</sup>.

Издание Попруженко было встречено в русской научной среде критически. П. А. Лавров написал целую книгу<sup>71</sup>, в которой отрицательно оценил рассуждение Попруженко о языке памятника, о «способе перевода» текста «Синодика» с греческого языка на болгарский, не согласился с мнением одесского ученого по поводу возникновения отдельных частей памятника, с оценкой «Синодика» как главного источника по истории богомильства. Однако ни в русской, ни в другой литературе исследуемого периода никто так и не сказал нового слова о «Синодике». Полагаем, что издание Попруженко следует квалифицировать как достижение русской славистики конца XIX в.

Русские исследователи при изучении богомильства привлекали и жития святых православной церкви, борющихся с распространением «ереси», прежде всего Иллариона Могленского (Мегленского) и Феодосия Тырновского. Так, А. Ф. Гильфердинг отмечает, что Илларион жил в XII в., что его житие составлено в XIV в. и характеризует Иллариона как «великого противоборника богомилов»<sup>72</sup>. Ф. И. Успенский использует сведения из жития

Иллариона о том, что в XII в. «ересь богомилов» приобрела большую силу, так что «царь Мануил едва не отпал от православия»<sup>73</sup>. Привлекал житие Иллариона к написанию своих трудов и Порф. Успенский, пользуясь источником по рукописи Волоколамского монастыря<sup>74</sup>. Глубоко проанализировал тот же памятник К. Ф. Радченко, отметив, что автор жития Евфимий Тырновский вложил в уста Иллариона «полемиические речи» против богомилов, целиком заимствовав их «из соответствующих титл Паноплии Зигабена с некоторыми только сокращениями» и притом оживив текст последнего «указаниями на душевное состояние противников»<sup>75</sup>. Эта характеристика жития Иллариона справедливо указывает не только на второстепенность его как исторического источника, но и на отношение специалистов по богомильству к этому материалу.

Другим памятником того же типа, использовавшимся в русской литературе о богомильстве, является житие Феодосия Тырновского. Феодосий активно боролся против ересей в Болгарии XIV в. принимал участие в обличении богомилов на соборе 1360 г. В 1860 г. текст его жития был опубликован на церковнославянском языке<sup>76</sup>. Издатель — профессор Московского университета О. М. Бодянский (1808—1877) — получил рукопись памятника от болгарина Х. С. Даскалова. Этим изданием в дальнейшем воспользовались несколько русских историков. Так, отрывок из жития привел Е. Голубинский, говоря о церковном соборе против богомилов при болгарском царе Иване Александре<sup>77</sup>. Пользовались источником также Порфирий Успенский и исследователь ересей в православной церкви Б. Мелиоранский<sup>78</sup>.

VI. Некоторые сведения по истории богомильства черпались русскими историками и из апокрифов. Как известно, в России апокрифическая литература имеет большую традицию изучения, к богомилам же относится прежде всего апокрифическая компиляция попа Иеремии. Некоторые русские исследователи отождествляли Иеремию с «попом Богомилом», считавшимся вождем первых еретиков в Болгарии. Таковы Н. А. Осокин<sup>79</sup> и А. А. Веселовский<sup>80</sup>. К этому же мнению склонялся А. Н. Пыпин, упомянувший, однако, о документе, из которого следует, что Иеремя и Богомил — два различных лица<sup>81</sup>.

Наиболее подробно на вопросе об авторе компиляции апокрифов и ее источниках остановился М. И. Соколов. Сравнив различные списки и глубоко проанализировав все относящиеся к компиляции сведения, Соколов пришел к

выводу, что она может быть произведением Иеремии, которого, однако, нельзя отождествлять с Богомилом<sup>82</sup>. В дальнейшем Соколов показал, что содержание распространявшихся Иеремией апокрифических сочинений не развивает богомильского учения, а скорее противоположно ему<sup>83</sup>. В 1904 г. точку зрения М. И. Соколова развил К. Ф. Радченко, показавший, что компиляция Иеремии написана как полемика против богомилов: Иеремия поставил себе задачей доказать на основании апокрифов законность и святость церковных государственных учреждений, на которые были направлены нападки богомилов. Радченко пришел к выводу, что Иеремия выступал против богомилов, но последним это не мешало пользоваться его компиляцией, истолковывая в свою пользу даже направленное против них сочинение<sup>84</sup>.

Г. А. Ильинский признал убедительными доводы Соколова и Радченко о том, что сочинение Иеремии антибогомильское, добавив, что автор компиляции проявил себя как воинствующий невежда, выступавший против еретиков столь грубо и наивно, что и «сам в конце концов попал в еретики»<sup>85</sup>.

В русской литературе разбирался также апокриф, известный как «Книга св. Иоанна». А. Л. Веселовский отметил, что его содержание составляют вопросы апостола Иоанна, обращенные к Спасителю, который отвечает на них в духе богомильского учения, так что источник является кратким изложением богомильской космогонии и эсхатологии, «нечто вроде еретического катихизиса»<sup>86</sup>. На значение «Книги» указали также Г. Киприанович<sup>87</sup>, С. А. Венгеров<sup>88</sup>, А. Н. Пыпин<sup>89</sup>. Вопрос об ее источниках специально изучался М. И. Соколовым, пришедшим к выводу, что «богомильский автор книги воспользовался в значительной мере такими литературными памятниками, которые известны только в славянской письменности»<sup>90</sup>. Эта мысль развита Соколовым в его обзорной работе о болгарской письменности<sup>91</sup>. К. Ф. Радченко высказал мнение, что «Книга», правда, не является систематическим изложением вероучения богомилов; она представляет собой компиляцию, в которой, однако, есть элементы «и из сочинений богомилов и, может быть, из устного изложения богомильского учения», так что это компиляция, «не умевшая согласовать разнородные мнения еретиков различных толков»<sup>92</sup>. С этим мнением согласился и Г. А. Ильинский<sup>93</sup>. В русской литературе изучались и некоторые другие апокрифы, например: «Видение Исайи»,



«О прении Иисуса Христа с дьяволом», «Откровения Варуха», «Слово об Адаме» и др.<sup>94</sup> Некоторые русские авторы долгое время считали эти апокрифы богомильскими. Но более глубокое изучение как богомильства, так и апокрифов в русской литературе привело к мнению, высказанному в 1908 г. Г. А. Ильинским: «Есть много данных в пользу того, что богомилы сами не составляли апокрифов и, может быть, не принимали участия в переводе этих произведений с греческого языка на славянский. Но несомненно и то, что богомилы пользовались апокрифами, толковали их в духе своего учения, иногда позволяли себе делать вставки...»<sup>95</sup>. Таким образом, не будучи главными источниками по истории богомильства, апокрифы все же сыграли определенную роль в изучении его истории.

\* \* \*

Из предложенного анализа можно, очевидно, сделать ряд выводов. Прежде всего констатируем, что русскими учеными, исследовавшими богомильство, использованы все источники о богомилах, которые были вообще известны в рассматриваемый период. Подавляющее их большинство, отложившееся в хранилищах России, составили солидную базу для исследования проблемы богомильства как исторического явления, о котором почти не сохранилось свидетельств на отечественной почве. Далее разыскание источников проходило постепенно и с нарастающей интенсивностью не только в России, но и в Болгарии, на Афоне, в Сербии, Западной Европе. Процесс изучения источников о богомильстве в России можно разделить на два этапа. С 30-х по 70-е годы XIX в. в отношении к источникам не доставало критического анализа, а позднее в большинстве сочинений русских ученых памятники стали использоваться критически. Определяется степень их достоверности, применяется метод сравнения различных вариантов, близких по тематике материалов. К концу XIX в. появляются специальные источниковедческие исследования отдельных документов и их первые критические издания. Эти издания стали возможны благодаря большим успехам славянского языкознания, внедрению сравнительно-исторического метода в работу историков, т. е. в условиях общего успешного развития славяноведения в России. С точки зрения достигнутого впоследствии уровня развития науки издания источников не были, правда, вполне безупречными, но все же они отразили высокий уровень русского славяноведения конца XIX — начала XX в. Главный вклад в изуче-

ние источников о богомильстве в русской историографии внесли М. Г. Попруженко, М. И. Соколов, К. Ф. Радченко. Благодаря наличию источниковой базы и передовым (для домарксистской науки) методам исследования и особенно изданию исторических памятников русская дореволюционная историография занимает почетное место в изучении богомильства в Болгарии.

- <sup>1</sup> К русской исторической литературе о богомилах мы относим все сочинения, написанные в России и опубликованные на русском языке. Работы С. Н. Палаузова и М. С. Дринова мы также причисляем к русской историографии, хотя признаем, что творчество этих ученых в равной мере принадлежит как русской, так и болгарской исторической науке.
- <sup>2</sup> О нем см.: Славяноведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979, с. 268—269.
- <sup>3</sup> *Петровский Н. М.* Письмо патриарха Константинопольского Феофилakta царю Болгарии Петру.— Изв. ОРЯС АН, 1913, т. 18, кн. 3, с. 356—372.
- <sup>4</sup> Там же, с. 358.
- <sup>5</sup> Там же.
- <sup>6</sup> *Бегунов Ю. К.* Козма Пресвитер о славянских литературах. София, 1973, с. 233.
- <sup>7</sup> *Петровский Н. М.* Письмо патриарха..., с. 358.
- <sup>8</sup> *Строев П. М.* Хронологическое указание материалов отечественной истории, литературы, правоведения до начала XVIII ст. ... — ЖМНП, 1834, № 2, разд. II, с. 155, § 16. По мнению Ю. К. Бегунова (Козма Пресвитер..., с. 9), речь идет о рукописи Волоколамского монастыря, датируемой концом 90-х годов XV в.
- <sup>9</sup> Рассуждение о ересь и расколах, бывших в русской церкви со времени Владимира Великого до Иоанна Грозного, сочиненное студентом Московской Духовной академии Николаем Рудневым. М., 1838, с. 32—37.
- <sup>10</sup> Там же, Примечания, № 33, с. 7—10.
- <sup>11</sup> Письмо П. Я. Шафарика к М. П. Погодину от 22 октября 1855 г. (на нем. языке). Опул. в кн.: Korespondence Pavla Josefa Safarika. Vyd. V. A. Francov. I. Vzajemné dopisy P. J. Safarika s ruskými učenci (1825—1861), č. 2, Praha, 1928, č. 2, s. 766.
- <sup>12</sup> См. письма Гильфердинга к Кукулевичу от 23 марта и 9/21 июля 1856 г.— Живая старина, 1894, вып. 2, с. 181 и 185. Публикация И. Кукулевича.— Arhiv za povjestnicu jugoslavenku. Zagreb, 1857, кп. 4.
- <sup>13</sup> Беседа Козмы Пресвитера на богомилов (X—XI вв.).— Православный собеседник, 1864, ч. 1, с. 483—500; ч. 2, с. 82—108, 198—200, 310—330, 411—426.
- <sup>14</sup> Православный собеседник, 1864, ч. 1, с. 485.
- <sup>15</sup> Подробнее см.: *Бегунов Ю. К.* Козма Пресвитер..., с. 13.
- <sup>16</sup> *Соловьев Е.* О богомилах.— Вятские епархиальные ведомости, 1865, отд. духовно-литературный, № 2, с. 41—50; № 3, с. 63—84; № 4, с. 102—113; № 5, с. 143—152; № 6, с. 170—178; № 7, с. 200—207; № 8, с. 227—239, № 10, с. 293—300.
- <sup>17</sup> На с. 44—50, 63—64 и др.
- <sup>18</sup> Ныне местонахождение рукописи неизвестно, см.: *Бегунов Ю. К.* Козма Пресвитер..., с. 20.

- <sup>19</sup> Гильфердинг А. Ф. История сербов и болгар.— В кн.: Гильфердинг А. Ф. Собр. соч. СПб., 1868, т. 1, с. 228.
- <sup>20</sup> Там же, с. 228, 229.
- <sup>21</sup> Осокин Н. А. История альбигойцев и их времени. Казань, 1869, т. 1, с. 154, 155, 161.
- <sup>22</sup> Православное обозрение, 1875, № 7, с. 378—407, № 8, с. 533—572.
- <sup>23</sup> Православное обозрение, 1875, № 8, с. 567, 566, 565.
- <sup>24</sup> Дринов М. С. Южные славяне и Византия в X в. М., 1876, с. 76—77.
- <sup>25</sup> Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891, с. 209.
- <sup>26</sup> Успенский П. История Афона. СПб., 1892, ч. III, с. 276—278. Автор использовал ту же рукопись, что и Руднев в 1838 г.
- <sup>27</sup> Соколов М. И. Болгарская письменность.— Книга для чтения по истории средних веков, сост. кружком преподавателей под ред. проф. П. Г. Виноградова. М., 1899, вып. 2, с. 958—959.
- <sup>28</sup> Лавров П. А. К вопросу о «Синодик» царя Бориса. Одесса, 1899, с. 99.
- <sup>29</sup> Кочубинский А. А. Рец. на кон.: Житецкий П. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII в. (Киев, 1899). СПб., 1892, с. 69—71 (оттиск из «Известий Академии наук»).
- <sup>30</sup> Св. Козмы Пресвитера Слово на еретики и поучение от божественных книг. Сообщение М. Г. Попруженко.— Памятники древней письменности и искусства, 1907, с. III—X, XI—XII, XII—XIII, XIV.
- <sup>31</sup> Более подробная оценка этого издания имеется в кн.: Бегунов Ю. К. Козма Пресвитер..., с. 14—15.
- <sup>32</sup> Златарский В. Сколько Бесед написал Козма Пресвитер? — В кн.: Сборник статей по славяноведению, посвященный М. С. Дринову его учениками и почитателями. Харьков, 1908, с. 48. Как показывает стоящая под текстом статьи дата, она написана 30.XII, 1903 г., т. е. еще до издания «Беседы» профессором М. Г. Попруженко в 1907 г.
- <sup>33</sup> Ильинский Г. А. Лекции по истории южнославянских литератур. Харьков, 1908, с. 61.
- <sup>34</sup> Попруженко М. Г. Козма Пресвитер.— Изв. Русского археологического института в Константинополе. София, 1911, XV, с. 126, 149—150, 164—165, 202.
- <sup>35</sup> Лавров П. А. Отрывки из бесед Козмы Пресвитера против богомилов.— Русский филологический вестник, 1913, т. 69, вып. 2, с. 380. Под «первым образом» понимался тот, на который указал А. А. Кочубинский.
- <sup>36</sup> Попруженко М. Г. Козма Пресвитер, болгарский писатель X века. София, 1936, с. II, LVIII, LXXIII, CCXC и др.
- <sup>37</sup> О последующих исследованиях данного вопроса см. работу советского ученого Ю. К. Бегунова, издавшего в 1973 г. в Болгарской Академии наук фундаментальное исследование «Козма Пресвитер в славянских литературах».
- <sup>38</sup> В научном обороте был главным образом текст отрывка, полное название которого в издании 1842 г.— «Narratio de Bogomilis seu Raporiae dogmaticae titulus XXXII». Автор «Паноплии» в русской литературе именуется различно: Зигабен, Зигавин, Зигаден.
- <sup>39</sup> Руднев Н. Рассуждение о ересь и расколах. М., 1838, с. 36.
- <sup>40</sup> Соловьев Е. О богомилах.— Вятские епархиальные ведомости, 1865, № 2—8 и 10; цитируются: № 4, с. 105—113; № 5, с. 143—146.
- <sup>41</sup> Истомин К. Богомилы и их значение среди христианского общества. Харьков, 1885 (брошюра в 180 с., составленная из ряда оттисков с сохранением пагинации журнала; о богомилах см. с. 859, 900—912).

- <sup>42</sup> Голубинский Е. Е. Краткий очерк истории православных церквей..., М., 1871, с. 154, 157.
- <sup>43</sup> Богумильство. Опровержение богумильской ереси [Евфимия Зигабена] Пер. с греч. Из бумаг С. Н. Палаузова.— Православное обозрение, 1873, № 7, с. 158—182; № 8, с. 297—312.
- <sup>44</sup> Православное обозрение, 1873, № 7, с. 163.
- <sup>45</sup> Православное обозрение, 1873, № 7, с. 376—407; № 8, с. 533—572. Ниже цитируются: № 7, с. 383, 385—388, 400; № 8, с. 400, 555, 562, 570.
- <sup>46</sup> Успенский П. История Афона. Ч. III. Афон монашеский. I. Его судьба с 911 по 1861 г. Отд. 2, с. 1.
- <sup>47</sup> Григорович В. И. Очерк путешествия по Европейской Турции. М., 1877, с. 17.
- <sup>48</sup> Донесения В. И. Григоровича об его путешествии по славянским землям. Казань, 1915, с. 224.
- <sup>49</sup> Попруженко М. Г. Синодик царя Бориса. II. Одесса, 1899, с. 165; Приложение III, с. 10—55.
- <sup>50</sup> Вятские епархиальные ведомости, 1865, № 4, с. 102.
- <sup>51</sup> Истомина К. Богомилы..., с. 794—797.
- <sup>52</sup> Левицкий В. Богомилство — болгарская ересь X—XIV вв.— Христианское чтение, 1870, № 3, с. 393—399.
- <sup>53</sup> Православное обозрение, 1873, № 7, с. 161—162.
- <sup>54</sup> Православное обозрение, 1875, № 8, с. 565.
- <sup>55</sup> Лебедев А. Очерки истории византийско-восточной церкви от конца XI до половины XV в. М., 1892, с. 224—225.
- <sup>56</sup> Соколов И. Богомилство.— Православная богословская энциклопедия. СПб., 1901, т. 2, с. 753—754.
- <sup>57</sup> Царствование имп. Алексея Комнина. СПб., 1862.
- <sup>58</sup> Григорович В. И. Очерк путешествия..., с. 160—161.
- <sup>59</sup> Синодик царя Бориса. Рукопись XIV века. [Публикация] С. Н. Палаузова.— Временник имп. Общества истории и древностей российских. М., 1855, кн. 21, с. 2, 7—9.
- <sup>60</sup> Христианское чтение, 1870, № 3, с. 422—423.
- <sup>61</sup> Голубинский Е. Е. Краткий очерк..., с. 673—674.
- <sup>62</sup> Дринов М. С. Южные славяне и Византия в X в., с. 74.
- <sup>63</sup> Дринов М. С. Новый церковнославянский памятник с упоминанием о славянских первоучителях.— ЖМНП, 1885, № 4, с. 178—179.
- <sup>64</sup> Флоринский Т. Д. К вопросу о богомилах.— Сб. статей по славяноведению, сост. и изд. учениками В. И. Ламанского..., СПб., 1883, с. 35—39.
- <sup>65</sup> Успенский Ф. И. Образование второго Болгарского царства. Одесса, 1879, с. 228, сноска.
- <sup>66</sup> Успенский Ф. И. Очерки по истории..., с. 209.
- <sup>67</sup> Успенский Ф. И. Синодик в неделю православия. Одесса, 1893, с. 19, 41, 42.
- <sup>68</sup> Петухов Е. В. Очерки из литературной истории «Синодика» I. Судьба текста чина православия на русской почве до пол. XVIII в. Литературные элементы «Синодика» как народной книги в XVII и XVIII веках. СПб., 1895, с. 53.
- <sup>69</sup> Попруженко М. Г. Синодик царя Бориса. I. Текст. Одесса, 1897.2+ +282 с.; Он же. (Синодик царя Бориса. II. [Исследование]. Одесса, 1899. XV+326 с.
- <sup>70</sup> Попруженко М. Г. Синодик..., II, с. 126, 128—129, 171.
- <sup>71</sup> Лавров П. А. К вопросу о Синодике царя Бориса. Одесса, 1899. 103 с.
- <sup>72</sup> Гильфердинг А. Ф. Собр. соч., т. 1, с. 132, сноска.
- <sup>73</sup> Успенский Ф. И. Образование Второго Болгарского царства, с. 220.

- <sup>74</sup> *Успенский П.* История Афона, ч. III, отд. 2, с. 1.
- <sup>75</sup> *Радченко К. Ф.* Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898, с. 306.
- <sup>76</sup> Житие или жизнь преподобного отца нашего Феодосия, иже в Тернове постниествовавшего... Списано патриархом Константина града Кир. Каллистом. С предисл. О. Бодянского; сообщено Х. С. Даскаловым.— ЧОИДР, 1860, кн. 1, разд. III. Материалы славянские, с. I—XII.
- <sup>77</sup> *Голубинский Е. Е.* Краткий очерк истории православных церквей..., с. 675—678.
- <sup>78</sup> *Успенский П.* История Афона, ч. III, отд. 2, с. 2; *Мелиоранский Б.* К истории противоцерковных движений в Македонии в XIV в.— Сб. статей в честь Ф. Ф. Соколова. СПб., 1895, с. 62.
- <sup>79</sup> *Осокин Н. А.* История альбигойцев и их времени, т. 1, с. 149.
- <sup>80</sup> *Веселовский А. А.* Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе..., СПб., 1875, с. 144.
- <sup>81</sup> *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур. СПб., 1879, т. 1, с. 65—84.
- <sup>82</sup> *Соколов М. И.* Компиляция апокрифов болгарского попа Иеремии.— Материалы и заметки по старинной славянской литературе. М., 1888, вып. I—V, с. 141—142.
- <sup>83</sup> *Соколов М. И.* Болгарская письменность.— Книга для чтения по истории средних веков. М., 1899, с. 956.
- <sup>84</sup> *Радченко К. Ф.* Этюды по богомилству.— Изборник Киевский. Т. Д. Флоринскому посвящают друзья и ученики. Киев, 1904, с. 30—31.
- <sup>85</sup> *Ильинский Г. А.* Лекции по истории южнославянских литератур... Харьков, 1908, с. 59—60.
- <sup>86</sup> *Веселовский А. А.* Славянские сказания..., с. 151, 152.
- <sup>87</sup> Православное обозрение, 1875, № 6, с. 395.
- <sup>88</sup> *Венгеров С. А.* Богомилы.— Слово, 1879, № 4, с. 120.
- <sup>89</sup> *Пыпин А. Н., Спасович В. Д.* История славянских литератур, с. 75.
- <sup>90</sup> *Соколов М. И.* Один из источников богомилской книги св. Иоанна.— Тр. Слав. комиссии Моск. археологич. об-ва, 1898, т. 2. Тот же текст опубликован в кн.: Археологические известия и заметки, издаваемые МАО, М., 1897, № 7—8, с. 243.
- <sup>91</sup> *Соколов М. И.* Болгарская письменность..., с. 956.
- <sup>92</sup> *Радченко К. Ф.* Замечания относительно отдельных мест Книги Иоанна Богослова по списку, изданному Дёллингером.— Статьи по славяноведению/Под ред. В. И. Ламанского. СПб., 1904, вып. 1, с. 64—65.
- <sup>93</sup> *Ильинский Г. А.* Лекции по истории южнославянских литератур, с. 63.
- <sup>94</sup> *Веселовский А. А.* Славянские сказания..., с. 154—155; *Попруженко М. Г.* Синодик царя Бориса, II, с. 145; *Радченко К. Ф.* Этюды о богомилстве. Видение пророка Исаяи в пересказах катаров и богомилов.— Сб. ст. по литературе и истории в честь Н. П. Дашкевича. Киев, 1905, с. 229—234.
- <sup>95</sup> *Ильинский Г. А.* Лекции по истории южнославянских литератур, с. 64.



*Е. П. Наумов*

## **Сербские средневековые биографии как исторические источники.**

**(К анализу проблем феодальной идеологии,  
терминологии и текстологии сербских житий)**

Среди исторических источников эпохи сербского феодализма, без сомнения, весьма важное место принадлежит биографиям (житиям). Как известно, в XI—XVII вв. в сербских землях было создано свыше 50 таких сочинений; весьма показательно, что некоторым государственным деятелям феодальной Сербии (в частности, Стефану Немане, основателю династии Неманичей, и некоторым из его потомков) были посвящены не одно, а по два или три жития<sup>1</sup>. Различия в позиции авторов позволяют выявить чрезвычайно любопытные особенности и факты политической истории Сербского государства. Они тем более необходимы и интересны для исследователей (как прошлого Сербии, так и соседних держав: Болгарии, Византии, Венгрии, Османской империи и др.), что сербские летописи и родословы в подавляющем своем большинстве дошли до нас лишь в поздних списках и редакциях, к тому же начинают свое более или менее подробное изложение лишь с середины XIV в.

Средневековые биографии приобрели в историографии положение, с которым (применительно к анализу многих вопросов внешнеполитической и внутривосточной истории феодальной Сербии) можно сравнить лишь роль сербских грамот; как из житий, так и из грамот зачастую исследователи извлекают такие свидетельства, которых вовсе нет ни в летописях, ни в сообщениях иностранных источников. Однако, несмотря на то что сербские жития общеизвестны как исторические источники и уже давно опубликованы, соответствующее направление источниковедческих исследований и его состояние позволяют заключить (как это ни парадоксально), что сербские средневековые биографии изучаются преимущественно историками литературы, а не специалистами по политическим и социально-экономическим, правовым и историко-культурным проблемам<sup>2</sup>.

И в настоящее время в целом сохраняет силу неутешительный вывод югославского ученого Н. Радойчица, сделанный им еще пятьдесят лет назад; уже тогда он кон-

статировал, что жития сербских королей и архиепископов «совершенно недостаточно использованы как исторический источник», в частности те биографии, которые объединены в сборник Данила II и его продолжателей<sup>3</sup>. В послевоенный период появилось немало отдельных работ ученых Югославии<sup>4</sup>, СССР<sup>5</sup>, Болгарии<sup>6</sup> и других стран<sup>7</sup>, посвященных тем или иным сербским житиям, отдельным источниковедческим или текстологическим вопросам, творчеству наиболее видных агиографов той эпохи. Затрагиваемые в них спорные проблемы подтверждают особую необходимость широких обобщений, создания, специальных монографий об этом роде исторических источников. Тем более что в исторической литературе нет ни одного труда, охватывающего источниковедческие проблемы средневековых сербских биографий. Исключение составляет небольшая книга П. Протица, но она уже давно устарела и даже теперь не упоминается в соответствующих библиографических указателях<sup>8</sup>.

На наш взгляд, следует согласиться с выводом югославского ученого Д. Богдановича о том, что этот род исторических и литературных памятников все еще «не получил своего полного и современного историко-литературного и теоретического, эстетического исследования» (мы добавим — и источниковедческого, текстологического), что он «охвачен лишь в отрывках и освещен лишь в том, что является периферийным и второстепенным»<sup>9</sup>. Такой вывод подкрепляется и тем неутешительным состоянием изданий сербских житий, которое продолжает сохраняться, несмотря на частые переиздания этих сочинений (целиком или в антологиях, в отрывках)<sup>10</sup>, новые переводы<sup>11</sup>, на появление публикаций некоторых неизданных списков<sup>12</sup>, даже на использование этих материалов не только в историографии, но и в исторической беллетристике и биографической прозе<sup>13</sup>. К сожалению, до сих пор нет полного свода житий<sup>14</sup>, как и попыток продолжить и осуществить любопытный замысел сербского историка И. Павловича, ставившего своей целью создание контаминированного корпуса биографий сербских правителей (т. е. своего рода расширенного и «очищенного» сборника Данила II наподобие «очищенного» Нестора, создававшегося некогда Шлёцером)<sup>15</sup>.

Вполне понятно, что в данной статье невозможно рассмотреть достаточно подробно все насущные (в том числе и спорные) источниковедческие вопросы, разбора которых требуют сохранившиеся сербские жития и их сообщения

об истории самой Сербии и соседних феодальных государств. Поэтому здесь мы полагаем необходимым остановиться на проблемах средневековой идеологии (применительно к данному роду средневековых сочинений), на все еще малоисследованных вопросах феодальной терминологии, связанных с развитием государственного строя и правовых взглядов<sup>16</sup>. Наконец, в данной работе будут рассмотрены наиболее важные текстологические аспекты сербских биографий, требующие анализа в связи с существованием ряда новых изданий этих памятников, задачами и принципами их публикации, проблемами авторства и т. д.

Прежде всего надо обратить внимание на идеологические основы данных агиографических произведений, на оценку целей и взглядов их авторов. Чем же определяется научная значимость этих проблем, связанных с эволюцией средневекового мировоззрения, государственно-правовых теорий в феодальной Сербии? Сразу же нужно указать на принципиальное значение всего этого круга вопросов для оценки памятника как исторического источника, для определения его достоверности, тенденциозности, для попыток анализа взглядов или концепций тех или иных политических деятелей, сословных группировок и пр. Однако, говоря о сербских житиях, нельзя ограничиться лишь такой общей констатацией.

Дело в том, что в современной югославской литературе наметились явные расхождения не только в определении самого характера данного жанра письменных памятников, но и в оценке взаимосвязи житий (именно идеологической) с нуждами и стремлениями феодальной верхушки сербского общества той поры, с устремлениями и политическими доктринами феодальных династий. Если, например, ранее в трудах Дж. Сп. Радоичича, Д. Павловича, С. Матича давалась четкая оценка с марксистских позиций, подчеркивались непосредственная обусловленность, прямая связь известных нам произведений (т. е. прежде всего житий) с идеалами и целями феодального класса<sup>17</sup>, то затем наметилась и постепенно приобрела все большее распространение тенденция, явно соотносимая и со стремлениями некоторых югославских медиевистов отказаться от марксистской периодизации формаций, от признания феодальной формации, даже от термина «феодальный»<sup>18</sup>.

Такое сознательное «отступление» от признания феодальных идеологических основ биографий сербского сред-

невековья, например, заметно уже в цитированном нами предисловии югославского литературоведа Д. Богдановича к подготовленному им сборнику произведений этого жанра. Затрагивая вопрос об их общественном характере и происхождении, он признает, что «наши старинные биографии ограничены кругом средневекового сербского двора», т. е. самой резиденции правителя феодальной Сербии; он отмечает также, что «ряд сербских биографий принадлежит перу какого-то Неманича», т. е. эти сочинения были написаны самими представителями правившей тогда династии. Наконец, Д. Богданович приводит и тот неопровержимый факт, что все воспеваемые в житиях сербские святые «принадлежат или к правящей династии Неманичей, или к верхам сербской церкви», которая была основана этой династией и которая насчитывала среди своих архиепископов «еще несколько членов династии или высшей, «великой властелы», т. е. феодальной знати»<sup>19</sup>.

Однако тут же Богданович пытается оспорить все общеизвестные свидетельства, даже приводимые им самим здесь же факты, как и аналогичные выводы Д. Павловича и других ученых; он заявляет, что *быть может* преувеличенно утверждать, что они (т. е. жития.— Е. Н.) представляли «некий род дворцовой литературы», а тем более что они были «предназначены для узкого круга читателей, с целью прежде всего воспитать сыновей государя и вельмож»<sup>20</sup>. Несколько далее Богданович, констатируя и высокий эстетический уровень биографий, их ученость и облагороженность стиля, тем не менее делает вывод, что «*было бы ошибочно считать*», что распространение данных произведений «ограничивалось дворцом и властелой; посредством церкви они входили в *народ*, притом (в народ) в самом дословном смысле слова»<sup>21</sup>.

Поскольку Д. Богданович ни разу не употребляет термин «феодальный» (и определения типа «феодальное общество» или «феодальное государство» и т. п.), вряд ли возможно сомневаться в том, что высказанные положения формулируют теорию «народного» или «церковного» (но не феодального) происхождения и характера сербских средневековых биографий. В еще более законченной форме эта концепция автора проявляется в его книге, где он резко выступает даже против терминов «феодальная литература» или «литература феодальной эпохи»; ратуя против «вульгаризованного представления о средневековой литературе как «воспитателе феодалов» и идеологическом орудии государя и властелы», он старается доказать, что



такие неверные, «социологические» тезисы «затемняют... исключительно важный компонент», унаследованный древней сербской и византийской книжностью от античной эпохи. Наконец, в качестве веского «доказательства» для своих опровержений «механического переноса общей схемы», «социологизирования» и «идеологической интерпретации» югославский историк литературы ссылается на тот факт, что «христианство само по себе не феодальная идеология», а возникло в рабовладельческом обществе, сама же структура средневековой церкви позднеантичная и т. д.<sup>22</sup>

Доводы Д. Богдановича вовсе не могут оспорить ни приведенных им самим (и другими учеными) фактов о тесной связи сербских житий с политикой сербской феодальной верхушки и династий (даже с личным творчеством видных представителей «святородной лозы» Неманичей), ни общеисторических констатаций марксистской науки о развитии средневекового общества. Достаточно напомнить о четком определении Ф. Энгельсом тесной связи христианства в средневековой Европе, христианской церкви и феодального строя: «Церковь с ее феодальным землевладением являлась реальной связью между различными странами; своей феодальной организацией церковь давала религиозное освящение светскому государственному строю, основанному на феодальных началах»<sup>23</sup>. В своей блестящей работе «Крестьянская война в Германии» Ф. Энгельс, давая необычайно точный и сжатый анализ главных особенностей феодального строя Европы, вновь подчеркивал, что возникшие «на совершенно примитивной основе» феодальные отношения заимствовали у древнего мира христианство, а превращение догматов церкви в политические аксиомы, «верховное господство богословия» было «необходимым следствием того положения, которое занимала церковь в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя»; все это создавало, как подчеркивал Ф. Энгельс, «ореол святости» вокруг феодальных общественных отношений<sup>24</sup>.

Действительно, такой «ореол святости», как мы знаем, создавался и в Сербии тех времен, где многочисленные агиографы в житиях и похвальных словах славили доблести и благочестие тех или иных представителей правивших тогда феодальных династий (Неманичей, затем Лазаря и его сына Стефана, наконец, Бранковичей), а также наиболее видных православных иерархов: архиепископов и пат-



риархов<sup>25</sup>. Естественно, что признание таких феодальных идейных основ сербской агиографии не означает и не может означать «механического переноса общей схемы» (по словам Д. Богдановича), тем более поверхностного и антиисторического уравнивания идейно-политических позиций и взглядов разных авторов житий. Напротив, тщательный анализ сохранившихся биографий показывает нам, насколько неодинаковы и порой прямо противоположны были конкретные общественно-политические концепции отдельных агиографов, хотя, разумеется, всех их объединяли сознание и отстаивание владычества феодального сословия в стране, господства правившей тогда династии и сербской церкви.

О некоторых государственно-правовых и общественно-политических концепциях сербских агиографов (особенно на материале житий XIII в.), в частности о резких различиях в трактовке событий конца XII — начала XIII в. (в сочинениях сыновей Немани — Саввы и Стефана), далее — о примечательных особенностях произведения хиландарского монаха Феодосия, уже достаточно подробно говорилось в литературе<sup>26</sup>, хотя, конечно, изучение идейных аспектов сербских биографий представляет предмет дальнейших весьма важных для понимания общественно-политической обстановки в Сербии той поры поисков и исследований.

Наглядные различия в трактовке и оценках даже наиболее информированных агиографов, явная взаимосвязь их сочинений с конкретными политическими задачами феодального класса и центральной власти (даже точнее, с целями и притязаниями тех или иных представителей династии), по нашему мнению, позволяют дать ответ на поставленный в статье югославской исследовательницы Р. Маринкович вопрос: «Что такое старинные сербские биографии — документ или похвала, история или агиография?». Сама Маринкович справедливо отмечает, что эти сочинения, соединяя исторический и агиографический компонент, представляют собой «источник для истории или иного типа, нежели история факта», «источник для истории идей, понятий, страстей и желаний своего времени». С такой оценкой в известной мере следует согласиться, хотя, как мы знаем, ввиду отсутствия или малочисленности других источников жития в действительности являются *первостепенным* памятником для событийной истории Сербского феодального государства и общества. Однако вряд ли возможно признать обоснованным тезис автора,

когда она, указывая на «перерастание» житий (конкретно — биографий Неманичей) «в литературу», пишет, что они «в действительности становятся *поэтической историей*», что они «одновременно и актуальные политические сочинения и поэтизированная история». К сожалению, в такой формулировке, как мы видим, полностью исчезают и признание общих идейных основ феодальных агиографов Сербии (Р. Маринкович, как и некоторые ее коллеги, также «избегает» термина «феодальный») и явная тенденциозность их в обрисовке персонажей и событий, которую Маринкович сама признает и детально иллюстрирует в своем изложении<sup>27</sup>.

Нам представляется, что дефиниция «поэтизированная история» для сербских житий может быть признана гораздо менее обоснованной, нежели встречающаяся в литературе формулировка «династическая историография»<sup>28</sup>, хотя и такое определение не вполне точно. На наш взгляд, более удачно было бы назвать средневековые биографии Сербии «историографией династов» ввиду общеизвестной тенденциозности и заметной неполноты этих произведений для действительно подробной обрисовки даже истории всех династий (в том числе и Неманичей, хотя им посвящена большая часть житий сербских правителей). Соответственно, быть может, следует сказать отдельно об «историографии сербских иерархов», если говорить о серии житий сербских архиепископов, патриархов и других церковных деятелей.

Вместе с тем — и это также важная особенность сербских житий — нужно подчеркнуть и тот факт, что необходимость и актуальность дальнейших исследований в области идейно-политической характеристики сербской агиографии сочетаются и подчеркиваются теми задачами, которые возникают применительно к терминологии (особенно государственно-правовой, общественной) сербских писателей той эпохи. Речь здесь идет не только о том, что данные произведения в силу специфики источниковедческой базы феодальной Сербии во многом содействуют воссозданию средневековых политических и социальных категорий, в первую очередь выявлению различных прослоек светской феодальной знати<sup>29</sup>.

Не менее важна, с другой стороны, достаточно четко прослеживаемая взаимосвязь особенностей сословной терминологии того или иного средневекового писателя (в особенности его сословных «новинок») с его представлениями о роли соответствующей социальной категории или груп-

пировки (т. е. обычно феодальной знати), а тем самым в известной мере и со стремлениями и настроениями тех или иных кругов сербского общества той поры. В этом смысле, на наш взгляд, представляют особый интерес произведения двух видных агиографов эпохи Неманичей: хиландарского монаха Феодосия, создавшего на рубеже XIII и XIV вв. необычайно примечательный и популярный (не только в Сербии, но и на Руси) памятник — Житие сербского архиепископа Саввы (Растка) Неманича, основателя автокефальной церкви и видного писателя той поры<sup>30</sup>, и другого известного агиографа, игравшего большую роль в политической жизни Сербского государства первой половины XIV в. — архиепископа Данила II, создавшего широко известный сборник сербских житий<sup>31</sup>.

Их произведения, по нашему мнению, интересны и тем, что в результате сопоставления данных биографий с другими свидетельствами (например, с актовыми материалами и т. д.) мы имеем возможность судить также о реальном соотношении применяемой агиографом системы словесных обозначений с аналогичными терминами, зафиксированными в переписке сербского двора; более того, конкретный анализ этих терминологических вопросов позволяет в какой-то степени уточнить представления об авторстве сохранившихся житий, т. е. о наличии некоторых протографов, использованных позднее известными нам авторами и т. д.<sup>32</sup>

Обратимся в данной связи сначала к сочинению Феодосия Хиландарца, которое уже привлекало внимание некоторых историков (Н. Радойчича, Дж. Сп. Радойчича и др.), но, как нам кажется, еще содержит немало неиспользованных материалов, весьма важных для понимания сословной динамики, эволюции общественно-политической мысли, в особенности представлений самой феодальной светской знати Сербии о роли ее в истории державы Неманичей в XII—XIII вв.<sup>33</sup> Весьма примечательно, в частности, что Феодосий в своем житии Саввы прибегает к многозначительному терминологическому нововведению, а именно к обозначению (притом последовательному и сознательному) правящего класса, непривычному для своих предшественников-агиографов, — «благородные»<sup>34</sup>.

Не вызывает сомнения, что уже такое новшество в лексиконе средневековых сербских биографий само по себе заслуживает пристального анализа; как известно, никто из предшествующих Феодосию авторов не применял тер-

мина «благородные», а в своих сочинениях они называли светских феодалов «властелями», «болярами», «вельможами», «воинами» и т. п. Более того, как мы знаем, и в актовом материале конца XII — середины XIII в. вовсе отсутствует определение «благородные» для светской знати<sup>35</sup>.

В то же время, как мы уже показывали в процессе выявления сословной эволюции феодального класса в Сербии XIII в., эта «новинка» в лексике Феодосия вовсе не была свидетельством лишь его стремлений к каким-то красотам стиля либо авторским «капризом», желанием выделиться в среде известных ему писателей, подчеркнуть особенности своего почерка в отличие от Доментиана, чья биография Саввы была источником и прототипом для Феодосия. В действительности же, как известно, в конце XIII в. в Сербии, как и в Византии, все сильнее развивается тенденция поисков новых сословных терминов для обозначения светской знати, для акцентирования их различий от прежних наименований; вероятно, по мнению усилившихся светских феодалов, старые их названия (т. е. «боляре», «властели», «архонты», «слуги» и др.) уже не отражали наглядно их возросшего могущества, не свидетельствовали об их «благородном» происхождении, о претензиях на самостоятельность и фактическую независимость от их сюзерена: короля, императора, князя или иного феодального государя<sup>36</sup>.

И соответственно поиски новых определений шли в разных направлениях: одно вело к усвоению в Сербии и переводу византийского термина «архонтопулы» (они стали здесь «властеличиками»), другой путь, избранный Феодосием для «нобилитации» сербской знати, опирался, видимо, на традиции сербского Приморья и южнодалматинского патрициата. Хотя нововведение Феодосия (т. е. «благородные») и не вошло в официальный лексикон двора Неманичей и сербское законодательство, все же это несколько не обесценивает значения свидетельств его сочинения для понимания нами сложных процессов сословного самосознания верхушки сербского общества; более того, на наш взгляд, это даже позволяет в известной мере судить и о причинах популярности данного жития.

В самом деле, если говорить о предпосылках его написания и распространения, чем была обусловлена необходимость переделки жития Саввы, уже созданного хиландарским монахом Доментианом, притом в общем незадолго до Феодосия? К тому же сочинение Доментиана почти

так же обстоятельно, как и труд Феодосия, оно так же воспевает заслуги и добродетели Саввы. В поисках ответа, по нашему мнению, следует прежде всего учитывать отмеченные выше значительные сдвиги в самосознании светской знати, в сословной терминологии, в изменении внутривосточных позиций феодалов в Сербии конца XIII и начала XIV в.

Эта эпоха в истории державы Неманичей, как мы знаем, характерна резким и долгим соперничеством двух «законных» наследников, притязавших на власть во всем государстве (братьев-королей Драгутина и Милутина); исход борьбы этих представителей «святородной» династии закономерно зависел от симпатий и антипатий могущественной феодальной верхушки (светской и духовной). Рост политических амбиций знати, чувствовавшей себя уже в положении главного арбитра, нашел свое отражение и в сочинении Феодосия; не случайно этот монах Хиландарского монастыря избрал своим героем архиепископа Савву, ведь некогда (в начале XIII в.) Савва так же мирил своих враждующих братьев (Вукана и Стефана), так же играл весьма видную роль в истории Сербского государства, в международных отношениях той поры.

Уже сравнение первых разделов жития, написанного Феодосием, с его «образцом» (т. е. произведением Доментиана) показывает нам, насколько последовательным было стремление Феодосия «переписать» историю своей страны в узкокорпоративном, феодальном духе, подчеркнуть в любой сцене, в любом случае важную роль «благородных», становящихся (в его трактовке) важным фактором политической жизни Сербии наравне с верховным правителем и высшим духовенством. Рассмотрим, например, повествование Доментиана и Феодосия об отречении Стефана Немани и передаче им сербского престола своему сыну Стефану (Первовенчанному).

Показательно, что рассказ Доментиана об этих важных событиях очень краток; по его словам, Неманя, прервав «царство земное» и «избрав своего благоверного сына кир-Стефана, сотворил его великим жупаном, самодержавным господином всему отечеству своему, и посадил его на престоле своем», и передал ему всю свою «паству», «как он и сам имел власть над ней, так и сыну своему передал всю власть над ней», между прочим, вовсе не упоминая о другом наследнике — Вукане, короле Дукли (Зеты). Иными словами, у Доментиана — на первом пла-



не «Богоданная» мощь Немани и его наследников; правда, здесь агиограф упоминает и светских феодалов, чиновников и воевод великого жупана, но им отведена лишь роль бессловесных объектов воли Немани, причем в своей приниженности они поставлены даже наравне с рабами. В самом деле, ниже Доментиан счел нужным рассказать и о том, что Неманя устроил официальное «представление» нового великого жупана его подданным. «Он же,— писал Доментиан о Немане,— собрав все власти царства своего, вельмож великих и малых, десятников и пятидесятников, и сотников, и тысячников, и, развеселив их всех всяким весельем, освободив всех работных (т. е. рабов? — *Е. Н.*), убогим и маломощным, и слепым, и хромым, и прокаженным дав всякое довольство», благословил «господина возлюбленного сына своего великого жупана кир-Стефана со всеми его слугами» и так завершил церемонию передачи власти<sup>37</sup>.

Совсем иначе описывает все эти события Феодосий; по его мнению, самым главным было не решение Немани, а воля светской знати, т. е. «благородных», которых еще необходимо было *убедить* в потребности и обоснованности такой смены их сюзерена. Поэтому вначале Феодосий рассказывает о созыве Неманей общегосударственного *собора*, на который он пригласил «ипатов и воевод, тысячников и сотников и остальных благородных, и малых и великих», специально предупредив, чтоб никто не отсутствовал. Когда же наступил назначенный для собора день, «приходили благородные, собравшись со всех сторон», и когда все они собрались, «взяв речь, самодержец (т. е., Неманя.— *Е. Н.*) сказал всем благородным: «Друзья, братья и чада, слушайте мою речь к вам. Вы знаете жизнь мою с самого начала, как с Вами жил, как каждого из вас вскормил как сына, как брата возлюбил, как друга восприял. Убо и вы мне благопокоривы и верою добропослушливы были, [и] я послушествую» (т. е. и я послушен Вам?! — *Е. Н.*). И далее Феодосий продолжает излагать речь Немани в этом же духе «единения» и согласия государя и знати, завершая *просьбой* престарелого правителя к его собственным вассалам: «...и кого я вам вместо себя ставлю — владычествовать богом и вашей любовью — тому прошу быть благопокоривыми и верными, как были [верны] мне самому...». Не менее любопытно и то, что, по словам этого агиографа, сербские феодалы, выслушав столь трогательное и проникновенное обращение своего сюзерена, вовсе не ограни-

чились бессловесным одобрением; напротив, они «плакали», печалились, всячески старались отговорить Неманю. Понадобились и новые его увещевания и лишь после этого «все сказали» о своем согласии на передачу трона сыну Немани Стефану. Только после такого решения государственного собора Неманя с сыном, с епископом Каллиником и «со всеми благородными» направился в престольную церковь, чтоб благословить Стефана и провозгласить его великим жупаном; и тогда «все благородные поклонились» новому своему повелителю<sup>38</sup>.

Иными словами, даже в таком кратком сопоставлении двух биографий Саввы, написанных Доментианом и Феодосием, наглядно видно, как последователен Феодосий в своем стремлении превознести политическую роль светской феодальной знати в Сербии. Именно феодалы оказываются в сущности «соправителями» своего сюзерена, именно их «любовью» (как и «божьей волей»), как оказывается из изложения Феодосия, в действительности «владычествуют» великие жупаны, а затем короли из рода Неманичей. Вполне понятно, что свидетельства других житий не менее интересны и важны для анализа внешне- и внутривосточной истории Сербского государства, и такой тщательный анализ, как мы старались показать выше, поможет нам более полно представить сословную динамику, общественно-политическую мысль той поры.

Вместе с тем подробное изучение средневековых сербских биографий в плане терминологическом, на наш взгляд, может быть весьма перспективным и для выяснения многих немаловажных и в какой-то мере еще спорных источниковедческих, текстологических вопросов, в частности проблем атрибуции, хронологии и соотношения отдельных памятников и их редакций, равно как и проблемы распространения их в Сербии и за ее пределами. К сожалению, всем этим вопросам посвящено еще не слишком много работ, а некоторые из имеющихся исследований оказываются нередко односторонними, недостаточными уже в силу того, что те или иные авторы не учитывают достижений других ученых.

Так, например, в статье Л. К. Гаврюшиной, посвященной специально русским спискам Жития Саввы (т. е. названного выше сочинения Феодосия), вовсе не упоминается и не используется соответствующая работа А. А. Турилова, также изучавшего вопрос о распространении данного произведения на Руси<sup>39</sup>. Следует выразить сожаление, что любопытные выводы А. А. Турилова о соотношении

списков краткой и пространной редакции Жития Стефана Лазаревича не были учтены болгарским ученым К. Куевым<sup>40</sup>. В других случаях положения, не совпадающие с положениями какого-то автора, без всякого рассмотрения отвергаются как якобы «несостоятельные», «выдуманнные» и «неаргументированные»<sup>41</sup>. Вполне понятно, однако, что такие заявления, не сопровождающиеся подробным разбором противоположных мнений, нисколько не содействуют конкретному решению спорных или еще неясных вопросов.

Иногда анализ таких дискуссионных (притом сохраняющих подобный характер уже давно) источниковедческих, текстологических вопросов, к сожалению, сводится почти исключительно к изложению собственных доводов, чему, между прочим, не сопутствует надлежащее рассмотрение иных аргументов и их опровержение. В данной связи, например, следует сказать о проблеме авторства так называемого Второго жития сербского короля Стефана Дечанского, которое обычно в литературе приписывается известному болгарскому книжнику Григорию Цамблаку. В одной из наших работ уже были перечислены разные аргументы, которые не дают основания для такого утверждения; по нашему мнению, все еще нет веских доказательств в пользу того, что данное житие было написано именно Цамблаком, а не дечанским монахом Григорием<sup>42</sup>.

Болгарский филолог К. Мечев, занимавшийся творчеством Цамблака, коснулся вопроса об авторстве этого жития, однако им не были подробно рассмотрены все эти текстологические аспекты, и в результате, на наш взгляд, данный вопрос остается нерешенным. Так, например, отсутствие в житии упоминаний о нашествии турок и новых ктиторах (Лазаревичах), об их дарениях монастырю и о пожаре, разрушениях (во время турецких набегов) вовсе не опровергается ссылкой Мечева на наличие некой «тревоги», «отголосков турецкой опасности»; на восхваление Немани<sup>43</sup>; так же недостаточно и утверждение К. Мечева, будто «такая идеализация» Стефана Дечанского (т. е. восхваление его во Втором житии) не была «возможна через два-три десятилетия после смерти короля»<sup>44</sup>; между тем, как нам известно, канонизация Стефана Дечанского последовала уже в 1339—1343 гг.<sup>45</sup>, и поэтому, следовательно, после этой даты «идеализация» его была не только возможной, но и закономерной, совершенно обязательной.

Завершая рассмотрение всех этих общих вопросов, связанных с анализом средневековых сербских биографий как исторических источников, мы считаем необходимым вновь подчеркнуть не только настоятельную потребность, но и бесспорную перспективность дальнейшей работы специалистов разных областей, которая была бы основана на ценнейших материалах этих многочисленных и необычайно интересных письменных памятников. Вполне понятно, что конкретные источниковедческие исследования сербских житий помогут не только более полному и всестороннему воссозданию истории Сербского государства и его культуры, но и изучению многовековых общественно-политических и культурных связей Сербии и Руси, распространения сербских сочинений на Руси, их использования в более поздних историографических произведениях (в особенности в Русском хронографе редакции 1512 г.), в полемических трудах русских книжников, наконец, изучению литературных сербо-болгарских связей эпохи средневековья, отразившихся, например, в творчестве Константина Философа (Костенчского) и Григория Цамблака, а также решению общих вопросов средневековой европейской агиографии (на материале памятников Сербии, с одной стороны, Болгарии, Руси и других стран — с другой).

- <sup>1</sup> См., например: *Историја народа Југославије*. Београд, 1953, т. I, с. 493—496; *Поповић П.* Обзор истории сербской литературы. СПб., 1912, с. 30—48; *Наумов Е. П.* Господствующий класс и государственная власть в Сербии XIII—XV вв. М., 1975, с. 27—29.
- <sup>2</sup> См., например: *Кашанин М.* Српска књижевност у средњем веку. Београд, 1975, 516 с.; *Богдановић Д.* Историја старе српске књижевности. Београд, 1980, 311 с.; ср. также: *Српска књижевност у књижевној критици*. I. Стара књижевност. Београд, 1972, 575 с.; *Историја српског народа*. Београд, 1981—1982, кн. 1—2, 700 с., 596 с.
- <sup>3</sup> *Радојчић Н.* О архиепископу Данилу и његовим настављачима.— В кн.: *Архиепископ Данило. Животи краљева и архиепископа српских*. Превео Л. Мирковић. Београд, 1935, с. XXVI—XXVII.
- <sup>4</sup> См., например: *Мулич М. И.* Сербские агиографы XIII—XIV вв. и особенности их стиля.— Тр. Отд. древнерусской литературы, 1968, т. XXIII, с. 127—142; *Мошин В.* Житије краља Милутина према архиепископу Данилу II и Милутиновој повељи-аутобиографији.— *Зборник историје књижевности (одељење језика и књижевности)*. Београд, 1976, кн. 10, с. 109—134; *Маринковић Р.* Владарске биографије из времена Немањића—Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 1978, св. 1—2, с. 3—20; *Живојиновић М.* Житије архиепископа Данила II као извор за ратовања Каталанске компаније.— *Сборник радова Византолошког института*, 1980, кн. XIX, с. 251—272; и др.
- <sup>5</sup> См., например: *Наумов Е. П.* Кем написано второе житие Стефана Дечанского? — В кн.: *Славянский архив*, М., 1963, с. 60—72; *Он же.*

- Из истории русско-сербских средневековых связей (Второе житие Стефана Дечанского в сочинениях Иосифа Волоцкого).— Учен. зап. Ин-та славяноведения, 1963, т. XXVI, с. 37—47; *Он же*. Античные мотивы в средневековой сербской литературе.— В кн.: Славянские литературы). VIII международный съезд славистов. М., 1978, с. 215—234; *Он же*. Сербские главы и разделы Русского хронографа (итоги и задачи исследования сербских источников хронографа редакции 1512 г.).— В кн.: Русско-балканские культурные связи в эпоху средневековья. София, 1982, с. 102—122; *Турилов А. А.* Болгарские и сербские источники по средневековой истории Балкан в русской книжности конца XIV—первой четверти XVI вв. Автореф. дис... канд. наук. М., 1980; *Иванова Е. К.* О типологической общности стиля сербской и русской агиографии XIII—XIV вв.— Вестн. МГУ, сер. филол., 1983, № 1, с. 63—71; *Гаврюшина Л. К.* Русская рукописная традиция Жития Саввы Сербского.— Сов. славяноведение, 1984, № 1, с. 68—82.
- <sup>6</sup> См., например: *Mešev K.* Sur la paternité de la deuxième «Vie d'Etienne Dečanski».— *Byzantinobulgarica*, 1966, v. II, p. 303—321.
- <sup>7</sup> См., например: *Сване Г.* Русский «Хронограф» и «Биография Стефана Лазаревича».— В кн.: Търновска книжовна школа. София, 1980, т. 2, с. 109—132; *Hafner S.* Studien zur altserbischen dynastischen Historiographie. München, 1964.
- <sup>8</sup> *Протић П.* Житија српских светаца као извор историјски. Београд, 1897, 182 с. (ср.: *Историја народа...*, т. I, с. 495; *Морачић Д.* Библиографска грађа о старој књижевности.— Књижевност и језик, 1971, № 3—4, с. 113—118. Вероятно, следует поставить вопрос о сопоставлении ее с книгой Ключевского: *Ключевский В. О.* Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871. 483 с.
- <sup>9</sup> *Богдановић Д.* Предговор.— В кн.: Старе српске биографије. Београд, 1968, с. 5.
- <sup>10</sup> См., например: *Павловић Д., Маринковић Р.* Из наше књижевности феудалног доба. Сарајево, 1959, 414 с.; *Стара српска књижевност*. Нови Сад—Београд, 1966, т. I—II; *Старе српске биографије*. Београд, 1968, 301 с.; *Теодосије Хиландарац*. Живот светога Саве (приредио и предговор написао Ђ. Трифуновић). Београд, 1973, 221 с.
- <sup>11</sup> *Konstantin fra Kosteneč. Den serbiske Despot Stefan Lazarevičs liv og levned. Ov. og komm. G. Svane.* København, 1975, 243 s.
- <sup>12</sup> *Кувев К.* Житието на Стефан Лазаревич от Константин Костенечки (Кирилбелозерски препис.). София, 1983, 94 с.; *Давидов А. и др.* Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. София, 1983, 327 с.
- <sup>13</sup> См., например: *Настасиевич С.* Стефан, государь сербский. М. 1965, 143 с.; ср. также: *Pavlović N. D.* Despot Stefan Lazarević. Beograd, 1968, 247 s.
- <sup>14</sup> Ср.: *Наумов Е. П.* Некоторые проблемы истории законодательства в Сербско-Греческом царстве.— *Византийский временник*, 1965, т. XXVI, с. 277.
- <sup>15</sup> *Павловић И.* Домаћи извори за српску историју, д. I.— *Гласник Српског ученог друштва*, друго од., кн. 7, 1877, 292 с.
- <sup>16</sup> Ср., например: *Наумов Е. П.* Государственная власть и сословное деление феодального класса на Балканах в XIII—XV вв. (К истории феодальной социальной терминологии и иерархии).— В кн.: Балканские исследования. М., 1984, кн. 9, с. 29—38.
- <sup>17</sup> См., например: *Павловић Д., Маринковић Р.* Из наше..., с. 5 и сл.; *Стара српска...*, т. I, с. 9 и сл.; *Радојичић Ђ.* Сп. Развојни лук старе српске књижевности. Нови Сад, 1962, с. 15 и сл.; *Матић С.* Наш на-



- родни еп и наш стих. Нови Сад, 1964, с. 244—245.
- <sup>18</sup> Подробнее см. в кн.: *Наумов Е. П.* Господствующий класс..., с. 12 и сл.
- <sup>19</sup> *Богдановић Д.* Предговор.— В кн.: *Старе...*, с. 8.
- <sup>20</sup> Там же.
- <sup>21</sup> Там же, с. 9.
- <sup>22</sup> *Богдановић Д.* Историја..., с. 99—103.
- <sup>23</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 21, с. 495.
- <sup>24</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 7, с. 360—361.
- <sup>25</sup> Ср., например: *Павловић Л.* Култови лица код Срба и Македонаца. Смедерево, 1965, 365 с.; *Лихачев Д. С.* Человек в литературе древней Руси. М., 1970, с. 26—27; *Переверзев В. Ф.* Литература древней Руси. М., 1971, с. 8 и сл.
- <sup>26</sup> См., например: *Наумов Е. П.* Господствующий класс..., с. 95—96; *Он же.* Из истории...; и др.
- <sup>27</sup> *Маринковић Р.* Владарске..., с. 3, 20, 8, 11.
- <sup>28</sup> См. выше, прим. 7; ср. также: *Богдановић Д.* Историја..., с. 73.
- <sup>29</sup> См., например: *Наумов Е. П.* Господствующий класс..., с. 181 и сл.; *Он же.* К истории феодальной сословной терминологии Древней Руси и южнославянских стран.— В кн.: Исследования по истории славянских и балканских народов. М., 1972, с. 224—236.
- <sup>30</sup> См., например: *Богдановић Д.* Историја...; Српска књижевност...; *Гаврюшина Л. К.* Русская рукописная...; *Наумов Е. П.* Господствующий класс..., с. 95—96, 198—201; и др. Ср. также: *Теодосије Хиландарац.* Живот..., с. 03—09.
- <sup>31</sup> См., например: *Богдановић Д.* Историја...; *Радојчић Н.* О архиепископу Данилу...; и др.
- <sup>32</sup> Ср.: *Наумов Е. П.* Господствующий класс..., с. 93, прим. 97.
- <sup>33</sup> См., например: *Наумов Е. П.* Господствующий класс..., с. 95 и др.
- <sup>34</sup> *Теодосије Хиландарац.* Живот..., с. 5 и сл.
- <sup>35</sup> *Наумов Е. П.* Господствующий класс..., с. 74—94 (ср. с. 70—73).
- <sup>36</sup> См., например: *Наумов Е. П.* Государственная власть..., с. 34—35; *Он же.* Господствующий класс..., с. 96—97; ср. также: Идеология феодального общества в Западной Европе: проблемы культуры и социально-культурных представлений средневековья в современной зарубежной историографии. М., 1980, с. 40.
- <sup>37</sup> *Даничић Б.* Живот светога Симеуна и светога Саве, написао Доментијан. Београд, 1865, с. 151—152.
- <sup>38</sup> *Теодосије Хиландарац.* Живот..., с. 36—39.
- <sup>39</sup> *Гаврюшина Л. К.* Русская рукописная...; ср.: *Турилов А. А.* Болгарские и сербские источники..., с. 14; *Он же.* Оригинальные южнославянские сочинения в русской книжности XV—XVI вв.— В кн.: Теория и практика источниковедения и археографии отечественной истории. М., 1978, с. 42 и сл.
- <sup>40</sup> *Кувев К.* Житието..., с. 29.
- <sup>41</sup> См., например: *Давидов А.* и др. Житие..., с. 11, 14—15.
- <sup>42</sup> См. подробнее: *Наумов Е. П.* Кем написано..., с. 62—71.
- <sup>43</sup> См., например: *Мечев К.* Григорий Цамблак. София, 1969, с. 86—87.
- <sup>44</sup> Там же, с. 90—91.
- <sup>45</sup> Ср.: *Павловић Л.* Култови..., с. 104.

**Судебно-следственные материалы  
как источник для изучения  
польской политической ссылки  
первой половины XIX в.**

Широтой и многоаспектностью проблематики обуславливается многообразие источников, которые могут и должны использоваться для исследования сибирской ссылки. Это, с одной стороны, огромные массивы официальной документации различных звеньев царской администрации, с другой — сохранившиеся лишь отчасти, но все же имеющиеся документы революционных обществ и оппозиционных групп различного характера, включая и организации ссыльных вроде декабристской «артели» или польского «огула». Это и мемуарно-эпистолярные источники различного происхождения, как опубликованные так и сохранившиеся в рукописной форме. Это газетно-журнальные свидетельства о рассматриваемых событиях, листовки, прокламации, иконографический материал и многое другое.

Едва ли нужно доказывать, что среди источников по истории политической ссылки в Сибири судебно-следственные материалы должны занимать и занимают очень видное место. Это объясняется прежде всего тем, что в царской России любые формы антиправительственной деятельности могли осуществляться только в строго конспиративной форме, а потому подавляющее большинство письменных источников как о самой этой деятельности, так и о репрессиях за участие в них сохранилось в делопроизводстве карательных органов, проводивших следствие, осуществлявших судебную или административную расправу над политическими или государственными «преступниками». Ценность судебно-следственных дел повышается приобщавшимися к ним и зачастую весьма важными для исследователя «вещественными доказательствами», включая программные и агитационно-пропагандистские тексты подпольных организаций, дневники, письма, рукописи их участников.

Об источниковедческой специфике документации российских военно-судебных учреждений еще в 1937 г. писал М. И. Ахун<sup>1</sup>. Настоящая работа, посвященная польской ссылке в Сибири до амнистии 1856 г., ставит перед собой две задачи. Одна из них — дать представление о важней-

ших комплексах судебно-следственных материалов, сохранившихся в советских архивах. Другая задача состоит в том, чтобы на отдельных примерах раскрыть реальное содержание имеющейся документации и определить историко-ведческую ценность важнейших ее разновидностей.

Как известно, к концу XVIII в. польские земли были разделены между тремя соседними державами, причем в Российскую империю была включена центральная часть Польши — Королевство Польское. Борьба польского народа против социального и национального гнета выливалась в более или менее крупные вооруженные выступления в 1794, 1830—1831, 1833, 1846 и 1848 гг. В промежутках между ними возникали существовавшие сравнительно короткое время конспиративные организации. Численность каждой из них не превышала нескольких сот человек, а чаще ограничивалась двузначными цифрами. Каждое вооруженное выступление и почти все конспиративные группы оказывались так или иначе представлены революционерами в сибирской ссылке<sup>2</sup>.

Формы репрессий, а соответственно и положение репрессированных поляков в Сибири были различными. Самыми тяжелыми являлись каторжные работы в крепостях, в рудниках и на заводах. Более легким было «поселение», т. е. пребывание в определенном населенном пункте под строгим надзором полиции или местных властей без права даже временной отлучки и с ограничениями (как правило, очень значительными) в выборе рода занятий. Далее следовало «жительство», отличавшееся от «поселения» относительной свободой передвижения и несравненно большими возможностями заработка; существенным отличием было и то, что у высылаемых «на жительство» обычно сохранялись сословные и имущественные привилегии, тогда как на поселение попадали преимущественно лица, лишённые чинов, званий и всех прав состояния. Особой формой репрессий для поляков, как и для других подданных Российской империи, было «определение» на военную службу в отдаленные гарнизоны, в том числе в сибирские и оренбургские линейные батальоны, в сибирское, уральское, забайкальское и амурское казачьи войска.

Специального учета численности репрессированных поляков не существовало, в связи с этим исследователям приходится оперировать весьма приблизительными цифрами. У польского ученого Михала Яника, основывающегося на мемуарных данных, цифры слишком завышены,

а у С. В. Максимова, использовавшего документальные источники, но далеко не все, слишком занижены<sup>3</sup>. Не имея возможности детально разбирать в данной работе приведенные ими цифры, скажу лишь, что речь идет о нескольких тысячах в период затишья национально-освободительной борьбы на польских землях и о многих десятках тысяч после подавления каждого из крупных выступлений, такого, например, как восстание 1830—1831 г.

Рассмотрение документальных комплексов, которые можно и нужно использовать при изучении польской политической ссылки в Сибири, целесообразно предварить краткими сведениями об учреждениях, где эти материалы создавались.

В рассматриваемое время в Королевстве Польском функционировала Варшавская постоянная следственная по политическим делам комиссия. Задачи ее были во многом аналогичны функциям III отделения, хотя подчинялась комиссия прежде всего наместнику царя И. Ф. Паскевичу, а не А. Х. Бенкендорфу и его преемникам. Богатая документация Варшавской комиссии за 1832—1862 гг., строго засекреченная и почти недоступная исследователям при царизме, по Рижскому мирному договору 1921 г. была передана буржуазной Польше. Там материалы начали изучаться, но вскоре почти полностью погибли в огне второй мировой войны. К счастью для исследователей, документация изготовлялась не в единственном экземпляре. После окончания дознаний и подготовки обвинительного заключения чистовой вариант следственных материалов по наиболее важным делам вместе с вещественными доказательствами передавался в специально создававшиеся военные суды, а дела, решавшиеся административным порядком, попадали в канцелярию наместника и в другие, если не военные, то военизированные инстанции. По конфирмации приговоров наместником в Королевстве Польском, виленским или киевским генерал-губернаторами, а то и лично царем законченные дела становились частью делопроизводства военного ведомства. В настоящее время большинство из них находится в ЦГВИА СССР в фондах полевых аудиториатов Литовского отдельного корпуса (ф. 16 230), Первой армии (ф. 16 233), Варшавского военного округа (ф. 1872) или Генерал-аудиториата военного министерства (ф. 801). Именно поэтому материалы военного ведомства дореволюционной России стали для рассматриваемого периода местом хранения важнейших источников по истории польского общественного движения.



На территории западных губерний для рассмотрения политических дел, значительная часть которых была связана с польским национально-освободительным движением, создавались и подолгу действовали временные следственные комиссии. В Вильно, например, это была Комиссия, по делу Содружества польского народа и связанных с ним оппозиционных групп, Комиссия по «заговорам» 40-х годов, прежде всего Союза «литовской» молодежи (ЦГИА ЛитССР, ф. 1269 и 1268). В юго-западных губерниях аналогичную роль играла Киевская секретная комиссия о тайных обществах 30-х годов, а после ее закрытия соответствующая документация сосредоточивалась в секретной части канцелярии генерал-губернатора (ЦГИА УССР в Киеве, ф. 470; ф. 442, оп. 783—786, 787а, 788а, 789а, 790а, 791а, 792а, 793—800).

Борьба с освободительным движением на тех польских и украинских землях, которые в рассматриваемый период находились под властью Габсбургов, велась главным образом находившимся во Львове Галицийским наместничеством (ЦГИА УССР во Львове, ф. 146) и другими австрийскими учреждениями, в частности Краевым уголовным судом (ф. 152) и Высшим апелляционным судом (ф. 150). Сохранность львовских материалов, полезных для изучения польской ссылки в Сибири, вполне удовлетворительная. Существенным препятствием для их использования является то, что делопроизводство велось на немецком языке и многие из необходимых документов написаны от руки весьма сложной готической скорописью.

В Российской империи большое, во многом определяющее воздействие на следствие и суд оказывали высшие правительственные учреждения, которые сами решали или докладывали царю вопросы, связанные с различными проявлениями революционного и национально-освободительного движений. Применительно к основной территории страны имеется в виду: III отделение (ЦГАОР СССР, ф. 109), министерство внутренних дел (ЦГИА СССР, ф. 1282, 1286 и др.), а отчасти, поскольку участниками движения зачастую была учащаяся молодежь, еще и министерство народного просвещения (ЦГИА СССР, ф. 733). На многих других территориях, в том числе в Царстве Польском, западных губерниях и Сибири, при Николае I очень большую роль играло военное ведомство. Поэтому значительная часть важных дел данной проблематики источников хранится в ЦГВИА СССР в называвшихся уже фондах, а также в делах Канцелярии военного министер-



ства (ф. 1), Инспекторского департамента (ф. 395) и некоторых других фондах.

Конкретный обзор существенных для польской ссылки судебно-следственных документальных комплексов начну с организаций и групп филломатского типа, которые в 20-е годы действовали на территории Литвы и Белоруссии, но состояли преимущественно из польской учащейся молодежи. Расследованиями и определением меры наказания для наиболее активных участников движения занимались местные власти, военное ведомство, министерство просвещения и аппарат великого князя Константина Павловича как наместника царя в Варшаве. Соответственно сохранившиеся материалы следствия и последующая переписка находятся в фондах ЦГИА Литовской ССР (Вильнюс), ЦГИА СССР (Ленинград), ЦГАОР СССР и ЦГВИА СССР (Москва)<sup>4</sup>. Часть филломатов была определена на военную службу в Кавказский корпус, а Т. Зан, Я. Виткевич, А. Сузин и некоторые другие отбывали солдатчину или находились в ссылке на территории тогдашнего Оренбургского края. Определенная генетическая и идейная близость с филломатскими организациями характерна для Общества военных друзей, которое в современной историографии обоснованно считается организацией декабристского типа, имевшей тесные связи с польским освободительным движением<sup>5</sup>. В числе осужденных по этому делу находились М. Рукевич, К. Игельстром, А. Вегелин, которые отбывали ссылку в Восточной Сибири.

Значительная часть наиболее активных участников польского восстания 1830—1831 гг. покинула родные места и образовала так называемую большую эмиграцию, сосредоточенную главным образом во Франции, Англии и Бельгии<sup>6</sup>. Многие тысячи повстанцев, попавших в руки царских властей, прошли через специальные следственные комиссии и военные суды. Карательные органы при этом весьма часто пользовались такими наказаниями, как определение на военную службу в Оренбургский и Сибирский отдельные корпуса, отправка на каторжные работы или поселение в Сибирь<sup>7</sup>. Крупные массивы судебно-следственных материалов об участниках восстания 1830—1831 гг. хранятся в ЦГВИА СССР (Москва), ЦГИА СССР (Ленинград), ЦГИА УССР (Киев). Эти материалы содержат подробные сведения об оказавшихся в сибирской ссылке видных деятелях восстания (например, П. Высоцком, Ф. Вардынском, А. Гжегожевском)<sup>8</sup>, а также о пере-

шедших на сторону повстанцев военнослужащих царской армии<sup>9</sup>.

Ряды польских ссыльных в Сибири получили многочисленное пополнение в 1833 г. в связи с попыткой возобновить вооруженную борьбу за независимость на территории Королевства Польского (так называемая экспедиция Ю. Заливского), а также в связи с приуроченными к тому времени заговорами репрессированных участников недавно окончившегося восстания (Омск, Оренбург, Астрахань). Соответствующие судебно-следственные материалы находятся главным образом в ЦГВИА СССР (Москва), ЦГИА СССР (Ленинград), ЦГИА УССР (Львов), ГА Оренбургской обл.<sup>10</sup> За последнее время эти материалы начали довольно активно вводиться в научный оборот как в советских<sup>11</sup>, так и в польских<sup>12</sup> изданиях.

В 1835—1839 гг. на польских землях, входивших в состав Австрии и России, а также среди польского населения западных губерний Российской империи существовало довольно многочисленное и разветвленное Содружество польского народа. Программа этой конспиративной организации, возглавлявшейся Шимоном Конарским, соединяла в себе задачи воссоздания польского независимого государства со стремлением к весьма радикальным социальным преобразованиям антифеодалного характера<sup>13</sup>. Основная масса документальных источников, в том числе судебно-следственные дела, связанные с «конарщиной», хранятся в советских архивах: по Варшавской организации «свентокшижцев», охватывавшей значительную часть Королевства Польского, в фондах ЦГВИА СССР; по ответвлениям СПН на территории Украины, Литвы и Белоруссии в фондах ЦГИА УССР в Киеве и Львове, а также ЦГИА Литовской ССР в Вильнюсе<sup>14</sup>. Пребывание участников «конарщины» в ссылке отражено в фондах ряда сибирских архивов; краткие обзоры документов, хранящихся в ГА Иркутской обл. и ГА Читинской обл., опубликовали Д. Б. Кацнельсон и Б. С. Шостакович в специальном томе исследований и материалов об СПН, вышедшем в Польше в 1978 г.<sup>15</sup>

Место СПН, разгромленного карательными органами царизма и австрийскими властями в 1839—1841 гг., заняли две довольно крупные конспиративные организации, действовавшие исключительно в границах Королевства Польского. Возникшее на рубеже 1839 и 1840 гг. и разгромленное в июне 1843 г., Демократическое общество было организовано Гервазием Гзовским, Владиславом

Венцковским, Александром Карпиньским, Адамом Гроссом; в 1842—1843 гг. его идейным вождем и фактическим руководителем являлся революционный демократ Эдвард Дембовский, которого иногда не без оснований называют «польским Белинским»<sup>16</sup>. Параллельно с Демократическим обществом, а отчасти и в контакте с ним действовала существовавшая до октября 1844 г. конспиративная организация, которая имела в своих рядах значительную долю крестьян и возглавлялась выходцем из крестьянского сословия ксендзом Петром Сцегенным<sup>17</sup>. Программа и социальный состав указанных организаций отразили ту весьма ощутимую тенденцию к демократизации польского освободительного движения, которая в середине 30-х годов отчетливо обозначалась как на расчлененных польских землях, так и в многочисленной политической эмиграции<sup>18</sup>. Большие и содержательные судебные-следственные дела по обеим организациям находятся в ЦГВИА СССР<sup>19</sup>. Сохранившиеся в них источники за последнее время были использованы для подготовки ряда исследований, а наиболее важные документы удалось опубликовать в одном из томов совместной советско-польской серии «Польское общественное движение и литературная жизнь 30—50-х годов XIX в. Исследования и материалы»<sup>20</sup>. В этом томе опубликованы также специальные обзоры документальных материалов о пребывании репрессированных участников польского освободительного движения в Восточной Сибири — Д. Б. Кацнельсон по ГА Читинской обл., а Б. С. Шостакович по ГА Иркутской обл.<sup>21</sup>

Следующий «пик» репрессий царских властей против польских конспираторов пришелся на 1846 г. Весной того года польская эмиграция при поддержке конспиративных групп, действовавших во всех трех частях разделенной Польши, пыталась организовать вооруженные выступления, которые получили широкий размах лишь на территории вольного города Кракова и в прилегающих к нему районах австрийской Галиции<sup>22</sup>. В Королевстве Польском действиями конспираторов руководил из Варшавы подпольный центр С. Добрича — К. Рупрехта, связанный с полномочным органом Польского демократического общества (ПДП) — «Централизацией», которая находилась в Познанском княжестве. Вопреки намечавшимся планам действия конспираторов имели весьма ограниченный размах. Во-первых, это было неудачное ночное нападение нескольких плохо вооруженных и неопытных молодых людей

(П. Потоцкий, С. Коцишевский, В. Жарский и др.) на уездный город Седльце; во-вторых, организация антиправительственного выступления крестьян и шляхты пограничного Меховского у., которые объединились в отряд, насчитывавший около 200 человек, чтобы под командой Л. Мазараки и А. Венды двинуться на соединение с повстанцами Кракова и Галиции. Большинство судебно-следственных дел, относящихся к перечисленным событиям, а также к довольно многочисленным случаям индивидуальных или групповых побегов польских подданных Российской империи в охваченные восстанием районы, находятся ныне в ЦГВИА и ЦГАОР СССР<sup>23</sup>. Документы этих дел и дел, хранящихся в ЦГИА УССР в Киеве и Львове, ЦГИА Литовской ССР в Вильнюсе, равно как и те материалы о пребывании польских конспираторов в сибирской ссылке, которые находятся в Иркутском и Читинском архивах, предполагается использовать и частично опубликовать в томе уже называвшейся советско-польской серии, посвященном событиям 1846 г. на польских землях.

С этими событиями, с начавшимися в марте 1848 г. революционными выступлениями в ряде европейских стран, тесно связаны генезис и деятельность двух крупных конспиративных организаций, которые как бы замыкают историю польского освободительного движения между восстаниями 1830—1831 и 1863—1864 гг. Первая из них, получившая в историографии название «Организации 1848 года», сложилась в 1847 г. в Варшаве, а затем постепенно охватила своей конспиративной сетью почти все Королевство Польское. Ее создатели и руководители — Эдвард Домашевский, Генрик Краевский, Ромуальд Свежинский — в основном следовали тем демократическим принципам, которые были характерны для конспираторов первой половины 40-х годов. Однако их сильно напугала так называемая «галицийская резня» 1846 г., когда украинские и польские крестьяне Галиции в порыве антифеодальной борьбы не только физически расправились с сотнями польских помещиков, но и задерживали для передачи австрийским властям шляхетских революционеров, призывавших народ к вооруженному выступлению за национальную независимость и социальные преобразования. По этой причине в программе Организации 1848 года ведущее место занял тезис общенационального единения польского народа, во имя достижения которого делались определенные уступки шляхетскому сословию за счет интересов крестьянства<sup>24</sup>. Благополучно пережив несколь-



ко частичных провалов, Организация 1848 года была разгромлена в 1850 г., причем под арестом оказалось более 200 человек. Соответствующие судебные-следственные материалы сохранились в ЦГВИА СССР. Там же находятся и многочисленные дела о связанных с деятельностью Организации побегах поляков — российских подданных, которые стремились принять участие в революционной борьбе на территории Познанского княжества и Венгерского королевства. Содержание этих дел дополняется разнообразной перепиской, хранящейся в ЦГАОР СССР<sup>25</sup>. Названные материалы предполагается использовать и отчасти опубликовать в посвященном данному периоду томе советско-польской серии.

Почти одновременно с Организацией 1848 года, охватившей территорию Королевства Польского, в Вильно и северо-западных губерниях действовало аналогичное по составу и программе тайное общество, которое называлось Союзом литовской молодежи потому, что состояло преимущественно из поляков — уроженцев бывшего Литовского государства, ставшего в свое время составной частью Речи Посполитой. Возглавляли Союз инициаторы его создания братья Александр и Францишек Далевские<sup>26</sup>. Разгром Союза и связанных с ним оппозиционных групп сопровождался в 1849—1850 гг. многочисленными арестами, причем значительное число обвиняемых было сослано в Сибирь: на каторгу — 19 человек, на поселение — 11, на принудительную военную службу — 3. Важнейшие судебные-следственные материалы, связанные с Союзом литовской молодежи, хранятся ныне в ЦГАОР и ЦГВИА СССР, а также в ЦГИА ЛитССР<sup>27</sup>. Не исключено, что и они займут свое место в советско-польской серии, хотя действующим в настоящее время планом издания это не предусматривается.

После всего сказанного можно перейти к характеристике основных разновидностей документов, освещающих историю сибирской ссылки.

Самые минимальные сведения о каторжниках, необходимые людям, занимавшимся их этапированием в Сибирь, и для первичной ориентировки тамошнего начальства, концентрировались в статейном списке, сопровождавшем осужденного до его выхода на поселение. Круг вопросов, освещаемых статейными списками, довольно узок, к тому же текст их изобилует разного рода ошибками, особенно в изложении проступков, послуживших основанием для репрессии. По статейному списку зачастую не только не-



возможно с достаточной точностью установить принадлежность осужденного к какой-либо конспиративной организации, участие его в повстанческом выступлении или иной форме освободительного движения, но трудно идентифицировать личность, ибо фамилии не всегда воспроизводятся правильно, а имена не фиксируются вовсе или даются в русифицированной форме, иногда весьма существенно искажающей первоисточник. Немногим лучше обстоит дело с ежемесячными, третными (по третям года) и ежегодными списками политических и государственных преступников, которые составлялись по линии военного ведомства, министерства внутренних дел и III отделения. Поэтому при освещении соответствующих вопросов в исследованиях о ссылке в Сибири, в том числе польской, очень трудно, иногда просто невозможно обойтись без материалов, судебных-следственных дел, хранящихся, как правило, не в сибирских, а в иных архивохранилищах.

Существенно и то, что в судебных-следственных делах находили отражение важные вопросы, связанные с пребыванием в ссылке, с дальнейшей судьбой репрессированных. Применительно к полякам это объясняется тем, что любой шаг в данной области сибирское начальство и петербургские инстанции тем или иным способом согласовывали с наместником царя в Королевстве Польском, с киевским и виленским генерал-губернаторами. В переписке между названными инстанциями особенно тщательно взвешивались решения относительно возможности возвращения ссылных в родные места (по общей амнистии или по индивидуальным петициям самого репрессированного либо его родственников). В отдельных случаях судебных-следственные дела содержат переписку, датируемую гораздо более поздним временем и касающуюся давным-давно освобожденного ссылного, а то и его детей, даже внуков.

Сказанное вовсе не означает какой-либо дискриминации хранящихся в Сибири источников, их недооценки. Эти источники незаменимы для выяснения точного местопребывания репрессированных лиц в тот или иной момент, условий их жизни, ближайшего окружения, контактов с местным населением, общественно-политической, культурной, хозяйственной деятельности во время пребывания в ссылке. Оптимальным вариантом является, несомненно, одновременное использование как сибирских источников, так и материалов, которые хранятся в иных архивах. Работу можно при этом вести не только в индивидуальной форме, но и коллективно, т. е. путем координации усилий

специалистов, которые тщательно изучают доступные им материалы в соответствии с заранее согласованной общей программой и регулярно делятся с коллегами результатами своих изысканий. Вполне можно считать, что первыми шагами по этому пути являются симпозиумы по истории сибирской ссылки, проведенные в октябре 1982 г. в Новосибирске и в июне 1984 г. в Чите.

Перехожу к характеристике разновидностей судебно-следственной документации.

Ни следственное, ни судебное дело немыслимо без показаний лиц, привлекаемых к следствию или обвиняемых. Следственные показания, как правило, более пространны, они включают ответы на значительное число вопросов самого различного характера. Например, перед руководителем повстанческой экспедиции 1833 г. Ю. Заливским австрийские следователи поставили более 500 вопросов, поэтому нет ничего удивительного, что показания его, хранящиеся во Львове, составляют целых четыре тома. Откровенные показания одного из руководящих деятелей Организации 1848 года, Р. Свежбинского, для Варшавской следственной комиссии, написанные в свободной манере (т. е. без «наводящих» вопросов), займут при публикации около 5 печатных листов. Но есть и совсем лаконичные тексты — всего в 1—2 страницы. Размер показаний зависит не только от осведомленности допрашиваемого, но и от желания (или нежелания) поделиться со следствием известными ему фактами. В судебных делах показания, или «вопросные пункты» (т. е. составленные по форме протокольные записи вопросов и ответов), в подавляющем большинстве случаев гораздо короче, чем на следствии. Это объясняется тем, что суды интересовались не столько существом проступков и их истоками, сколько истолкованием происшедшего с точки зрения той или иной статьи существовавшего законодательства. Исключением являются сравнительно редко встречающиеся показания, которые связаны с отказом от сделанных ранее свидетельств или, наоборот, с желанием сделать новые или дополнительные признания.

Как в российском, так и в австрийском судебно-следственном делопроизводстве рассматриваемого периода подследственные, или подсудимые, могли давать показания на своем родном языке. В Варшаве и Львове подавляющее большинство поляков пользовались этой возможностью, лишь очень редко они прибегали в первом случае к русскому, во втором — к немецкому языкам. В вилен-

ских и киевских судебно-следственных материалах показания на русском языке встречаются гораздо чаще. Почти всегда рядом с польским текстом показаний имеется их перевод на основной язык делопроизводства — русский или немецкий.

Содержание показаний трудно оценить с помощью суждений обобщающего характера. Достоверность показаний колеблется в амплитуде от нулевого, иногда даже «отрицательного» уровня (когда они состоят из разного рода вымыслов) до почти 100-процентной правдивости. Колебания эти зависят от различных факторов, в том числе от квалификации тех, кто вел допрос, от конспиративного опыта и морально-психической устойчивости допрашиваемых, их тактики на следствии и т. д. Весьма распространенный скепсис по поводу достоверности данной разновидности судебно-следственных документов представляется сильно преувеличенным даже тогда, когда мы имеем дело с одним, отдельно взятым показанием. Если же существует более или менее значительный комплекс показаний различных лиц, привлекаемых по одному делу, то создается возможность проверки их достоверности путем сопоставления друг с другом. К этому следует добавить, что исследователи зачастую располагают ныне весьма важными свидетельствами, которых в свое время не имели следствие и суд (более поздние судебно-следственные и иные документы, мемуарные, эпистолярные и некоторые другие источники).

Приведу для иллюстрации два конкретных примера. По делу варшавской организации СПН в 1838 г. был арестован Александр Белинский. Он дал весьма уклончивые показания, следствие не вскрыло всей его конспиративной деятельности, в связи с чем приговор был мягким — ссылка в Сибирь на поселение. Вернувшись на родину по амнистии 1841 г., Белинский стал вскоре активным участником Демократического общества, за что попал на Нерчинскую каторгу. При сопоставлении показания 1838 г. существенно корректируются и дополняются показаниями 1843 г., а последние (тоже не совсем откровенные) — различного рода мемуарными и эпистолярными источниками<sup>28</sup>. Второй пример связан с одним из руководителей СПН, Г. Эренбергом, также побывавшем на Нерчинской каторге, но имеется в виду не его конспиративная деятельность, которая достаточно выясняется судебно-следственным делом, а одна весьма существенная деталь его биографии. Дело в том, что, судя по мемуар-

ным источникам, Г. Эренберг является внебрачным сыном Александра I и Хелены Держановской, выданной замуж за служившего в Варшаве генерал-адъютанта О. И. Раутенштрауха, тогда как новорожденный был объявлен с их согласия, разумеется, сыном варшавского мельника Фердинанда Эренберга и его жены Кристины. Недавно опубликованные показания Г. Эренберга от июля 1838 г. ясно в данный вопрос не внесли: скорее всего, в то время он просто не знал имени своего отца<sup>29</sup>. Однако в ГА Читинской обл. мне удалось обнаружить документ, который хотя косвенно, но достаточно весомо подтверждает версию, принятую в историографии. Речь идет о собственноручном прошении Г. Эренберга управляющему Александровским заводом инженер-капитану Мелехину от 3 июля 1841 г., из которого явствует, что, отбывая наказание, Эренберг переписывался с госпожой фон Раутенштраух и получил от нее денежную помощь<sup>30</sup>. А это можно объяснить только родственными отношениями между ними.

Каждое следственное и каждое судебное дело завершалось составлением сводки обвинительного материала, которая в тогдашнем делопроизводстве называлась «запиской», или «заключением». В основном эти сводки (ныне их именуют «обвинительными заключениями») опирались на показания обвиняемых и свидетелей, протоколы очных ставок, другие находящиеся рядом документы. В «записках» («заклучениях») можно выделить три важнейшие составные части: а) краткая характеристика целей и деятельности соответствующей конспиративной организации или группы; б) формулы обвинения для каждого из лиц, привлекаемых к следствию или суду; в) изложение статей законодательства, в рамках которых предлагается оценивать деяния обвиняемых. Если имеется возможность изучить все документы судебного или следственного дела, то исследователь не имеет права ограничиваться знакомством с более кратким и ясным текстом «записки», или «заклучения». В то же время не следует пренебрегать этими суммарными текстами, ибо они, с одной стороны, дают представление о том, как истолковывались факты карательными органами царизма, с другой — нередко передают содержание некоторых важных документов, которые по тем или иным причинам оказались неприобщенными к делу.

Следственные органы высказывали свое мнение о том, кого из подсудимых следует предать суду, наказать



административным путем или освободить из-под ареста без дальнейших последствий. Наместник царя в Варшаве, генерал-губернаторы в Киеве или Вильнюсе рассматривали это мнение и утверждали с теми или иными коррективами. Военно-судное дело заканчивалось приговором, который также подлежал утверждению наместником, генерал-губернаторами Северо-Западного или Юго-Западного краев, лично царем. Приговоры низшей инстанции были обычно самыми строгими — смертная казнь через расстрел, повешение и даже четвертование — и фигурировали в них весьма часто. После военно-судных комиссий судебно-следственные материалы поступали в надзорную инстанцию — полевой аудиторiat армии (военного округа), где составлялось «определение», включавшее изложение сути дела и мнение о мерах наказания. На этих «определениях» базировались конфирмации наместника или генерал-губернаторов, которые, как правило, сильно смягчали наказания, заменяя, например, смертную казнь каторгой или арестантскими ротами; особенно охотно при Николае I прибегали к зачислению рядовыми в расположенные на окраинах империи Кавказский, Оренбургский, Сибирский отдельные корпуса. Примерно такой же характер имели конфирмации царя, к которому дела поступали через Генерал-аудиторiat вместе с подготовленным там «определением». При такой юридической многоступенчатости очень важно учитывать, что в приговоре суда фиксируется не окончательное, а лишь первое из принимавшихся решений.

Весьма разнородной по содержанию и почти всегда ценной для исследователя частью судебно-следственных материалов являются «приобщаемые к делу» вещественные доказательства. Они включают отобранные при арестах личные документы, письма, дневники, рукописи, карты и другие бумаги, а также запрещенные книги, нелегальные издания, конспиративную документацию разного рода и т. д. Именно среди вещественных доказательств сохранились источники, возникшие в процессе деятельности конспираторов, отражающие их идейно-политические и жизненные позиции в то время, когда они были на свободе, и позволяющие существенно уточнить или дополнить показания, которые давались в ходе следствия и суда.

Одним из примеров в данном случае может служить судебно-следственное дело по организации Петра Сцегенного. Среди «приобщенных» к нему вещественных доказательств имеются автографы связанных с конспиративной



деятельностью писем названного деятеля, эмигрантские издания революционно-пропагандистского характера с пометами участников конспиративной организации, крупномасштабная карта Царства Польского, на которой зафиксированы планы готовившегося восстания. Самое важное, однако, в том, что среди вещественных доказательств оказался целый набор программных и агитационно-пропагандистских текстов Сцегенного в форме маленьких рукописных книжечек, адресованных не только к пенюмшей и разорившейся шляхте, мелким чиновникам, учащейся молодежи, но и к трудовому люду — крестьянам и ремесленникам. Большая часть книжечек, найденных полицией в разных местах, написана рукой Сцегенного. Их тексты неопровержимо свидетельствуют о последовательном демократизме самого Сцегенного и его ближайших соратников. До обнаружения мною полного судебно-следственного дела об участниках организации Сцегенного часть его произведений была известна исследователям в далеко не идеальных жандармских переводах, а остальные — только по названиям. Теперь не только известно местонахождение текста произведений, но и опубликованы их оригиналы<sup>31</sup>.

В качестве второго примера назову два документа, непосредственно связанных с польской ссылкой на территории Забайкалья. Они обнаружены среди вещественных доказательств одного из судебно-следственных дел о повстанцах 1863 г. на Украине. Первый из документов — это протокол заседания тайного общества польских ссыльных (по-польски «Огула»), которое состоялось в Газимуре 19 ноября (1 декабря) 1857 г., второй — текст устава этого общества, принятый в том же Газимуре 10 (22) февраля 1858 г.<sup>32</sup> Эти документы довольно подробно освещают одну из важных и малоизвестных сторон общественной жизни репрессированных поляков, причем освещают изнутри, а не через донесения администрации Нерчинского округа или иных учреждений, которым царизм поручал надзор за ссыльными. Хорошим дополнением к указанным документам могут служить хранящиеся в архивах ПНР материалы аналогичного происхождения. Назову, в частности, вынесенный на Александровском заводе в 1854 г. приговор полюбовного суда польских ссыльных относительно денежных претензий Г. Гзовского к А. Карпиньскому (председатель суда Петр Высоцкий, в числе членов Петр Сцегенный и Францишек Далевский)<sup>33</sup>, а также приходно-расходные книги так называемого «польского дома», сущест-

вовавшего в 40 и 50-х годах на Нерчинском заводе<sup>34</sup>. В совокупности имеющиеся документы открывают определенные возможности, для того чтобы обрисовать положение и жизнь польских ссыльных с достаточной полнотой, а иногда и со значительной степенью детализации<sup>35</sup>.

\* \* \*

Основные выводы, вытекающие из всего сказанного, заключаются в следующем. Изучение сибирской политической ссылки, в том числе польской, требует обращения к источникам самого разнообразного характера. Речь идет прежде всего о различных комплексах архивной документации, хранящихся не только, а иногда и не столько на территории Сибири, сколько в центральных архивах СССР, Украины, Белоруссии и Литвы, а также в некоторых архивохранилищах ПНР. Видное место в имеющейся архивной документации занимают судебно-следственные дела, без знакомства с которыми невозможно с достаточной точностью выяснить, как и за что оказался в ссылке тот или иной деятель польского освободительного движения, чем он занимался после отбытия срока наказания, а также ответить на многие другие важные вопросы. Историк польской ссылки не может основываться ни исключительно на сибирских материалах, ни на документах архивов, расположенных вне пределов Сибири, не говоря уж о мемуаристике и эпистолярных источниках как польских, так и русских. Оптимально плодотворным для исследователя является использование всех названных разновидностей источников, и именно к этому мы должны стремиться, чтобы глубоко и всесторонне воссоздать подлинную историческую действительность.

<sup>1</sup> Ахун М. И. Документальные материалы военно-судебных учреждений царской России как исторический источник.— Архивное дело, 1937, № 1, с. 19—55.

<sup>2</sup> Общую характеристику польской ссылки и библиографию литературы по теме см.: *Djakow W. Udział polaków w badaniach i zagospodarowaniu Syberii w XIX wieku.*— *Przegląd Historyczny*, 1974, N 4, s. 625—648.

<sup>3</sup> *Janik M. Dzieje Polaków na Syberii.* Kraków, 1928. 472 s. *Максимов С. В.* Сибирь и каторга. СПб., 1891: В 3-х ч. 411 с., 367 с., 377 с.

<sup>4</sup> Краткие сведения о деятельности филоматских организаций имеются: *Воронков И. А.* Польские тайные общества в Литве и Белоруссии в конце XVIII и первом тридцатилетии XIX в.— *Ист. зап. М.*, 1957, т. 60, с. 285—302. О пребывании филоматов в оренбургской ссылке

- см.: *Сапаралиев Г. С., Дьяков В. А.* Общественно-политическая деятельность ссыльных поляков в дореволюционном Казахстане. Алмата, 1971 (польский перевод — *Polacy w Kazachstanie w XIX w.* Warszawa, 1982). 252 с. Наиболее важные документальные источники: ЦГИА Лит.ССР, ф. 567, оп. 2, д. 1538, 1547; ф. 378, 00, 1824 г., д. 426; ЦГИА СССР, ф. 733, оп. 62, д. 699; ЦГАОР СССР, ф. 109, 1 эксп., оп. 2, д. 22; ф. 1165, оп. 1, д. 64; оп. 3, д. 34; ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 797, 798, 820, 821; ф. 156, оп. 1, д. 96, 100, 102, 105, 138, 142, 150, 153, 154; ф. 14414, оп. I, д. 174; ф. 16230, оп. 1, д. 530, 531 и др. Значительная часть источников, прежде всего эпистолярных, опубликована в Польше: *Archiwum Filomatów. Kraków*, 1913, cz. 1, t. 1—4; *Kraków*, 1922, cz. 2, t. 1—3; *Archiwum Filomatów. Na zesłaniu. Wrocław*, 1973, T. I. 271 s.
- <sup>5</sup> *Орлова Н. К.* Общество военных друзей в Отдельном Литовском корпусе.— *Вестн. МГУ*, сер. История, 1982, № 1, с. 49—57. Основные следственно-судебные материалы см.: ЦГВИА СССР, ф. 801, оп. 70, 1827 г., д. 45, ч. 1—3; ф. 36, оп. 4, св. 13, д. 29.
- <sup>6</sup> Об этом имеются специальные работы; см., в частности: *Митина Н. П.* Социальный состав участников польского восстания 1830—1831 гг. (по спискам эмигрировавших и скрывшихся от репрессий).— В кн.: *Историко-социологические исследования (на материалах славянских стран)*. М., 1970, с. 169—197.
- <sup>7</sup> О численности и социальном облике повстанцев и помогавших им лиц с территории Литвы, Белоруссии и Украины см.: *Дьяков В. А., Зайцев В. М., Обушенкова Л. А.* Социальный состав участников польского восстания 1830—1831 гг. (по материалам западных губерний Российской империи). *Историко-социологические исследования*, с. 19—168.
- <sup>8</sup> *Дьяков В. А., Кацнельсон Д. Б., Шостакович Б. С.* Петр Высоцкий на сибирской каторге (1835—1856).— *Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в.— февраль 1917 г.)*. Иркутск, 1979, вып. IV, с. 3—30.
- <sup>9</sup> *Бортников А. І.* Участь російських солдатів і офіцерів у польському повстанні 1830—1831 рр.— *Український історичний журнал*, 1962, № 2.
- <sup>10</sup> Судебно-следственные дела о наиболее активных деятелях «заливщины», попавших в руки к царским властям (А. Винницкий, М. Воллович, К. Дзевидский, А. Завиша и др.), см.: ЦГВИА СССР, ф. 16233, оп. 3/29, д. 1—24, 28, 30, 31 и др., о самом Заливском, Г. Дмоховском и других участниках выступления, судимых в Австрии.— ЦГИА УССР, ф. 152, оп. 2, д. 31, т. 1—4; об «Омском деле».— ЦГВИА СССР, ф. 801, оп. 64/5, 1837 г., секр. дела, д. 5, т. 1—12; об Оренбургском заговоре — ГА Оренб. обл., ф. 6, оп. 18, д. 94; заговор в Астрахани — ЦГВИА СССР, ф. 801, оп. 77/18, 3 отд.-е, 1834 г., д. 17, т. 1—5; ЦГИА СССР, ф. 1284, 1834 г., отд.-е I, ст. I, д. 117.
- <sup>11</sup> *Нагаев А. С.* «Омское дело» (1832—1833).— В кн.: *Вопросы историографии и социально-политического развития Сибири (XIX—XX в.)*. Красноярск, 1976, с. 3—40; *Дьяков В. А.* Оренбургский заговор 1833 года.— В кн.: *Освободительное движение в России. Межвузовский сборник*. Саратов, 1977, вып. 6, с. 34—50.
- <sup>12</sup> *Djakoŭ W., Nagajew A.* Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832—1835). Warszawa, 1979, 425 s.; *Spółczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku*. Ossolineum, 1984. Оба издания содержат довольно подробные сведения о пребывании в сибирской ссылке участников данного этапа польского освободительного движения (в последнем издании см. специальные статьи Д. Б. Кацнельсон и Б. С. Шостаковича).

- <sup>13</sup> О программе и деятельности СПН см., в частности: *Смирнов А. Ф.* Революционные связи народов России и Польши. 30—60-е годы XIX века. М., 1962, с. 87—116; *Марахов Г. И.* Деятельность «Содружества польского народа на Правобережной Украине в 1835—1839 гг. (по материалам Киевского архива).— В кн.: Связи революционеров России и Польши XIX—начало XX в. М., 1968, с. 166—193; *Berghauzen J.* Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim. 1833—1850. Warszawa, 1974, 333 s.; *Lopuszański B.* Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835—1841). Geneza i dzieje. Kraków, 1975; *Дьяков В. А.* Организация Содружества польского народа в Королевстве Польском (1835—1838).— В кн.: Stowarzyszenie Ludu Polskiego w Królestwie Polskim. Gustaw Ehrenberg i «świętokrzyżcy». Ossolineum, 1978, s. 11—71; *Борис В. А., Нефедов И. М.* Программные документы Содружества польского народа и другие материалы о его деятельности в ЦГИА УССР во Львове.— Там же, с. 116—147.
- <sup>14</sup> Наиболее важные и содержательные судебно-следственные дела см: ЦГВИА СССР, ф. 801, оп. 90/35, I отд.-е, I ст., 1842 г., д. 7, ч. 1—3; ф. 16233, оп. 3/29, д. 77, ч. 1—7; д. 78, ч. 1—20; д. 80, ч. 1—3; д. 81, ч. 1—12; ЦГИА УССР в Киеве, ф. 470, д. 1—237 и др.; ЦГИА УССР во Львове, ф. 146, оп. 1, д. 1281—1320 и др.; там же, оп. 5, д. 388—409, 558—564 и др.; ЦГИА Литовской ССР, ф. 378 пд, оп. 216, д. 15, 16, 37, 44, 45, 77, 79, 82, 104, 105 и др.; Там же, ф. 439, оп. 1, д. 341—348 и др.; Там же, ф. 1269, оп. 1, д. 1—22.
- <sup>15</sup> *Кацнельсон Д. Б.* Участники варшавской организации СПН на нерчинской каторге (по материалам ГАЧО).— В кн.: Stowarzyszenie Ludu Polskiego, s. 155—158; *Шостакович Б. С.* Участники варшавской организации СПН в Восточной Сибири (по материалам ГАИО). Там же, с. 148—154; *Тимофеева М. Ю.* Политические ссыльные поляки в Восточном Забайкалье.— В кн.: Проблемы краеведения, Чита, 1970, вып. 4, с. 49—52; *Филин М. Д.* Польские революционеры в забайкальской политической ссылке в 30—40-е годы XIX в. (по материалам ГАЧО). Новосибирск, 1983, с. 167—177.
- <sup>16</sup> Об Э. Дембовском см., в частности: *Нарский И. С.* Мировоззрение Э. Дембовского. Из истории польской философии XIX в. М., 1954, 291 с.; *Дьяков В. А.* Эдвард Дембовский: новые материалы о революционной деятельности.— Сов. славяноведение, 1972, № 6, с. 48—57.
- <sup>17</sup> *Дьяков В. А.* Революционная деятельность и мировоззрение Петра Сцегенного (1801—1890 гг.). М., 1972, 330 с.; *Djakow W.* Piotr Sciegienny i jego środowisko. Warszawa, 1972. 530 s.
- <sup>18</sup> *Дьяков В. А.* О социальном облике и классовой сущности польского освободительного движения 30—40-х годов XIX в.— В кн.: Центральная и Юго-Восточная Европа в новое время. М., 1974, с. 62—72.
- <sup>19</sup> Демократическое общество — ЦГВИА СССР, ф. 16233, оп. 3/29, д. 82, ч. 1—4; организация П. Сцегенного — там же, д. 84, ч. 1—10; группа Г. Вокульского — там же, д. 83, ч. 1—3.
- <sup>20</sup> Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840—1845. Edward Dembowski. Ossolineum, 1981, s. 169—720.
- <sup>21</sup> Указ. соч., с. 143—168.
- <sup>22</sup> *Zychowski M.* Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji. Warszawa, 1956.
- <sup>23</sup> Судебно-следственные дела; связанные с перечисленными событиями, см. в ЦГВИА СССР: Нападение на Седльце и группа С. Добрича — К. Рупрехта: ЦГВИА СССР, ф. 16233, оп. 3/29, д. 85, ч. 1—3; там же, д. 86—88, 91; Волнения в Меховском уезде: ЦГВИА СССР, ф. 1873, оп. 1, д. 6; д. 61, ч. 1—6; Там же, ф. 16233, оп. 3/29, д. 93, 94, 97; Прочие дела: ЦГВИА СССР, ф. 1873, оп. 1, д. 7, 12, 14, 16,



- 60; Там же, ф. 16233, оп. 3/39, д. 89—92, 99. Часть следственных материалов и переписка относительно обвинявшихся или навлекших подозрение лицам по всем этим делам находится в ЦГАОР СССР: ф. 109, 1 эксп., 1846, д. 2, ч. 1, 2, 36, 38; там же, д. 36, ч. 1—2; д. 62, ч. 1—6, д. 316, ч. 1—30; там же, д. 52, 94, 101, 199, 212, 223, 273 и др.; там же, ф. 109, с. а., оп. 2, д. 139, 140, 142.
- <sup>24</sup> Истории «Организации 1848 года» посвящено несколько исследований; основные данные о ее деятельности и библиографию см.: *Djakow W. Warszawska organizacja konspiracyjna 1848 roku* (Edward Domaszewski, Henryk Krajewski, Romuald Swierzbinski i inni.—*Kwartalnik Historyczny*, 1976, N 2, s. 353—379.
- <sup>25</sup> Основные судебно-следственные дела — ЦГВИА СССР, ф. 1873, оп. 1, д. 44, ч. 1—5 (Г. Краевский, Р. Свежинский и др.); д. 57 (В. Клопфлейш, Т. Мошинский); д. 10 (Ян Маршанд и другие варшавские ремесленники); д. 79 (С. Можижкий, Б. Хомичевский и др.). Их дополняют материалы ЦГАОР СССР: ф. 109, 1 эксп., 1850 г., д. 62 (об «Организации 1848 года»); там же, 1851, д. 178 (о Нарцизе Жмиховской). Дела о побеге за границу: ЦГВИА СССР, ф. 1873, оп. 1, д. 23—25, 30, 32—43, 45—50, 53, 55, 59, 86, 87 и др.
- <sup>26</sup> Общие сведения о Союзе литовской молодежи см.: *Bujwidówna. Spisek braci Dalewskich. Wilno, 1934; Смирнов А. Ф. Революционные связи народов России и Польши*, с. 117—143.
- <sup>27</sup> ЦГАОР СССР, ф. 109, 1 эксп., 1849 г., д. 119, ч. 1—49 («О заговоре, составленном в Вильно для освобождения Литовских губерний...»); ЦГВИА СССР, ф. 1873, оп. 1, д. 76, ч. 1—3; д. 77, ч. 1—8 (о заговоре в Вильно); Там же, д. 78, ч. 1—8 (о братьях Скажинских); д. 4, 1—2 (Об Юлиане Бокшанском); Там же, ф. 16233, оп. 3/29, 1855 г., д. 48, ч. 1—8 (Об И. Пепе и А. Рениере); ЦГИА Лит. ССР, ф. 1268, оп. 1, д. 1—20 (Об И. Пепе и А. Рениере). Подробнее см. в книге А. Ф. Смирнова «Революционные связи...» (с. 384—391) с учетом, что материалы ЦГВИА СССР там совершенно не использованы.
- <sup>28</sup> «*Stowarzyszenie Ludu Polskiego...*», с. 149—152 и др.
- <sup>29</sup> Там же, с. 227—248.
- <sup>30</sup> ГА Чит. обл., ф. 31, оп. 1, д. 1331, л. 134.
- <sup>31</sup> *Дьяков В. А.* Новые материалы о Петре Сцегенном.—*Сов. славяноведение*, 1968, № 3, с. 30—39; *Он же.* Революционная деятельность и мировоззрение Петра Сцегенного, с. 195—322; *Ten że., Piotr Sciegienny i jego spuścizna*, s. 203—512.
- <sup>32</sup> ГА Хмельницкой обл. УССР, ф. 228, оп. 1, 1863 г., д. 3616, л. 35—43.
- <sup>33</sup> Biblioteka Jagiellońska (Kraków), Wyd. ręk., nr. 7845/IV, k. 49—50.
- <sup>34</sup> Biblioteka im. Ossolińskich (Wrocław), wyd. ręk., nr. 6500, t. 1—4.
- <sup>35</sup> Частичные попытки такого рода зарисовок см., например: *Дьяков В. А.* Польская ссылка эпохи декабризма. Несколько замечаний историографического и источниковедческого характера.—В кн.: *Сибирь и декабристы. Иркутск, 1978, вып. 1, с. 110—123; Он же.* Воспоминания Юлиана Росцишевского — новый источник о пребывании декабристов в Западной Сибири.—В кн.: *Сибирь и декабристы. Иркутск, 1983, вып. 3, с. 102—110.*



**К вопросу о времени создания Организации 1848 года  
в Королевстве Польском**

Детальное изучение идеологии и деятельности конспиративных кружков и организаций, существовавших на польских землях в 30—50-е годы XIX в., необходимо для воссоздания важного этапа истории польского национально-освободительного движения, отмеченного поисками новых путей и средств достижения национальной независимости. Это был период анализа уроков восстания 1830—1831 гг., когда, по образному выражению одного из польских исследователей, «наступила пора переоценки канонов патриотического мышления». Он характеризовался критическим переосмыслением стратегии и тактики национально-освободительного движения, стремлением к расширению его социальной базы, ибо ход восстания и его поражение показали невозможность успешной борьбы за достижение национальных целей без широкого привлечения основной массы населения польских земель — крестьянства. Вопрос о вовлечении в национально-освободительное движение крестьянства при сохранении в нем руководящей роли шляхетства занимал важное место и в теоретических построениях и в практических планах польских патриотических кругов.

Политика царского правительства в Королевстве Польском, репрессии в отношении участников восстания 1830—1831 гг. привели к появлению значительной по численности политической эмиграции, сосредоточившейся прежде всего во Франции, а несколько позднее и в Англии. Эмиграция стремилась объединить и возглавить национально-освободительное движение в целом, в масштабе всех польских земель.

На протяжении всего периода 30—50-х годов борьба за достижение национальной независимости на всей территории разделенной Польши не прекращалась. В частности, в Королевстве Польском, несмотря на суровый политический режим, установившийся после подавления восстания 1830—1831 гг., одна за другой возникали конспиративные организации, ставившие своей целью восстановление независимого польского государства. Это были «свентокшижцы» во главе с Густавом Эренбергом. Их преемницей явилась возникшая в Варшаве и просущест-

вовавшая около четырех лет организация Гервазия Гзовского и Адама Гросса, идеологом которой, а в 1841—1843 гг. и руководителем был выдающийся польский революционный демократ Эдвард Дембовский. Участники организации, уцелевшие после ее разгрома, вошли в состав тайного общества ксендза Петра Сцегенного, центром которого являлся Люблин и которое поддерживало постоянные контакты с Радомом и Кельце. Преемственность в деятельности конспиративных организаций продолжала существовать и в дальнейшем<sup>1</sup>. Однако ужесточение режима, опыт, приобретенный властями в борьбе с революционным движением, «кооперация» царизма с правительствами других государств, в состав которых входили польские земли, создавали положение, при котором все меньше становилось сил, способных вести конспиративную работу. Из целой цепи тайных кружков и обществ, действовавших в Королевстве Польском после восстания, последней по времени оказалась Организация 1848 года. Но этой организации принадлежит особое место, так как она была одной из наиболее крупных в численном отношении, просуществовала длительное время, а главное — охватывала почти всю территорию Королевства Польского. К тому же деятельность ее совпала с периодом подъема общественного движения на польских землях, вызванным революционными событиями в Европе.

Название конспиративной организации — Организация 1848 года — условно, однако оно прочно вошло в историческую литературу, прежде всего благодаря работе польской исследовательницы А. Минковской, специально посвященной истории этой организации<sup>2</sup>. В использованных ею документах Варшавской следственной комиссии эта организация именовалась Организацией 1848 года (по времени первых арестов ее участников), хотя фактически она возникла раньше и продолжала действовать после их арестов. В годы второй мировой войны материалы Варшавской следственной комиссии погибли. Поэтому на протяжении многих лет исследование А. Минковской служило своего рода «первоисточником», ибо в его тексте широко цитировались архивные источники, а в виде приложений были опубликованы фрагменты из показаний некоторых участников организации, рапорты Варшавской следственной комиссии, списки лиц, проходивших по делу организации, составленные на основе архивных документов. Около десяти лет назад в Центральном государственном военно-историческом архиве СССР В. А. Дьяковым

был обнаружен целый комплекс документов, имеющих первостепенное значение для освещения истории польского национально-освободительного движения в 30—50-е годы XIX в., в том числе материалы об Организации 1848 года<sup>3</sup>. На основе этих материалов им была опубликована статья «Варшавская конспиративная организация 1848 года (Эдвард Домашевский, Генрик Краевский, Ромуальд Свежиньский и др.)», носящая обзорный характер<sup>4</sup>.

Вопрос о времени возникновения Организации 1848 года в имеющейся специальной литературе не получил окончательного решения. Между тем этот на первый взгляд весьма формальный вопрос заслуживает особого внимания, так как он важен не только для определения общих хронологических рамок существования организации, выяснения, на протяжении сколь длительного времени ее возглавлял Э. Домашевский, а затем сменивший его Г. Краевский, но и для уяснения ее конкретного места в истории польского освободительного движения 30—50-х годов XIX в. Совершенно очевидно, что обстоятельства возникновения Организации 1848 года, так же как ее идейная направленность и характер деятельности, могут быть изучены и поняты лишь в реальном историческом контексте. Уточнение времени создания организации позволило бы уяснить, как долго она успела просуществовать до начала революционного подъема весной 1848 г., насколько оформилась в организационном и идейном плане и в какой степени могла быть подготовленной к активным действиям в период «весны народов».

А. Минковская, приводя в своем исследовании ряд детальных доказательств, относит возникновение организации к началу 1847 г.<sup>5</sup> Этой же версии придерживается польский историк Я. Бергхаузен. В книге «Патриотическое движение в Королевстве Польском. 1833—1850 гг.» он решительно утверждает («нам определенно известно», пишет он), что в начале 1847 г. «заговор (имеется в виду Организация 1848 года.— Г. М.) уже существовал в Варшаве»<sup>6</sup>. В. А. Дьяков в указанной выше статье, не останавливаясь специально на вопросе о времени возникновения этой конспиративной организации, лишь отмечает, что она была создана во второй половине 1847 г., а ее основатель Эдвард Домашевский умер в 1848 г.<sup>7</sup> Это правильно, но, на наш взгляд, вопрос о времени создания организации ввиду существующих в специальной литературе традиционных ошибок и расхождений требует детального, основанного на имеющихся источниках рассмотрения.

Сведения о Домашевском чрезвычайно скудны и нередко противоречивы. Так, в своем труде «История польской демократии» Б. Лимановский ошибочно писал, что Э. Домашевский, не выдавший тайны в ходе следствия, умер в цитадели<sup>8</sup>. Этот факт был взят им у А. Гиллера, на которого он и ссылаясь<sup>9</sup>. Также ссылаясь на Гиллера, М. Яник в работе по истории польских ссыльных в Сибири отмечал, что одним из инициаторов создания Организации 1848 года был Ян Майоркевич<sup>10</sup>.

Приводя примеры указанных расхождений, следует отметить, что только два автора — А. Минковская и В. А. Дьяков — имели в своем распоряжении документальные первоисточники. И если в статье В. А. Дьякова интересующий нас вопрос не являлся предметом специального рассмотрения, то в работе А. Минковской он освещен весьма детально. Приступая к его рассмотрению, она сделала оговорку, что дата основания организации точному установлению не поддается. Ставя под сомнение достоверность показаний одного из руководящих деятелей организации, Р. Свежбиньского, о ее возникновении в конце 1847 г., А. Минковская пишет, что он мог не знать о более раннем этапе ее существования<sup>11</sup>. Считая, что организация возникла в начале 1847 г., в качестве одного из документальных подтверждений своей точки зрения Минковская привлекает следующий фрагмент из письма известной польской писательницы и общественной деятельницы Н. Жмиховской, которая входила в круг «энтузиасток», содействовавших работе тайного общества: «...был назначен комитет, на протяжении целого года организовывались кружки, но, когда подул сильный ветер революции, кружки эти лишь чуть оживились и стали неосторожнее в своих действиях»<sup>12</sup>. Письмо это было написано много лет спустя после описываемых в нем событий — в 1859 г. Отмечая, что Н. Жмиховская приблизительно указывает протяженность периода — «год», А. Минковская относит возникновение организации к началу 1847 г. Однако, на наш взгляд, можно сделать и другое предположение, что Н. Жмиховская, говоря о кружках, имела в виду не собственно Организацию 1848 года, а вообще различные кружки, возникавшие в Варшаве в середине 1840-х годов (в частности, «энтузиасток», группировавшийся вокруг Анны Скимборович, жены редактора журнала «Пшегленд науковий» Хиполита Скимборовича).

В качестве дополнительного, но очень весомого доказательства в пользу отнесения времени возникновения ор-



ганизации к началу 1847 г. А. Минковская приводит дату смерти ее основателя Эдварда Домашевского — 13 марта 1847 г. Однако дата смерти Э. Домашевского указана А. Минковской неправильно — он умер в марте не 1847 г., а 1848 г. Эта ошибка повлекла неточность и в определении момента возникновения организации и соответственно периода, на протяжении которого ее возглавлял Генрик Краевский: «Со времени смерти Домашевского, то есть с марта 1847 г., до момента его ареста в феврале 1850 г. Г. Краевский руководил союзом»<sup>13</sup>. Ошибка позволяла утверждать, что в состав организации входил Ян Майоркевич, умерший в феврале 1847 г. Следует подчеркнуть, что в публикуемых А. Минковской документальных приложениях неоднократно упоминается о смерти Э. Домашевского в марте 1848 г.; более того, в составленном ею списке членов тайного общества указано, что Домашевский умер в 1848 г. (с. 98, 115, 137 и др.). В другой своей работе, написанной значительно позже, А. Минковская повторяет эту неточность<sup>14</sup>.

Эти даты — возникновения организации в начале 1847 г. и смерти Э. Домашевского в марте 1847 г. — весьма прочно закрепились в исторической литературе. Примером может служить статья о Генрике Краевском, помещенная в «Польском биографическом словаре», в которой отмечается, что он являлся руководителем организации с марта 1847 г.<sup>15</sup> Вошли они также и в советскую историографию. В обобщающем труде «История Польши» об Организации 1848 года, в частности, говорится следующее: «В 1847 г. появилось новое тайное общество, организованное чиновником судебного ведомства Эдвардом Домашевским и возглавляемое после смерти последнего в марте 1847 г. студентом (!) Генриком Краевским»<sup>16</sup>. Неточности справочных изданий и обобщающих трудов оказали влияние на последующие исторические исследования<sup>17</sup>.

Инерция укоренившейся фактической ошибки настолько велика, что даже прямые свидетельства источников отвергаются на основании ранее установившейся традиции. Так, Я. Бергхаузен с уверенностью отрицал приводящиеся в записках Р. Свежбиньского<sup>18</sup> сведения о его встречах с Э. Домашевским осенью 1847 г. и писал, ссылаясь на книгу Минковской: «Р. Свежбиньский ошибочно утверждает, что 29 сентября 1847 г. узнал от Эдварда Домашевского о его попытках основать союз. Домашевский умер 13 марта 1847 г.»<sup>19</sup>. Конечно, записки — специфический вид источника, тем более записки беллетризо-



ванного характера, достоверность их нередко относительна, и они заслуживают самого строгого критического отношения. Однако в данном случае сопоставление «Записок» со всеми фактическими данными, приводимыми в книге А. Минковской, могло бы поставить под сомнение правомерность столь категорично высказанной Я. Бергхаузенем точки зрения.

Документальные материалы, хранящиеся в ЦГВИА СССР, дают основание вполне определенно ответить на вопрос о дате смерти Эдварда Домашевского. Варшавской следственной комиссией был направлен об этом запрос в правительственную комиссию юстиции, где служил Домашевский. В ответ поступило уведомление (сохранился его оригинал), что «Эдуард Александр Домашевский был секретарем и служил в оной постоянно с 15/27 января 1842 г.», а «умер 1/13 марта 1848 г.»<sup>20</sup>. Все сказанное не оставляет сомнений, что попытка использовать дату смерти Э. Домашевского для обоснования времени возникновения Организации 1848 года ранее марта 1847 г. является несостоятельной.

Вопрос о создании Организации 1848 года был тесно связан с планами Польского демократического общества, не оставлявшего своих надежд на проведение общепольского национального восстания. После некоторой растерянности, вызванной подавлением Краковского восстания, и событиями, разыгравшимися в Галиции — «галицийской резней», ПДО вновь предпринимает попытку объединения всех патриотических сил на польских землях, стремясь создать там подчиненные ему конспиративные организации.

Еще в январе 1847 г. на территорию Княжества Познанского был направлен его эмиссар А. Бабиньский, который был захвачен прусскими властями и расстрелян. А. Минковская высказывает предположение, что на смену ему был направлен Ю. Высоцкий<sup>21</sup>.

Во второй половине 1847 г. из Княжества Познанского Домашевским было получено письмо, привезенное Анной Скимборович. Текст этого письма не сохранился, но содержание его дословно приводится в показаниях Р. Свежбиньского. В частности, в нем говорилось: «Зная твой патриотизм ... мы обращаемся к тебе с просьбой, если желаешь и можешь, чтобы ты занялся образованием в Царстве общества ... . В Познанском княжестве уже все готово»<sup>22</sup>. Чем же можно объяснить тот факт, что выбор ПДО пал именно на Домашевского?

По всей вероятности, Э. Домашевский принимал участие в деятельности существовавших ранее в Королевстве Польском конспиративных организаций, хотя прямых, зафиксированных в официальных документах свидетельств, подтверждающих это, не обнаружено. В материалах, опубликованных по «делу П. Сцегенного», фамилия Домашевского без указания имени встречается дважды. Весьма возможно, что в показаниях одного из участников этого тайного общества, Игнация Пюро, служившего писарем исправительного суда в Янове, речь идет именно об Эдварде Домашевском. «Мне кажется, хотя определенно утверждать не могу, от Домашевского я узнал, кто был арестован в Варшаве», — свидетельствовал Пюро о своей встрече с Домашевским в 1844 г., когда он, приехав в Варшаву, зашел к Домашевскому узнать об арестах<sup>23</sup>. Будучи, как и Домашевский, юристом, Пюро, по-видимому, хорошо его знал и доверял ему. Упомянутый факт, на наш взгляд, можно расценивать как свидетельство определенной близости, вероятно даже причастности, Домашевского к «заговору Сцегенного». Еще раз в этом комплексе документов упоминается о Домашевском, который находился в Княжестве Познанском. Комментируя данный фрагмент документа, составители отмечают, что никаких подробностей, о каком именно Домашевском идет речь, в архивных делах не найдено (с. 562, 570). В показаниях участников Организации 1848 года также не встречается сведений ни о поездке Домашевского в Княжество Познанское, ни о каком-либо его родственнике, который бы там находился. Н. Тхожевский во время следствия упомянул лишь о пребывании Домашевского в тюрьме, не сообщив при этом никаких подробностей<sup>24</sup>.

Более детальные свидетельства о конспиративной деятельности Э. Домашевского содержатся в «Заговорах». В частности, в них отмечается, что Домашевский являлся участником трех «конспираций», что он, по его собственным словам, «принадлежал к заговору Сцегенного, но уцелел», имел контакт с Добрычем и Шпадковским, готовившими восстание в 1846 г. в Седльце, в связи с чем подвергся аресту, но вся тяжесть вины легла на его однофамильца Александра Домашевского из Лукова<sup>25</sup>. А. Минковская писала, что Домашевский участвовал в подпольном движении с 1843 г., основываясь на рапорте Варшавской следственной комиссии, в котором говорилось, что один из участников Организации 1848 года, Альфонс Вальтер, сознался, что был принят Э. Домашевским

в тайное общество еще в 1843 г.<sup>26</sup> (понятно, что речь идет еще не об Организации 1848 года). Этот факт также свидетельствует о давней причастности Домашевского к конспиративной деятельности.

Известно, что Домашевский поддерживал контакты с представителями польской демократической эмиграции. Судя по показаниям Г. Краевского, Домашевский, «имея с давнего времени знакомых между выходцами», «писал к ним, а именно: к Дзвонковскому — во Францию, а также к Венгерскому и Данишевскому — в Княжество Познанское»<sup>27</sup>. Поддержанию контактов с участниками польского национально-освободительного движения, находившимися вне пределов Королевства Польского, способствовали многие патриотически настроенные лица, в том числе и «энтузиастки». Еще в середине 1847 г. Н. Жмиховская в письме к своей знакомой, сестре польского помещика в Княжестве Познанском Бибианне Морачевской, упоминала о встрече с Юзефом Высоцким, курировавшим Королевство Польское. В письме Жмиховской он проходит под псевдонимом «Гжегож»<sup>28</sup>.

Факт знакомства Э. Домашевского с А. Скимборович, возглавлявшей кружок «энтузиасток», подтверждается показаниями как Г. Краевского, так и Р. Свежбиньского. По-видимому, знакомство это состоялось достаточно давно. Свежбиньский в своих показаниях, в частности, утверждал: «Домашевский, как сам мне рассказывал, хорошо был знаком со Скимборовичевою»<sup>29</sup>. Тесные контакты с «энтузиастками» поддерживала и жена Домашевского Анна, по мнению некоторых исследователей даже входившая в их число. Нередко появлялся Домашевский и у Рембевских, управляющих домом Скворцова, где также собирались патриотически настроенные лица. Виктория Рембевская принадлежала к числу «энтузиасток». Проходивший по следствию об Организации 1848 года ксендз Ю. Плешовский в своих показаниях отмечал, что в 1847 и 1848 гг. он несколько раз встречал здесь Эдварда Домашевского и трех его сестер, Н. Жмиховскую, одну из ее ближайших подруг, также «энтузиастку», Фаустину Можницкую (сестру члена организации Станислава Можницкого) и др.<sup>30</sup>, т. е. у Рембевских бывали и те, кто впоследствии так или иначе оказался связанным с Организацией 1848 года. Служебное положение Э. Домашевского — чиновник правительственной комиссии юстиции, в ведении которой находились дела польских студентов, направлявшихся на обучение в российские университе-

ты,— давало ему возможность завязывать многочисленны знакомства среди этой группы молодежи. Так, Краевский писал: «...все мы, университетские, должны были знать его, ибо у него были наши дела в комиссии юстиции»<sup>31</sup>.

Эти обстоятельства, по-видимому, были хорошо известны деятелям эмиграции и способствовали тому, что именно Э. Домашевский был выбран на роль руководителя создаваемой в Королевстве Польском конспиративной организации. Письмо, направленное Домашевскому, как свидетельствовал Р. Свежбинский, было адресовано «Гжегожу», а подписано «Эустахий»<sup>32</sup>. При этом он совершенно определенно утверждал, что автором его был Ю. Высоцкий. Г. Краевский в своих показаниях также сообщил, что автором письма являлся «Эустахий», а адресовано оно было «Гжегожу». Упоминая о другом письме, полученном из Княжества Познанского, он еще раз использует эти псевдонимы в таком же порядке<sup>33</sup>. Свежбинский, по его словам, не помнил твердо, каким псевдонимом пользовался Э. Домашевский, а каким — Ю. Высоцкий, но от этого суть дела не меняется.

Особого внимания заслуживает вопрос о времени получения этого письма, содержавшего призыв начать действия по организации тайного общества в Королевстве Польском. На очной ставке со Свежбинским, состоявшейся в ходе следствия, Краевский заявил, что «до октября 1847 г. ни ты, ни я не составили никакого проекта об устройстве общества, и в этом отношении по означенное время не было между нами разговора, и что только в другой половине или, может быть, при конце сего же месяца ты показал мне письмо от какого-то выходца из Герцогства Познанского к какому-то здешнему патриоту, коего содержание, сколь помню, было следующее: что писатель (т. е. писавший его.— Г. М.) изъявлял сожаление о печальном состоянии Царства, ибо происшествия, возникшие в 1846 г., истребили все существовавшие донныне общества; что по этому поводу он обращается к лицу, к коему это писано, как оставшемуся от прежних соучастников и известному по своему патриотизму и [само]пожертвованию»<sup>34</sup>.

После получения письма Э. Домашевский предпринял поиски лиц, которые могли бы составить организационный центр создаваемого конспиративного общества. Он обратился к Г. Краевскому и Р. Свежбинскому, с которыми был знаком с начала 1840-х годов. Домашевский знал их



как людей патриотически настроенных, с большими способностями. К Краевскому Домашевский мог испытывать особое доверие, ибо ему, несомненно, было известно, что во время пребывания в Москве Краевский имел встречу с участниками заговора П. Сцегенного, следовавшими в ссылку в Сибирь. Сам Краевский виделся со Сцегенным, а другой студент-поляк, Станислав Кросницкий, — с Михаэлом Левицким<sup>35</sup>, активным участником организации Сцегенного, приходившимся двоюродным братом жене Домашевского Анне, урожденной Левицкой. Именно к Краевскому, как утверждал на следствии Свежбинский, и обратился прежде всего Домашевский с предложением об организации конспиративного общества (хотя сам Краевский на следствии это отрицал). В свою очередь, Свежбинский, судя по сведениям, приводимым в «Заговорах», уже в 1846 г. занимался конспиративной работой<sup>36</sup>. Как бы ни было, ясно, что Домашевский практически одновременно обратился к Краевскому и Свежбинскому с предложением создать тайное общество. Удобным для ведения работы по его созданию было также и то, что в то время Генрик Краевский, Ромуальд Свежбинский и его брат Марек снимали одну квартиру, и у них часто собирались молодые люди, вели разговоры на самые различные, в том числе и политические, темы, причем у них нередко бывал и Домашевский.

Встреча Э. Домашевского, Г. Краевского и Р. Свежбинского, в ходе которой они договорились начать действия по созданию конспиративной организации, состоялась, судя по источникам, в конце ноября—декабря 1847 г. В «Заговорах» она точно датирована 29 ноября. (Возможно, эта дата вымышлена автором и носит символический характер: 29 ноября — годовщина начала польского национального восстания 1830 г.) В своих показаниях Свежбинский сообщил, что насколько он помнит, разговор состоялся в декабре 1847 г.<sup>37</sup>

В польской исторической литературе неоднократно высказывалась точка зрения, что Организация 1848 года начала складываться в начале 1840-х годов в Москве. Б. Лимановский в «Истории польской демократии» писал, что «Варшавский комитет» (так называет он руководящий центр Организации 1848 года) сложился в Москве из числа приехавшей учиться в университет польской молодежи, а затем был перенесен в Варшаву. Он называет трех руководящих деятелей организации: Генрика Краевского, Ромуальда Свежбинского и Циприана Вонсовича (по-



следнего он также включает в число «московских студентов») <sup>38</sup>. Эта же версия нашла отражение и в «Истории Польши» <sup>39</sup>. Я. Бергхаузен высказал предположение, что к основателям тайного общества принадлежали Эдвард Домашевский, Ян Майоркевич, ксендз Бенвенуто Маньковский и Генрик Краевский <sup>40</sup>.

В недавно опубликованном обобщающем труде польских историков в члены «ядра», т. е. инициативной группы складывавшейся организации, включены следующие лица: «Ядром организации были четыре выпускника Московского университета: Генрик Краевский, Ян Майоркевич, Ромуальд Свежбиньский и Циприан Вонсович» <sup>41</sup>. Далее говорится: «Вернувшись в Варшаву, они установили контакт с существовавшим здесь кружком Эдварда Домашевского, связанного с эмигрантским Польским демократическим обществом» <sup>42</sup>. Однако обращение к архивным материалам по делу Организации 1848 года не дает оснований для подобных утверждений: ни в одном из показаний ее участников не встречается упоминания о существовании какой-либо конспиративной патриотической организации среди польских студентов Московского университета, которая могла бы явиться основой организации, возникшей позднее в Королевстве Польском. Безусловно, пребывание в Москве сыграло важную роль в формировании взглядов будущих участников Организации 1848 года, которые прониклись идеями, волновавшими передовые слои и русского и польского общества, знакомились с запрещенной литературой <sup>43</sup>. Здесь они приобретали и некоторые организационные навыки, чему способствовали участие в кассе взаимной помощи для польских студентов, сбор денежных средств на польскую библиотеку. И то и другое было организовано по инициативе Яна Майоркевича в 1843—1844 г. <sup>44</sup>

Польская студенческая библиотека состояла из двух частей: в первую входили книги, разрешенные царской цензурой, а во вторую — запрещенные.

Будущие руководители Организации 1848 года Р. Свежбиньский и Г. Краевский, учившиеся в Московском университете в одно время, не только не были близкими друзьями, но входили в разные студенческие группировки и отношения между ними были более, чем холодными. Так, Свежбиньский свидетельствовал в своих показаниях: «Когда Краевский, питая нерасположение к одному из товарищей, Ивану Майоркевичу, во время зимы начал над ним насмехаться и распространял о нем худые толки, то

я, живя с Майоркевичем в дружбе, заступился за него, что и было причиной моей ссоры с Краевским, который так на меня озлился за то, что в течение трехлетнего пребывания нашего в Московском университете не говорил со мною ни слова»<sup>45</sup>. О принадлежности Р. Свежбиньского и Г. Краевского к разным студенческим группировкам говорится и в показаниях других участников Организации 1848 года, учившихся вместе с ними в университете. Трудно предположить, что при подобном отношении друг к другу Г. Краевский и Р. Свежбиньский могли вместе войти в то время в конспиративный кружок. Примирение между ними произошло позднее, по возвращении в Варшаву (Свежбиньский вернулся в середине 1845 г., а Краевский — летом 1846 г.). Также представляется маловероятным, что организацию, «сложившуюся» в Москве, при переносе ее в Варшаву возглавил бы «человек со стороны», вряд ли бы оказались возможными переход руководства к Э. Домашевскому, отстранение «московских» лидеров<sup>46</sup>.

О том, что Ян Майоркевич не мог входить в состав Организации 1848 года, так как она возникла уже после его смерти, говорилось выше. Что же касается Циприана Вонсовича, то, как следует из его собственных показаний, с 1838 г. он обучался в Петербургском университете, после окончания которого в 1842 г. возвратился в Королевство Польское. Он был назначен учителем в Сувалки, где и познакомился с Р. Свежбиньским, когда тот «посещал там своих бывших учителей» в 1844 г. Позднее Вонсович получил должность судебного аппликанта в Варшаве и только осенью 1848 г. был принят Свежбиньским в тайное общество<sup>47</sup>. В число руководителей Организации 1848 года он не входил.

Руководство Организации 1848 года составляли Э. Домашевский, Г. Краевский и Р. Свежбиньский. В период становления организации перед ее руководителями встала задача подготовки программного документа и разработки принципов организационного устройства. Домашевский предложил Краевскому написать программу, «политическое кредо» общества, что тот и выполнил. Документ этот назывался «Символ веры», или «Исповедание». Сам Домашевский подготовил «организационные начала» общества. Оба документа не сохранились, но их содержание было почти дословно воспроизведено на следствии Р. Свежбиньским, отличавшимся феноменальной памятью в отношении текстов,

В данной статье не рассматриваются детально вопросы идеологии Организации 1848 года, ее структуры, деятельности и т. д., однако следует сказать об условиях приема в общество, об отношении его руководителей, в частности, к вопросам конспирации, так как это оказывало непосредственное влияние на подбор людей, считавшихся подходящими для конспиративной работы, а тем самым и на численный рост организации. В документе, составленном Домашевским, были тщательно разработаны и оговорены условия и правила приема в создаваемое тайное общество, способы осуществления контактов между его членами, его будущая структура — в целом им предусматривалось строгое соблюдение конспирации. Когда в ходе разговора о создаваемом обществе Р. Свежбиньский спросил Домашевского, почему терпели неудачу прежде существовавшие «заговоры», тот ответил, что, по его мнению, причиной этого было «несохранение тайны»<sup>48</sup>.

В правилах, разработанных Домашевским, определялся следующий порядок приема в члены организации: рекомендуемый нового члена обязан был обратиться за разрешением к руководству организации и, только получив его, рассказать предполагаемому кандидату в члены о существовании тайного общества, познакомить с его целями и задачами, объяснить вступающему в общество его обязанности, способ действий, помочь составить шифр («ключ») для ведения переписки. В частности, Э. Домашевским выдвигалось требование: «Никто из заговорщиков не может знать более двух заговорщиков, а именно того, кто его ввел в заговор, и того, которого он сам принял»<sup>49</sup>. Из этого видно, что организация должна была представлять собой весьма узкий круг заговорщиков. По словам Свежбиньского, Домашевский считал, что «успех общества не зависит от числа, но от качества членов его»<sup>50</sup>.

Имея опыт конспиративной работы и побывав однажды на грани провала, Домашевский настаивал на медленном развитии организации, при строгом соблюдении правил конспирации, на ведении пропаганды в самой осторожной форме, стремясь таким путем сохранить и объединить те патриотические силы в Королевстве Польском, которые оказались бы способными на открытое выступление при возникновении благоприятной ситуации. Свежбиньский же, полагая, что стремление сохранить существование общества в тайне окажется безрезультатным, особенно в Варшаве, где много молодежи, притом

она общительна и болтлива, считал, что «успешность заговора зависит от быстрых действий [...], потому что с протяжением времени слабеет восторженность заговорщиков»<sup>51</sup>. Такое понимание задач общества было рассчитано на энтузиазм, кратковременный патриотический порыв. Позиция Домашевского, предусматривавшая длительную работу по созданию глубоко законспирированной сети организации, представляется более зрелой, более соответствовавшей конкретной расстановке общественных сил, общественно-политической обстановке в целом.

Подготовка программного документа — «Символа веры» и разработка основ организационного устройства общества потребовали определенного времени, и только после обсуждения и согласования программных и организационных положений руководством были начаты действия по вовлечению новых участников. До конца 1847 г., по-видимому, никто в организацию принят не был, во всяком случае, сведений об этом в следственных показаниях не встречается.

Сам Домашевский в январе 1848 г. ввел в организацию чиновника таможенного управления Н. Тхожевского, а Тхожевский в начале февраля — своего близкого знакомого «бывшего ученика реальной гимназии» Вильгельма Клопфлейша, в марте — «частного землемера» Юзефа Вильчиньского<sup>52</sup>.

Понимая, какую важную роль могли играть ксендзы в распространении идей создаваемого общества, в патриотической пропаганде, его руководители стремились вовлечь в его ряды и деятелей духовенства. В частности, Домашевский поручил Свежбиньскому принять в члены конспиративной организации «профессора» (т. е. преподавателя) Варшавской духовной академии ксендза Казимежа Вноровского, что и было сделано в середине февраля 1848 г.<sup>53</sup> А. Минковская, основываясь на показаниях Свежбиньского, включает также в список членов общества как принятого еще при жизни Домашевского и ксендза Юзефа Плешовского<sup>54</sup>. Свежбиньский помнил, что Домашевский намеревался принять какого-то ксендза из духовной семинарии св. Иоанна, фамилию которого сразу восстановить в памяти ему не удалось. Когда же в ходе следствия ему назвали фамилию Плешовского, то Свежбиньский подтвердил, что это был именно он. Однако проведенным расследованием принадлежность Плешовского к Организации 1848 года установлена не была<sup>55</sup>,



Чиновник Варшавского учебного округа Альфонс Вальтер в Организацию 1848 года был введен уже после смерти Домашевского Владыславом Гроховским, а он был принят Н. Тхожевским в начале апреля 1848 г. На следствии Гроховский сообщил: «В половине апреля приказано мне было принять Вальтера»<sup>56</sup>. По-видимому, Вальтер был хорошо известен руководству общества, если — в нарушение установленного порядка — оно сочло возможным дать подобное указание. В сохранившихся архивных материалах сведений о Вальтере очень мало, так как он отказался давать показания, умер же спустя непродолжительное время после ареста.

В период до начала подъема революционных настроений, связанных с «весной народов», что практически совпало со временем смерти основателя Организации 1848 года Эдварда Домашевского, в ее ряды, кроме уже названных, было принято несколько человек. В январе 1848 г. Р. Свежбинский принял архитектора Адольфа Хшановского<sup>57</sup>, которым вскоре был принят архитектор Марцелий Берент, один из наиболее активных членов общества. Берентом был введен в тайное общество Константы Тшасковский, что подтверждается показаниями последнего (Минковская указывает, что это произошло в марте 1848 г.)<sup>58</sup>. К. Тшасковский, в свою очередь, принял связанного с ремесленниками Винцента Михаловского<sup>59</sup>.

Третий член руководства Организации 1848 года, Генрик Краевский, завербовал судебного аппликанта Феликса Щигельского. В своих показаниях, говоря о начальном периоде деятельности организации, Краевский, в частности, упомянул: «Первым действием (членов организации.— Г. М.) было написание прокламаций, статей, инструкций, брошюр и т. д. Этим, сколько мне известно, занимались 5 лиц: Ромуальд и Марек Свежбинские, я, Хшановский и принятый мной на требование братьев Свежбинских Феликс Щигельский»<sup>60</sup>. Судя по цитируемому фрагменту, Марек Свежбинский также входил в состав общества и, по-видимому, был весьма активным его членом. Однако прямых сведений о его членстве не встречается даже в показаниях его брата (сам Марек не мог быть привлечен к следствию — он умер в 1849 г., а организация была полностью раскрыта в начале 1850 г.; А. Минковская в список членов организации его не включает).

Таким образом, к началу общественного подъема весной 1848 г. в организацию входило около десяти человек. Смерть ее основателя и руководителя Эдварда Домашев-



ского была тяжелой потерей для складывавшегося тайного общества. К тому времени, правда, уже были разработаны его основные идейные и организационные принципы. В соответствии с ними деятельность общества была рассчитана на долгие годы, при строгом соблюдении конспирации, при тщательном подборе людей, с ведением возможной в тех условиях демократической и патриотической пропаганды, а также просто просветительской работы, в том числе и прежде всего легальными методами, создание узкого круга «посвященных» и широкого круга «распропагандированных», готовых подняться на вооруженную борьбу в соответствующий момент. Однако ситуация в Королевстве Польском в связи с изменением общественно-политической обстановки в европейском масштабе стала быстро меняться, и руководство Организации 1848 года в лице Г. Краевского и Р. Свежбиньского оказалось поставленным перед решением новых задач: стал в высшей степени актуальным вопрос о проведении общепольского восстания, резко возросла общественная активность прозвещенной части польского общества, прежде всего патриотически настроенной молодежи, а также некоторых городских слоев, в частности низших категорий ремесленников. Организация 1848 года должна была как в идейном плане, так и в организационном отношении приспособляться к новым условиям.

<sup>1</sup> Подробнее см.: *Дьяков В. А.* О социальном облике и классовой сущности польского освободительного движения.— В кн.: Центральная и Юго-Восточная Европа в новое время. М., 1977, с. 62—72.

<sup>2</sup> *Minkowska A.* Organizacja spiskowa 1848 roku w Królestwie Polskim. Warszawa, 1923. 140 s.

<sup>3</sup> *Djakow W. A.* Polski ruch wyzwoleniczy w latach trzydziestych i czterdziestych XIX stulecia.— *Kwartalnik historyczny*, 1977, zes. 4, s. 977—988.

<sup>4</sup> *Djakow W.* Warszawska organizacja konspiracyjna 1848 roku (Edward Domaszewski, Henryk Krajewski, Romuald Swierzbinski i inni).— *Kwartalnik historyczny*, 1976, zes. 2, s. 354—373. Хотя в заглавии статьи несколько сужены географические рамки организации, акцент сделан на местонахождении ее основного ядра — «Варшавская», в самом тексте статьи автор пользуется названием «Организация 1848 года».

<sup>5</sup> *Minkowska A.* Organizacja..., s. 22.

<sup>6</sup> *Berghauzen J.* Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim. 1833—1850. Warszawa, 1974, s. 264.

<sup>7</sup> *Djakow W.* Warszawska organizacja..., s. 365.

<sup>8</sup> *Limanowski B.* Historia demokracji polskiej. Warszawa, 1957, t. 2, s. 245.

<sup>9</sup> *Giller A.* Historia powstania narodu polskiego w 1863—1864 r. Paryż, 1871, t. 2, s. 256.

- <sup>10</sup> Janik M. Polacy na Syberii. Kraków, 1928, s. 266.
- <sup>11</sup> Minkowska A. Organizacja..., s. 21.
- <sup>12</sup> Zmichowska N. Listy, T. I. W kręgu najbliższych. Wrocław, 1957, s. 385. Письма Н. Жмиховской были подготовлены к печати и снабжены подробными комментариями М. Романкувной. А. Минковская ссылалась на более раннее издание.
- <sup>13</sup> Minkowska A. Organizacja..., s. 22, 23.
- <sup>14</sup> Minkowska A. Królestwo Polskie w latach 1844—1848.— In: Wiosna Ludów na ziemiach polskich. Warszawa, 1948, t. 1, s. 379—380.
- <sup>15</sup> Polski słownik biograficzny. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970, t. 15/1, zesz. 64, s. 107—109.
- <sup>16</sup> История Польши. М., 1955, т. II, с. 77. Автор цитируемого текста об «Организации 1848 года» — У. А. Шустер.
- <sup>17</sup> Так, даже в издании 1981 г. «Революционная конспирация в Королевстве Польском в 1840—1845 гг. Эдвард Дембовский» в биосправке о Г. Краевском, помещенной в именном указателе, говорится, что он «после Домашевского в марте 1847 г.» возглавил организацию. См.: Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840—1845. Edward Dembowski. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1981, s. 755. В биосправке же о самом Э. Домашевском дата его смерти указана правильно (s. 735).
- <sup>18</sup> Эти записки анонимны. В исторической литературе утвердилось мнение, что автором их является Р. Свежбинский. Полное название этого источника «Sprzysiężenia pomiędzy rokiem 1839 i 1849, ze wspomnień i opowiadań w roku 1853 opisane» («Заговоры между 1839 и 1849 годом, описанные в 1853 году по воспоминаниям и рассказам». Далее: «Заговоры» — в тексте и «Sprzysiężenia» в сносах); хранится в Ossolineum, oddz. ręk., N 3204. Разговор Свежбинского с Домашевским датируется в источнике 29 ноября 1847 г., а не 29 сентября, как утверждал Берghаузен. (Sprzysiężenia..., ks. 3, s. 1).
- <sup>19</sup> Berghаузен J. Ruch patriotyczny..., s. 267—268.
- <sup>20</sup> Переписка по выяснению вопроса о смерти Э. Домашевского находится в ЦГВИА СССР, ф. 1873, оп. 1, д. 44, л. 959—963 (далее в ссылках на материалы ЦГВИА СССР указываются только номера дел и листов).
- <sup>21</sup> Minkowska A. Organizacja..., s. 21.
- <sup>22</sup> Д. 44, ч. 2, л. 126.
- <sup>23</sup> Rewolucyjna konspiracja..., s. 603.
- <sup>24</sup> Д. 79, ч. 1, л. 222—223.
- <sup>25</sup> Sprzysiężenia..., ks. 3, s. 2—3.
- <sup>26</sup> Minkowska A. Organizacja..., s. 22, 68.
- <sup>27</sup> Д. 44, ч. 2, л. 299 (русский текст), ч. 1, л. 191 (польский).
- <sup>28</sup> Zmichowska N. Listy..., t. I, s. 67.
- <sup>29</sup> Д. 44, ч. 1, л. 12, 915; ч. 3, л. 134.
- <sup>30</sup> Д. 44, ч. 1, л. 915.
- <sup>31</sup> Д. 44, ч. 3, л. 134.
- <sup>32</sup> Д. 44, ч. 1, л. 11.
- <sup>33</sup> Д. 44, ч. 1, л. 215.
- <sup>34</sup> Д. 44, ч. 2, л. 312 об.
- <sup>35</sup> Д. 44, ч. 1, л. 334—335.
- <sup>36</sup> Sprzysiężenia..., ks. 3, s. 11.
- <sup>37</sup> Д. 44, ч. 2, л. 106.
- <sup>38</sup> Limanowski B. Historia demokracji..., s. 146, 147.
- <sup>39</sup> История Польши, т. II, с. 77.
- <sup>40</sup> Berghаузен J. Ruch patriotyczny..., s. 265.

- <sup>41</sup> Przemiany społeczne w Królestwie Polskim. 1815—1865. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1979, s. 440.
- <sup>42</sup> Ibid., s. 441.
- <sup>43</sup> См.: Przegląd historyczny, 1961, t. 3, zesz. 1, s. 43.
- <sup>44</sup> Правда, в «Заговорах», вообще преувеличивающих роль их автора как в жизни польского студенческого «огула» Московского университета, так и в создании «Организации 1848 года», инициативу организации польской библиотеки Р. Свежбинский приписывает себе: это он якобы уговорил Майоркевича обратиться к землякам с призывом сдать все свои книги, из которых сложилась «Польская библиотека в Москве» (Sprzysiężenia..., ks. 2, s. 1—2).
- <sup>45</sup> Д. 44, ч. 2, л. 103. В книге Я. Бергхаузена говорится: «Во время обучения в Москве Майоркевич познакомился с Краевским. Они стали сердечными друзьями» (s. 267). Автор не указывает, на каких источниках базируется его утверждение. Вероятно, все же, что это авторское допущение: включая вслед за Минковской активного и галантливого Майоркевича в руководство организации, он «домысливает» его дружбу с Краевским в годы университетской учебы.
- <sup>46</sup> Для психологической характеристики одного из руководителей «Организации 1848 года», на наш взгляд, небезыntenесен следующий факт, приводимый в «Заговорах»: Р. Свежбинский являлся лицом, ответственным за студенческую польскую библиотеку. Спустя некоторое время после ее создания нашлись желающие сместить его с этой должности. И в этот момент Свежбинский проявил незаурядные организаторские способности, активности и целеустремленности, организовав в короткие сроки сбор подписей среди студентов за то, чтобы остаться на этом месте, собрав при этом более 200 подписей своих сторонников (Sprzysiężenia..., ks. 2, s. 99—100).
- <sup>47</sup> Д. 79, ч. 3, л. 210 об., 219, 223—224.
- <sup>48</sup> Sprzysiężenia..., ks. 3, s. 2.
- <sup>49</sup> Д. 44, ч. 1, л. 175 и об.
- <sup>50</sup> Там же, л. 14 об.
- <sup>51</sup> Там же, л. 19.
- <sup>52</sup> Minkowska A. Organizacja spiskowa..., s. 116—117 (рапорт о показаниях Н. Тхожевского).
- <sup>53</sup> Д. 44, ч. 1, л. 24.
- <sup>54</sup> Minkowska A. Organizacja..., s. 101.
- <sup>55</sup> В сводном рапорте следственной комиссии по делу об «Организации 1848 года» от 12/24 июля 1851 г., представленном наместнику И. Ф. Паскевичу, говорилось: «Насчет принадлежности бывшего профессора духовной семинарии св. Иоанна в Варшаве ксендза Иосифа Плешовского к тайному обществу, нет по делу доказательств» (д. 44, ч. 4, л. 415 об.).
- <sup>56</sup> Д. 44, ч. 2, л. 556.
- <sup>57</sup> Д. 44, ч. 1, л. 22—23.
- <sup>58</sup> Minkowska A. Organizacja..., s. 103. Тшасковский в своих показаниях сообщил, что он действительно был принят в тайное общество Берентом, но в сохранившейся в архивных материалах выписке из его показаний дата вступления не указана (д. 79, ч. 3, л. 313 об.).
- <sup>59</sup> Сам же Михаловский в своих показаниях от 13/25 августа 1848 г. свидетельствовал: «За два или за несколько дней до принятия меня через посредство Тшасковского, или лучше, до Французской революции...» (д. 79, ч. 3, л. 317).
- <sup>60</sup> Д. 44, ч. 1, л. 196.

**Комедии Ю. Шуйского  
как источник по истории Галиции  
70-х годов XIX в.**

С 60-х годов XIX в. Галиция занимала среди польских земель особое место. Наличие административной автономии, провинциального сейма и основных политических свобод создавало широкие возможности для легальной политической деятельности, вело к тому, что роль этой экономически отстававшей провинции в политической жизни польской нации была велика. Политический климат Галиции 1860—1870-х годов представляет в этой связи немалый интерес для историка. Для изучения этого предмета определенную ценность имеет источник, с которым знакомит настоящая статья.

В декабрьском (1872 г.) и январском (1873 г.) номерах «Пшеглэнда польского» — журнала краковских консерваторов, так называемых «станьчиков»<sup>1</sup>, — были опубликованы под общим названием «Галицийские ясли»<sup>2</sup> две пьесы — «Основание газеты» и «Наша автономия». Пьесы были предварены письмом вымышленного помещика, сообщавшего, что они якобы найдены в бумагах его покойного соседа по имению. Действительным же автором пьес был Юзеф Шуйский — ведущий публицист и идеолог молодого поколения краковских консерваторов.

Эти пьесы явно выпадают из общего ряда драматических произведений Шуйского. «Галицийские ясли» не исторические драмы, преобладающие в творчестве Шуйского, а комедии с современным сюжетом. В отличие от других пьес они написаны с целью литературной публикации, о чем свидетельствует данный им изначально подзаголовок «Комедии, не принятые на сцену». Пьесы представляют собой род политического памфлета, продолжающий в творчестве Шуйского линию таких произведений, как «Портреты не-ван-Дейка» (1860—1861) и «Портфель Станьчика» (1869).

В свое время «Портреты...» и особенно «Портфель Станьчика» сыграли заметную роль в политической борьбе в Галиции. Однако попытка совместить решение тактических задач с воссозданием в художественной форме широкой картины политической жизни Галиции, предпринятая авторами «Портфеля Станьчика» (отдельные части

памфлета писал Ю. Шуйский, С. Козьян, С. Тарновский, Л. Водзицкий), в целом оказалась неудачной. Узкие политические цели и особенности избранной в «Портфеле Станьчика» формы — не связанные сюжетом письма различных персонажей — обусловили фрагментарность, упрощенность и статичность изображения.

Опыт «Портфеля Станьчика» Шуйский учел в 1872 г. при написании «Галицийских яслей», когда политическая ситуация заставила «станьчиков» вспомнить об испытанном оружии — политическом памфлете. Франко-прусская война 1870 г., завершившая целую цепь серьезных перемен в Европе, перечеркнула последние надежды на постановку в обозримом будущем польского вопроса как вопроса международной политики. С учетом ситуации в Познанском княжестве и Королевстве Польском положение в Галиции приобретало особое значение, поскольку здесь поляки имели наименее стесненные условия для национального развития. Но именно в начале 1870-х годов завершился период утверждения галицийской автономии, усилилось блокирование восточногалицийскими помещиками «подоляками» в галицийском сейме большинства предложенных краковскими консерваторами реформ. В этих условиях демократические элементы могли воспользоваться зревшим недовольством политикой Вены, прекратившей расширение галицийской автономии, а также политикой консерваторов, не проводивших серьезных преобразований. Перспектива активизации демократического лагеря беспокоила в первую очередь «станьчиков», наиболее чутких к изменениям политической обстановки. Как и в 1869 г., они развернули превентивную пропагандистскую кампанию, составной частью которой явились «Галицийские ясли» Шуйского.

«Галицийские ясли» не стали политическим событием такого масштаба, как «Портфель Станьчика». К тому же демократы извлекли определенные уроки из борьбы против «Портфеля Станьчика» и поняли, что с сатирой трудно полемизировать всерьез, что многочисленные полемические статьи лишь придадут больший вес консервативному памфлету<sup>3</sup>. В результате на «Галицийские ясли» демократическая пресса откликнулась лишь одной язвительной рецензией, демонстративно отказываясь от дискуссии по существу: «Из корня от которого разросся несколько лет назад „Портфель Станьчика“, пробился теперь новый росток. Это „Галицийские ясли“. Галицийскому читателю „Галицийских яслей“ по прочтении не остается ничего



другого, как утопиться в пруду [...] Журналисты и литераторы в „Яслях“ выглядят совсем как фигуры дьяволов, нарисованные в местечковом костеле местечковыми художниками...»<sup>4</sup>.

К решению написать памфлет в драматической форме Шуйского подталкивало, возможно, внимание публики к театру, к ежегодным конкурсам пьес, проводившимся в Кракове. Шуйский сам в тот период активно занимался театром и немало содействовал как автор, переводчик и рецензент тому, что «по удивительному совпадению, как писал „Пшеглэнд польский“, в краткий срок на нашей сцене появилось несколько политических пьес, и вовсе необязательно приятных для демократии и необязательно льстящих господствующим ныне представлениям»<sup>5</sup>. Шуйский не отказывался от даваемых «Портфелем Станьчика» преимуществ, оставлявших автору широкую свободу. Вместе с тем жанр пьесы позволял не только показать типы, но и представить их в определенных отношениях между собой, в действии.

В своем стремлении охватить все стороны галицийской жизни Шуйский оказался перед сложной задачей. В пьесы, действия которых разворачиваются в городе, трудно было вместить проблемы галицийской деревни. Шуйский вышел из положения, сочинив письмо помещика Бончальского, которым тот сопровождал посылаемые в редакцию «Пшеглэнда польского» пьесы своего друга Ремигиуша. Ремигиуш наделен многими чертами самого Шуйского: небогатый, хорошо образованный шляхтич, талантливый учитель, он много повидал, «не из одной печи хлеб едал» (эти слова скажет в посмертных записках о самом Шуйском Л. Дембицкий). Упоминание о заключении Ремигиуша в тюрьму служит намеком на активное участие Шуйского в поддержке восстания 1863 г. Ремигиуш — консерватор. Взгляды его, являющиеся адекватным отражением взглядов самого Шуйского на проблемы деревни, пересказывает помещик Бончальский. Шляхту, говорит Бончальский, Ремигиуш любил, но имел к ней серьезные претензии, упрекая в эгоистической ограниченности. «Он лишь рукой махал на тех, кто, оставляя родной угол, пускал деньги в игру на бирже, кто представлялся либералом в салонах, лишь бы не трогать пропинацию (винную монополию помещиков.— А. М.), не говорить о единой гмине или не участвовать больше прежнего в строительстве дорог и закладке школ»<sup>6</sup>.

В этой филиппике — почти полный реестр вопросов, по которым краковские консерваторы — сторонники реформ

расходились во взглядах с большинством шляхты, особенно восточногалицийской. Станьчики призывали помещиков отказаться за выкуп от пропинации как от отжившего явления, служившего источником конфликтов с крестьянством, а также согласиться на объединение в одну административную единицу помещичьего фольварка и крестьянской гмины, с тем чтобы, неся наряду с крестьянством расходы по устройству школ и дорог, решая совместно вопросы самоуправления, помещик сумел завоевать доверие крестьян, подчинил их своему влиянию. «Подоляки» блокировали любые попытки реформ в этом направлении, так как опасались, что в восточной Галиции объединенная гмина станет ареной национальной и классово-борьбы украинских крестьян против польских землевладельцев. Настороженно относились к проектам реформ «станьчиков» и западногалицийские помещики.

Одной из сторон в этом столкновении выступал теоретически зрелый консерватизм в трактовке Шуйского, писавшего в статье «Галицийский сейм»: «Отказ от инициативы в общественных реформах, хотя бы и соединенных с трудностями, жертвами, даже ошибками, лишает [...] консерватизм того, к чему он всегда должен стремиться, — лидерства в обществе [...] Условием сохранения главенства является осознание действительных интересов общества, удовлетворение их»<sup>7</sup>. Такой позиции противостоял консерватизм примитивный, прямолинейный, выраженный в формуле лидера «подоляков» К. Грохольского: «Пусть будет так, как было». В самом начале памфлета таким образом завязалась одна из основных конфликтных линий — между направлением «станьчиков» и большинством помещиков.

Письмо Бончальского подробно рассказывало об отношениях Ремигиуша с крестьянством, представляя их неким эталоном осознания и выполнения помещиком своей миссии: панибратства он не допускает, но заботится о крестьянах неподдельно, он для них врач, учитель, советчик в хозяйстве; особое внимание обращает он на завоевание доверия крестьян, а потому ругает соседей-помещиков, не посещающих костел: «Вы хотите быть в добрых отношениях с народом, а единственное поле, на котором вы с ним встречаетесь, оставляете в стороне»<sup>8</sup>. Главная мысль письма: крестьяне — «все наше будущее, если только старшие братья сумеют им воспользоваться». Этой задачей укрепления своего влияния на крестьянство шляхта, по мнению Шуйского, в большинстве своем пренебрегала.

Сюжет играет подчиненную роль в «Галицийских яслях», поэтому при анализе главное внимание целесообразно уделить отдельным образам, типам или группам персонажей. Шуйский сам сделал на этом акцент. В письме Бончальского есть замечание, которое призвано подсказать читателю принцип подхода к «Галицийским яслям»: «Если точность схваченного типа (как говорил пан Ремигиуш) основана на том, чтобы он наводил на мысль о многих знакомых, а часто и о себе самом, то типов в комедиях пана Ремигиуша хватает»<sup>9</sup>.

Наиболее яркая фигура в обеих пьесах пан Конрад. В первой пьесе «Основание газеты» он появляется начинающим политиком, которому протезирует богатый патриархальный помещик пан Бонаventura, делающий Конрада редактором основываемой им газеты «Маятник». В «Нашей автономии» мы видим Конрада уже полновластным хозяином «Маятника», манипулирующим общественным мнением, подбирающимся к высотам власти. Вместе с Конрадом к типу новых буржуазных политиков принадлежит и адвокат Популярневич из «Нашей автономии», стремящийся занять место президента городского магистрата. Общих черт у них много, главная — абсолютная беспринципность. Популярневич, принимая очередную делегацию избирателей, начинает с привычных славословий демократии, но, не встретив поддержки, кончает здравицей консерватизму. Приятели же Конрада вообще не могут угадать, кого из кандидатов в бургомистры поддержит тот наутро в своей газете. Стимул в политической деятельности у них также общий — деньги. Но если Популярневич изображается карикатурно, то Конрада Шуйский отчасти демонизирует. Он единственный из отрицательных персонажей, кто не высмеивается в памфлете; Шуйский не смеется над ним, он его боится. Конрад не ограниченный буржуа, озабоченный выколачиванием барыша, а идеолог нового устройства общества, общества борьбы каждого с каждым, или, как любил писать «Пшеглэнд польский», общества, где «сила прежде права». Конрад как бы олицетворяет те новые законы, новые идеи, которые несет капитализм. Он воплощение силы, которая грозит разрушить и уже разрушает все прежние устои, отношения, иерархию, мораль. Поражения, которые Конрад терпит по воле автора, выглядят лишь временными неудачами. Конрад чувствует себя уверенно: все новое, что появляется в жизни галицийского общества, говорит о его будущем триумфе.

У Конрада есть свой литературный прототип. Об этом, как и возникновении сюжетного замысла в целом, говорит рецензия Шуйского на постановку «Тартюфа» в краковском театре: «Если кому-нибудь пришло бы в голову перенести тип Мольера в наши условия, то он мог бы оставить Оргона, превратив его в шляхтича, спасающего отечество или изобретающего новую финансовую систему, а Тартюфа представить молодым гением с сомнительным прошлым, который, потакая проектам буйной головы его благородия, мог бы [...] подбивать клинья под единственную дочку с большим приданым»<sup>10</sup>. Это и есть сюжетная завязка «Галицийских яслей».

Конрад — отрицательный полюс пьес, сознательный оппонент «станьчиков» во второй конфликтной линии памфлета, в противостоянии краковского консерватизма буржуазным, либеральным тенденциям развития общества. Наряду с Популярневичем к этому полюсу близок пан Томаш. Но если пад Популярневичем, а вместе с ним над всем многочисленным племенем галицийских либеральных адвокатов-политиков Шуйский смеялся несколько снисходительно, то пана Томаша презирал крайне остро. Причина в том, что пан Томаш — отступник. Он появляется в «Основании газеты» как член аристократического лагеря. Не получив поддержки своего круга в стремлении пробиться в сейм и использовать ранг депутата для получения железнодорожных концессий, пан Томаш находит новых союзников в лагере Конрада.

Злой сатирой на демократическую и либеральную галицийскую прессу является сцена, где пан Томаш заказывает Конраду статью против своих обидчиков<sup>11</sup>. Пан Томаш олицетворяет тот тип «графа-демократа», который вызывал особую неприязнь Ремигиуша<sup>12</sup>. Эволюция пана Томаша есть постепенный отход от традиций аристократии ради политической карьеры, а в конечном счете ради денег, ведь политика все больше становится прибыльным занятием. Граф Томаш — продукт воздействия буржуазных тенденций на наиболее податливые слои магнатства — оплота старого общества. Низшую точку падения пана Томаша Шуйский видит в его попытке использовать в своих целях замужество дочери. В зависимости от ситуации пан Томаш многократно меняет выбор между двумя претендентами, но в обоих случаях это мезальянс дочери графа либо с Конрадом в расчете на его политическую поддержку, либо с сыном богатого фабриканта Кляйна. Сам же факт мезальянса выступает в комедиях Шуйского как

обычное явление. Все браки в «Галицийских яслях», состоявшиеся и несостоявшиеся, одобряемые и осуждаемые Шуйским, — мезальянсы.

Полюс, противопоставленный Конраду, занимают «станьчики» — целая группа персонажей, в основном аристократов. Наиболее яркие фигуры среди них — граф Феликс, глава лагеря и профессор истории Бурчимуха, занимающий пост бургомистра и во многом напоминающий многолетнего краковского бургомистра консерватора Ю. Дитля. (Шуйский нередко наделяет своих персонажей чертами реальных политиков. Так, у пана Томаша есть порой сходство с кн. А. Сапегой, Популяревич многим напоминает М. Зыбликевича, а граф Виктор — Ст. Козьмяна.) В отличие от остальных персонажей консерваторы характеризуются в пьесах по преимуществу с внешней стороны. Они показаны главным образом в контактах с представителями иных групп и слоев, и Шуйский настойчиво подчеркивает наличие у них как бы второго, более глубокого уровня понимания обсуждаемых проблем. Политическая кухня «станьчиков» остается тайной. Шуйский не мог, не сбиваясь на откровенную идеализацию, показать, как «станьчики» «чистыми руками» успешно борются со своими противниками, не гнушающимися грязными приемами. Поэтому политическая деятельность «станьчиков» осталась вне действия пьес, победа на выборах приходит к ним либо без видимых усилий, либо в результате междоусобицы их противников. «Станьчики» выступают в «Галицийских яслях» как некие естественные обладатели политического «рацио», хранители общественных ценностей. Их занятие политикой — это долг перед обществом, поэтому Шуйский показывает, что политическая деятельность их тяготит, они не имеют и не ищут от нее выгод. Они принуждены к политической активности, потому что некому передоверить эту миссию<sup>13</sup>.

В построении образов Шуйский порой обращается к прямолинейным противопоставлениям: Популяревич запускает дела своих клиентов ради борьбы за пост президента магистрата, а Бурчимуха в президентском кабинете тоскует по архивам и разысканным им древним документам. Последний чувствует себя и своих коллег наследниками того «старого поколения, у которого в глубине души всегда есть особый культ, называемый культом общественного блага...»<sup>14</sup>. Для образа «станьчиков», как рисует их Шуйский, очень характерна фраза графа Феликса, обращенная к молодому транжире графу Эдмунду, о том,



что «ни один грош не является лишь собственностью», а накладывает на своего владельца и обязанности перед обществом<sup>15</sup>.

В целом же все отношения и конфликты «Галицийских яслей» имеют своей основой деньги. Даже в тех редких случаях, когда это не так, окружающие подозревают денежный интерес. Но деньги не только главная цель, побудительный мотив действий персонажей, они еще и сила. В этом отношении знаменателен образ крупного фабриканта Кляйна. Его достаточно примитивное политическое сознание сводится к одному убеждению: купить можно все, и политика не исключение. Даже графский титул, а его обладателей в пьесах немало, уже мало весит в политическом плане, не будучи подкрепленным солидным доходом. Кляйну недоступны различные политические тонкости, и Шуйского раздражают пока еще дилетантские попытки фабриканта самостоятельно соваться в политику. Однако деловитость Кляйна, его основательность и некоторая патриархальность нарисованы не без симпатии. Этот представитель промышленной буржуазии явно противопоставлен разного рода биржевым спекулянтам, которым у Шуйского нет снисхождения. Игру на бирже Шуйский представляет общей болезнью, она как бы символизирует разлагающее влияние венского либерализма, являвшегося для галицийских консерваторов главным политическим противником. На бирже играют пан Томаш, Популярневич, бесстыдным мошенником представлен приехавший в Галицию венский делец. Если вспомнить, что такой видный политик, как Ф. Смолька, в 1863 г. пытался покончить жизнь самоубийством, проиграв на бирже деньги своих клиентов<sup>16</sup>, позиция Шуйского станет понятной, тем более что на венскую биржу утекали деньги, которые могли быть вложены в экономику Галиции.

Фабрикант Кляйн принадлежит уже к той многочисленной группе персонажей, которые помещены Шуйским между двумя полюсами. В большинстве своем это безынициативное болото, но роль его в развитии главной идеи памфлета велика. Вся эта масса персонажей тяготеет к тому или иному полюсу. Небольшая группировка, которую можно назвать клиентелой «станьчиков», политически беспомощна, наивна, ненадежна в смысле исполнительности и дисциплины и представляет собой не столько опору для «станьчиков», сколько объект опеки. Остальные персонажи «станьчикам» враждебны. При всем разнообразии социального происхождения, образования, рода за-

нятий они объединены приверженностью демократической фразе, враждебностью аристократии. Чаще всего за филиппиками в адрес аристократии скрывается забота о вполне конкретных личных интересах. Так, о засилии аристократии кричит торговка, которой Бурчимуха не разрешил держать в городе поросенка, сапожник, которого оштрафовали за некачественное выполнение заказа, и т. п.<sup>17</sup>

Для многочисленного в пьесах племени журналистов пресса не поле заботы об общественном благе и пропаганды своих взглядов, а источник дохода. Шуйский считает, что газета как предприятие, которое должно приносить прибыль (а именно так старается поставить дело новая либеральная пресса), не может играть положительной роли, поскольку неизбежно сбивается на бульварность и не способна говорить читателю неприятную правду.

В группе противников консерваторов, не считая Конрада и пана Томаша, все типы схожи — это либо пустые фразеры, либо мелкие мошенники, либо политические карьеристы незначительного масштаба. Шуйский преуспел в стремлении показать их ничтожность, говорить об особенностях того или иного персонажа трудно. Лишь одна фигура здесь привлекает особое внимание — Анципорович, «городской политик, усы а ля Смолька, нос красный», так представлен он в списке действующих лиц. Значение персонажу придает тот факт, что он ветеран восстания 1830—1831 гг. Анципорович не способен к какой-либо полезной деятельности и пытается жить на дивиденды со своего повстанческого прошлого. Его карикатурное изображение является прямым продолжением усилий «Портфеля Станьчика» и других произведений краковских консерваторов, направленных против романтического культа, героизации участников конспирации и восстаний. Шуйский показывает, что повстанческое прошлое Анципоровича не вызывает пиетета и у политиков-демократов, пытающихся лишь использовать его в роли «свадебного генерала». Отношение к Анципоровичу «станьчиков», которые отказывают ему в привилегиях, но корректны и не пытаются использовать его в собственных политических целях, должно представляться читателю более привлекательным.

Шуйский таким образом рассчитывается с повстанческой традицией, которая присутствовала отчасти в его ранних работах. Если вскоре после восстания 1863 г. он в ходе полемики с П. Попелем оправдывал участие в восстании как изначально недостойном деле тезисом о необходимости предотвратить развитие зла приходом в движе-

ние достойных людей<sup>18</sup>, то как бы завершением этого спора служит диалог из «Галицийских яслей», где на реплику Бздужиньского о том, что лучше нейтрализовать возможные глупости присоединением порядочных людей, Бурчимуха отвечал: «Если бы порядочные люди не присоединялись к глупостям, давно бы уже глупостей у нас не было»<sup>19</sup>.

Из знакомства с теми персонажами, которыми населено пространство между полюсами «Галицийских яслей» — Конрадом и «станьчиками», ясно видно, что весь этот человеческий материал вполне пригоден для Конрада, чья задача не сознательное созидание, не сохранение, а разрушение прежних структур. «Станьчики» же удерживают политическое преобладание за счет поддержки землевладельческой шляхты, и именно отношения с ней являются для Шуйского наиболее весомым элементом оценки галицийской ситуации. Но целостного портрета помещиков в пьесах нет. То, что мы узнаем из письма Бончальского и знакомства с паном Бонавентурой, можно свести к следующему: «станьчики» недовольны шляхтой, шляхта не доверяет «станьчикам». Механизм этого явления вскрывает граф Феликс: «Ничего нельзя у нас делать, не получишь поддержки для далеко идущего предприятия; самое большее, что возможно, — временно помешать злу, которому радикально никогда путь не закроешь [...] Такое большинство меня не радует, потому что идет за нами только из-за бессилия, только из охранительного инстинкта, идет потому, что видит в нас людей, борющихся за его интересы, поддерживающих [...] запретительную систему. Чтобы эта система давала плоды, нужна работа, движение, нужно умение работать, потому что без этого с каждой минутой уменьшается число тех, кого она должна защищать. Нужны реформы — а разве это большинство согласится на реформы? [...] Это большинство повернется против нас, лишь только заговоришь об отмене пропинации или объединения гмины»<sup>20</sup>.

Эта реплика ключевая для «Галицийских яслей». Ее значение сразу становится ясным при сопоставлении со словами Шуйского в его работе «Галицийский сейм»: «Консерватизм, переходя к обороне, теряет господствующие позиции [...] Гибельным может быть только одно: излишнее стремление к защите неверными средствами ложно понятых сословных интересов»<sup>21</sup>. Так, разрешение одного из конфликтов «Галицийских яслей», т. е. отношений «станьчиков» с теми консерваторами, которые

отрицали необходимость реформ, предопределяет не в пьесах, но в жизни исход борьбы с силами, олицетворяемыми Конрадом, который пророчил: «Природа! Ты создана в польском шляхтиче шедевр своего каприза [...] Сгинет это племя [...] Нет жалости для глупости, хотя бы и прекраснейшей, и за средними веками, трубадурами, отпавишься и ты, удивительнейший из исторических уродов...»<sup>22</sup>.

Так, в 1872 г., всего через пять лет после того, как в споре с идеологом «старого» поколения краковских консерваторов П. Попелем Шуйский с молодым запалом упрекал оппонента в неверии в успех «явной искренней политики» реформ, он сам в немалой мере уже растерял свой оптимизм. Столкновение с реальной расстановкой сил привело Шуйского к серьезным сомнениям относительно возможности для консерваторов направлять и контролировать реформы. Близорукость Шуйского в 1867 г. состояла не в недооценке сил противников, которых он видел в сторонниках либеральных и социалистических учений, а в переоценке собственных сил «станьчиков», точнее, той поддержки, которую он рассчитывал получить для своей программы. Консерваторы-реформисты имели шансы на успех лишь в том случае, если бы их поддержало большинство землевладельческой шляхты, т. е. господствующего класса, чьи позиции оказались под угрозой. Шуйский рассчитывал на создание новой, несословной элиты, соответствующей изменившимся условиям. (Открытость этой элиты была важна для Шуйского как залог ее стабильности). Составив ее большинство, землевладельческая шляхта должна была, по мысли Шуйского, обеспечить преемственность по отношению к прежней, шляхетской элите и одновременно отказаться от тех своих привилегий, которые были анахронизмами. Именно здесь Шуйского и его коллег ждало наибольшее разочарование. Даже в 70-е годы XIX в., после того как в Габсбургской монархии и других странах Центральной Европы завершился в основном период буржуазных реформ, шляхта в подавляющем большинстве не была готова откликнуться на призыв «станьчиков» научиться платить своевременным отказом от феодальных привилегий за сохранение политического преобладания в новых, капиталистических условиях. Большинство помещиков не были готовы к перестройке своей экономической деятельности таким образом, чтобы в изменившихся условиях сохранить роль хозяина земли, хранителя традиций шляхетской культуры и лидера в отно-



шении крестьянства. Те немногие, кто решался на перестройку, видели выход в переброске средств в другие отрасли взамен сельского хозяйства.

Низкий политический уровень шляхты затруднял и использование уже имевшихся в рамках автономии возможностей для развития Галиции. Интересы дела приносились в жертву личным политическим амбициям, консервативной программе «органического труда» не хватало кадров. Именно упреком шляхте как ведущему слою в неспособности организовать на должном уровне самоуправление заканчивает Шуйский «Галицийские ясли».

Шуйскому была ясна вся опасность этой ситуации для будущего «станьчигов». Он ни разу не высказал открыто глубоких сомнений в достижимости главных целей своей программы, но в «Галицийских яслях» был ближе всего к этому. Пьесы представляют собой, таким образом, наиболее искреннее выражение взглядов Шуйского-политика, чтение их делает понятными последние слова умирающего Шуйского: «Плохо дело с нами», — обращенные к коллегам по политической борьбе, многие из которых занимали ведущие посты в Галиции.

Эмоциональное, обостренно личное восприятие Шуйским моральных и психологических проблем, возникавших в ходе дифференциации шляхты, ослабления аристократии и становления, отчасти путем трансформации самой шляхты, нового буржуазного класса, сделало описание им социальных процессов ценным документом эпохи. «Галицийские ясли» как бы взгляд изнутри на социальную и политическую жизнь Галиции 70-х годов прошлого века. Шуйский честен в своей субъективности, одностороннее освещение им галицийской жизни хотя и оставляет немало теней, в то же время четко обрисовывает высветленную картину. Этот портрет Галиции начала 1870-х годов, созданный с наблюдательностью, художественным даром и прекрасным знанием предмета, может много открыть внимательному взгляду.

<sup>1</sup> Группа галицийских консервативных деятелей — Ю. Шуйский, С. Тарновский, С. Козьян, Л. Водзицкий — получила имя «станьчигов» после опубликования в 1869 г. совместно сочиненного ими памфлета «Портфель Станьчика» (Станьчик — королевский шут в конце XIV—XVI в.).

<sup>2</sup> В польском языке слово «jaselka» означает колыбель, ясли, в которых лежал младенец Христос, а также рождественские театрализованные представления. Шуйский употребил это слово в обоих значениях.



- <sup>3</sup> Немного численность откликов в прессе на «Галицийские ясли» и привела, возможно, к тому, что пьесы не привлекли специального внимания исследователей, а между тем «Галицийские ясли», по всей видимости, имели успех, не случайно Тарновский вскоре после их публикации написал новую пьесу-памфлет «Прогулка по Галиции».
- <sup>4</sup> *Gazeta Narodowa*, 1872, 15.XII, N 344.
- <sup>5</sup> *Przegląd Polski*, 1873, XII, s. 532.
- <sup>6</sup> *Ibid.*, 1872, VI, s. 370.
- <sup>7</sup> *Szujski J. Seim Galicyjski*, 1875.—*Dzieła*. Kraków, 1894, ser. 3, t. 3, s. 48.
- <sup>8</sup> *Przegląd Polski*, 1872, VI, s. 369.
- <sup>9</sup> *Ibid.*, s. 371.
- <sup>10</sup> *Ibid.*, XII, s. 297.
- <sup>11</sup> *Ibid.*, VI, s. 427—428.
- <sup>12</sup> *Ibid.*, s. 370.
- <sup>13</sup> *Ibid.*, 1873, VII, s. 100.
- <sup>14</sup> *Ibid.*, s. 112.
- <sup>15</sup> *Ibid.*, 1872, VI, s. 408.
- <sup>16</sup> Львовский обл. гос. архив, ф. 350, оп. 1, т. 1, д. 1844.
- <sup>17</sup> Примечательно, что среди многочисленных представителей городских низов в пьесах нет рабочих, они даже не упоминаются. В Галиции в 70-е годы XIX в. пролетариат лишь начинал формироваться.
- <sup>18</sup> *Szujski J. O broszurze p. Pawła Popiela*.—*Dzieła*. Kraków, 1894, ser. 3, t. 3.
- <sup>19</sup> *Przegląd Polski*, 1873, VII, s. 101.
- <sup>20</sup> *Ibid.*, 1872, VI, s. 400.
- <sup>21</sup> *Szujski J. Dzieła...*, ser. 3, t. 3, s. 48—49.
- <sup>22</sup> *Przegląd Polski*, 1872, VI, s. 390—391.

*Е. А. Хелимский*

### **Г. Ф. Миллер и венгерская этимологическая традиция**

Известно, что вопрос о составе и границах индоевропейской языковой семьи еще и в первые десятилетия XIX в. оставался не вполне решенным: некоторые ошибочные представления на этот счет присутствуют, например, в работах классика раннего сравнительного языкознания Ф. Боппа. Как это ни парадоксально, но в финно-угроведении, которое впоследствии сильно отстало в своем развитии от индоевропеистики, соответствующие фундаментальные результаты были достигнуты много раньше. Уже около 1697 г. Г. В. Лейбницу и его сподвижникам был известен факт родства финского, эстонского, ливского, лапландского (саамского), пермского (коми), мордовского, венгерского, остяцкого (хантыйского) и самоедского (ненецкого) языков<sup>1</sup>. Отдельные лакуны в этом перечне — черемисский (марийский), вогульский (мансийский), прочие, помимо ненецкого, самодийские языки — были безошибочно устранены в вышедшем в 1730 г. труде Ф. И. Страленберга, который также проиллюстрировал постулируемое родство отдельными, очень немногочисленными, лексическими сопоставлениями<sup>2</sup>. Отмечу, что в работах некоторых ранних исследователей уральских языков присутствует, хотя, конечно, не в такой четкой и афористичной форме, как у Вильяма Джонса<sup>3</sup>, осознание языкового родства как результата дивергентного развития единого языка-предка.

Вне всякого сомнения, идея уральского («бореориентального», «скифского») языкового родства была известна выдающемуся историографу Герарду Фридриху Миллеру (Mueller, 1705—1783), фактическому руководителю сухопутного отряда Второй Камчатской (она же Первая Академическая, она же Великая Северная) экспедиции в 1733—1743 гг. Среди многочисленных задач экспедиции самого Миллера наряду с историко-архивоведческой рабо-

той больше всего привлекало изучение языков и этнографии народов Поволжья, Приуралья и Сибири<sup>4</sup>. Результатом явилось, в частности, составление нескольких десятков словников для подавляющего большинства языков и диалектов данного региона. Каждый из них включает около 300 слов из круга «базисной» лексики, собранных путем перевода стандартного входного списка, и в качестве дополнения отдельные топонимы, этнонимы и термины традиционной материальной и духовной культуры. Большинство таких словников, хранящихся в Центральном государственном архиве древних актов (Москва) и Архиве АН СССР (Ленинград), написаны рукой самого Миллера, причем несут на себе неоспоримые признаки первичных полевых материалов (исправления и вставки, которые могли появиться только в ходе непосредственного опроса информантов)<sup>5</sup>. В них использована одна и та же система фонетической записи на немецкой орфографической основе, для своего времени очень точная<sup>6</sup>. Наряду с этими первичными списками в архивах имеется значительное число отредактированных и нередко сокращенных (за счет дополнений) копий, а также сводных словников по группам родственных или ареально близких языков. Нет нужды говорить о непреходящей значимости словарных записей Миллера; достаточно упомянуть, что для некоторых языков и диалектов (например, пумпокольского енисейской семьи и тайгйского самодийской группы) эти первые памятники их письменной фиксации являются и, увы, навсегда останутся единственными.

Сведенный воедино лингвистический материал Второй Камчатской экспедиции послужил основой для «Вокабулярия, содержащего по триста слов тридцати четырех народов, в основном из Сибирского региона»<sup>7</sup>. Он был составлен в 1763 г. Йоганном Эберхардом Фишером (1697—1771), участником экспедиции на заключительном этапе ее работы (с 1739 г.; в Сибири оставался до 1747 г.) а затем в Петербурге постоянным помощником, преемником (по части написания «Сибирской истории») и соперником Миллера, получившим от последнего по настоянию Академии материалы экспедиционного архива<sup>8</sup>. Факт вторичности «Вокабулярия» Фишера в его собственно лексикографической, а не этимологической части по отношению к оригинальным записям Миллера давно известен<sup>9</sup>. К сожалению, он не отмечался или недостаточно подчеркивался зарубежными исследователями, работавшими с гёттингенской копией «Вокабулярия», а не с многочисленными

его первоисточниками, более полными и лишенными некоторых ошибок и искажений<sup>10</sup>. Справедливость требует признать, что именно Миллеру финно-угроведение второй половины XVIII — первой половины XIX в. обязано наиболее известными и широко использовавшимися словарными данными об уральских языках России — это бывает не всегда очевидно для читателей (и авторов) работ по истории финно-угроведения этого периода.

Однако Миллер был не только лингвистом-полевиком, собирателем словарного материала. Лингвистический материал широко привлекался им в ряде работ по истории и этнографии народов Российской империи. Для развития финно-угроведения особенно важными оказались результаты, полученные им в области этимологического изучения венгерской лексики. Именно Миллер (или Миллер и вслед за ним Фишер, но не один только Фишер, как принято считать) стоял у истоков традиции параллельного сопоставления венгерского языка с другими уральскими и с тюркскими языками<sup>11</sup>. Повод к такому утверждению дает небольшая и ранее, насколько мне известно, не публиковавшаяся рукопись, хранящаяся в ЦГАДА (ф. 199, оп. 2, № 513, д. 25, л. 1—4)<sup>12</sup>. Приводим ее полный текст на языках оригинала с сохранением всех орфографических особенностей. Пояснительная вставка, сделанная при публикации, заключена в квадратные скобки. Прочтение немецко-латинской скорописи XVIII в., которой написаны рукопись (за вычетом языковых форм, обычно выведенных каллиграфически), было несколько затруднительным, но, надеюсь, это не повлекло искажений в воспроизводимом тексте.

Рукопись не озаглавлена, не подписана и не датирована. Первый из этих пробелов, впрочем, полностью восполняется заголовками к отдельным ее разделам — «Сходство венгерского с остяцким и вогульским языками» и т. п. вплоть до «Сходство между венгерским и татарским языками». Отсутствие подписи также не создает проблем, так как почерк автора без малейших колебаний отождествляется с известным по сотням других рукописей почерком Г. Ф. Миллера<sup>13</sup>, а наличие ряда вставок (например, слова «in einigen Dialecten *tü*, auch *tün*» в первой строке перечня самоедско-венгерских сопоставлений) и исправлений, сделанных той же рукой, убеждает в том, что перед нами авторский оригинал, а не копия и не выписка из сочинения какого-либо другого лица.

Сложнее обстоит дело с датировкой. Здесь я могу опереться лишь на косвенные данные: рукопись заведомо не могла

Aehnlichkeit der Ungarischen mit der Ostiackischen  
u. Wogulischen Sprache

Aqua	Ostiack.: } Wogul.: }	<u>uit</u>	Ungar.: viz
glacies		jank, jenk	jeg
lacus		tu	to
lapis		keu, koch	kö
aufum		sorni, sarni	arany
mater		anke, angu	anya
dominus		urt, ort	ur
oculus		scham, sem	szem
auris		pel, pil	ful
lingua		njelm, njälem	nyelv
manus		köt, ket	kez
digitus		lui, loi, joi	ui
pectus		magl, mögil, mël	mely
cor		schim, sem	szu, sziv
culter		ketsche, kötsche	kes
sagitta		njäl, njöl, njol	nyil
equus		lu, lau, lo, loch	lo
anser		lunt, lont	lud
ouum		morg, mungi, mock, moch	mony
vehi		mennen, minnen	menni
ruber		wür, würte	veres
calidus		melek, mö!lek, meleng	meleg
siccus		sarym, serum	szaraz

Die Ungarischen Zahlen haben einige wenige Aehnlichkeit  
mit den Zahlen der Tschussowischen Wogulen

Aehnlichkeit der Permischen u. Sirjanischen mit  
der Ungarischen Sprache

Lacus Permisch	tu	Ungarisch	to
argentum	jösis, isisch		ezüst
filium	pi		fiu
femoralîa	gatsch		gatya
butyrum	wi, wuy		vai
sal	sol		so
vehi	munni		menni



Wörter in der Samojedischen und Ungarischen Sprache  
die überein kommen

Ignis Samojej.	<i>tu</i>	Hung.	<i>tüz</i>	in einigen [Samoj.] Dialecten <i>tü</i> , auch <i>tün</i>
lacus	<i>to</i>		<i>to</i>	
pater			<i>apa</i>	Taiginzisch <i>abjdda</i> , Camasisch <i>aba</i>
dominus	<i>jeru</i>		<i>ur</i>	
pilus	<i>tar, tor</i>		<i>szor</i>	
oculus			<i>szem</i>	Tawgisch <i>séme</i> , Tai- ginz. <i>schimeda</i> , Ca- masisch: <i>saima</i>
cor	<i>sei</i>		<i>szu</i>	Tawgisch: <i>soa</i>
alce	{ <i>chabur'a</i> <i>gaborta</i>		<i>javor</i>	allein das Samoje- disch bedeutet soviel als <i>das mit den Oh- ren schüttelt</i>
piscis	<i>chala, challe</i>		<i>hal</i>	
ouum			<i>mony</i>	Mangas. <i>mona</i> , Tu- ruch. <i>monna</i> , Tawgi <i>mona</i> , Camasinzi <i>mu- ni</i>
magnus			<i>ö:eg</i>	Obdor.: <i>arka</i> , Jurak.: <i>njarka</i> , Tomsk. Ost.: <i>uarga</i> , Narim: <i>uarke</i> , Taiginzi: <i>orgo</i> , Cama- sinzi: <i>uruga</i>
humidus			<i>nedwes</i>	Turuch. <i>nudáwe</i>
vivus	<i>jille</i>		<i>elo, eleven</i>	

Diese Aehnlichkeit ist aus meinem ganzen Vocabulario  
welcher aus beynähe 300 Wörtern besteht, ausgelesen. All-  
übrige Wörter und auch die Zahlen, sind ganz u. gar untei-  
schieden.

Aehnlichkeit der Morduanischen u. Ungarischen Sprache

	Morduan.	Ungar.
Coelum	<i>menil</i>	<i>menni</i>
nix	<i>lo</i>	<i>ho</i>
nox	<i>wei</i>	<i>ei</i>
mensis	<i>ko</i>	<i>ho, holnap, honap</i>
aqua	<i>wied</i>	<i>viz</i>
lapis	<i>kjaw</i>	<i>kö</i>

<i>pilus</i>	<i>scher</i>	<i>szor capillus</i>
<i>barba</i>	<i>sakal</i>	<i>szakal</i>
<i>oculus</i>	<i>ssjelm</i>	<i>szem</i>
<i>lingua</i>	<i>kjel</i>	<i>njelv</i>
<i>mentum</i>	<i>ula</i>	<i>all</i>
<i>manus</i>	<i>kjed</i>	<i>kez</i>
<i>cor</i>	<i>ssiedeï</i>	<i>sziv</i>
<i>pagus</i>	<i>wä'ä</i>	<i>falv</i>
<i>sagitta</i>	<i>nall</i>	<i>nyil</i>
<i>lupus</i>	<i>wjarges</i>	<i>farkas</i>
<i>piscis</i>	<i>kâl</i>	<i>hal</i>
<i>butyrum</i>	<i>wai</i>	<i>vai</i>
<i>siligo</i>	<i>ross</i>	<i>roz</i>
<i>coeruleus</i>	<i>sjän</i>	<i>szinü</i>

‘Aehnlichkeit zwischen der Ungarischen und  
Tatarischen Sprache

<i>Ventus</i>	Tat. <i>sil, schil, sjöl</i>	Ungar. <i>szel</i>
<i>mare</i>	<i>tengys</i>	<i>tenger</i>
<i>puteus</i>	<i>kuduk</i>	<i>kut</i>
<i>pater</i>	<i>ata, aba</i>	<i>atia, apa</i>
<i>mater</i>	<i>inai, inä</i>	<i>anya</i>
<i>maritus</i>	<i>ir, er, eri</i>	<i>feri</i>
<i>barba</i>	<i>sakal, sachal</i>	<i>szakall</i>
<i>mensa</i>		<i>asztal</i> Baschk.: <i>ustel</i> Teleut.: <i>óstel</i>
<i>traha</i>	<i>tzanna, tschana</i>	<i>szan</i>
<i>aries</i>	<i>kotschkar, kutscha</i>	<i>kos</i>
<i>gallina</i>	<i>tauuk, tauk</i>	<i>tyuk, tik</i>
<i>triticum</i>	<i>budai</i>	<i>buza</i>
<i>hordeum</i>	<i>arba, arpa</i>	<i>arpa</i>
<i>coeruleus</i>	<i>kok, kuk</i>	<i>kek</i>
<i>flauus</i>	<i>sara</i>	<i>sarga</i>
<i>paruus</i>	<i>kitschi, kitschu</i>	<i>kitschi, kis</i>
<i>humilis</i>	<i>alascha</i>	<i>alazatos, ala'sony</i>
<i>sero</i>	<i>kitz, ketsch</i>	<i>kesön</i>

быть создана ранее 1734 г., когда Миллер впервые попал в ходе экспедиции в Западную Сибирь и мог составить использованные им в сопоставительных целях самодийские и обско-угорские словники, и позднее 1756 г., когда в Академию было представлено исследование Фишера «О происхождении венгров» (см. ниже). Вероятнее всего, штудии Миллера в области венгерской этимологии относятся или к периоду пребывания

в Сибири (до 1743 г.),<sup>14</sup> или к первым годам по возвращении в Петербург (1743—1749), когда, судя по данным автобиографии<sup>14</sup>, центральное место в его исследованиях занимали вопросы языковых связей и этнической истории народов Сибири. Впоследствии к этим проблемам Миллер практически не возвращался.

Сопоставляемые венгерские слова почерпнуты Миллером из 300-словного «Vocabularium Hungaricum» (ЦГАДА, ф. 199, оп. 2, № 513, д. 16), составленного на основе латинско-венгерского словаря Париза Папая<sup>15</sup>. Ввиду недоступности словаря мне не удалось установить, восходят ли некоторые орфографические непоследовательности (pedwes вместо pedves 'влажный', elo вместо élb 'живой' и др.) непосредственно к первоисточнику или привнесены при переписке; во всяком случае, написания венгерских слов в обеих рукописях (д. 25 и 16) совпадают. Источниками данных по обско-угорским, коми, самодийским, мордовскому, тюркским языкам явились рукописные словники, о которых речь шла выше.

В целом Миллер приводит 82 этимологических сопоставления для 62 венгерских слов (корней). Из их числа правильными (или, во всяком случае, принятыми и в современных этимологических словарях венгерского языка<sup>16</sup>) являются 55 сопоставлений для 41 венгерского слова. Вот перечень этих слов (в современной венгерской орфографии); áll 'подбородок', ágra 'ячмень', búza 'пшеница', éj 'ночь', él 'жить', ezüst 'серебро', fiú 'сын', fül 'ухо', hal 'рыба', hó 'месяц', jég 'лед', kék 'синий', kés 'нож', későn 'поздно', kéz 'рука', kő 'камень', kicsi, kis 'маленький', kos 'баран', kút 'колодец', ló 'лошадь', lúd 'гусь', meleg 'теплый', mell 'грудь', menni 'идти', menny 'небо', tojny 'яйцо', nyelv 'язык', nyíl 'стрела' sárga 'желтый', szakáll 'борода', szágaz 'сухой', szél 'ветер', szem 'глаз', szív 'сердце', tenger 'море', tó 'озеро', tyúk 'курица', ujj 'палец', vaj 'масло', víz 'вода', vörös 'красный'.

Еще в шести случаях сопоставления Миллера вполне корректны постольку, поскольку сравниваемые слова действительно связаны между собой этимологически, однако связь эта опосредованная, поэтому для полной правильности этимологиям недостает ссылок на промежуточные звенья. Ср.: венг. *arany* 'золото' < иранск. (авест. *zaranya*) // об.-угор. *sorni*, *sarni* < коми *zarñi* < иран.; венг. *asztal* 'стол' < слав. *stolъ* // башк. *ustel*, телеут. *óstol* < русск.; венг. *gatya* 'штаны' < < схрв. *gâće*, словен. *gâča* < слав. *gatja* // коми *gatsch* < рус. диал. *gâчи* < слав.; венг. *rozs* 'рожь' < слав. *rъžь* // морд. *ross* < рус.; венг. *szakáll* 'борода' < тюрк. *sakal* // морд. *sa-*

*kal* < тюрк.; венг. *szán* 'сани' < слав. *sani* // тюрк. *tzanna*, *tschanna* (тюркское и славянское слова, наряду со сходными названиями саней в некоторых финно-угорских языках, обычно рассматриваются как древний восточноевропейский миграционный культурный термин<sup>17</sup>).

В пяти случаях венгерские имена родства (*anya* 'мать', *apa* и *atyá* 'отец') сопоставлены Миллером со словами, которые, подобно им, являются образованиями на основе детской речи, хотя и не состоят с ними в прямой этимологической связи. Показательно, что те же сопоставления упоминаются (как аналогии) и в современных этимологических словарях венгерского языка<sup>18</sup>.

Нельзя, по-видимому, считать заведомо ошибочными два сопоставления, в этих словарях не принимаемые: 1) венг. *férj* 'муж' с тюрк. *ir*, *er*, *eri*; 2) венг. *pedves* 'влажный' с энец. *puđawe*. 14 сопоставлений для 12 венгерских слов ошибочны. Отмечу, впрочем, что по меньшей мере пять из этих ошибок (сопоставления для *alacsony* 'низкий'; *só* 'соль'; *szőg* 'волос', *tűz* 'огонь', *úr* 'господин') встречались не только у Миллера, но и в этимологической литературе конца прошлого и даже начала нашего века<sup>19</sup>.

Как можно видеть из этого анализа, доля правильных и почти правильных сближений в этимологических заметках Миллера чрезвычайно велика. Особенно удачны венгерско-обско-угорские и венгерско-коми сравнения (ошибки допущены всего в двух случаях из 23 и в одном случае из 7).

Если обратиться к этимологическим разделам трудов Фишера, написанных и опубликованных в 1750-х и 1760-х гг.: «О происхождении венгров»<sup>20</sup>, «Сибирской истории»<sup>21</sup>, «Вокабулария», то трудно не увидеть их сходства с приведенной выше рукописью Миллера и избавиться от ощущения, что она выглядит как предварительный набросок этих разделов. Общая схема ее построения почти полностью повторена в «Сибирской истории», где мы последовательно находим сопоставления венгерских слов с тождественными по значению словами других финно-угорских (S. 162—165), тюркских (S. 167—168), самодийских (S. 168—169) и в заключение енисейских языков (S. 170; эта группа сопоставлений — единственная, которой нет в рукописи Миллера, — у Фишера очень коротка и неудачна, что неудивительно, так как делается попытка сравнения языков неродственных и не имевших контактных связей). Несколько иные принципы подачи материала, свидетельствующего о внешних связях венгерского языка, использованы в двух других трудах Фишера, причем в «Вокабуларии» предлагаются этимологические сопоставления для 158 венгерских

слов — в два с половиной раза больше, чем в рукописи Миллера<sup>22</sup>. Общий метод выявления лексических сходжений — последовательное сличение 300-словных списков для каждой пары сравниваемых языков — у Миллера и у Фишера совпадает. В то же время сами по себе сравнения Фишера лишь отчасти дублируют сравнения Миллера: так, при 23 венгерско-обско-угорских этимологиях в приведенной выше рукописи и 20 венгерско-мансийских этимологиях в исследовании «О происхождении венгров» общими являются только 7; при 19 венгерско-тюркских этимологиях у Миллера и 23 в той же работе Фишера совпадают 12 из них.

Такое соотношение между рукописью Миллера и трудами Фишера получает, как мне кажется, наиболее естественное объяснение, если предполагать, что Фишер как помощник Миллера в 1740-х годов, почерпнул от него или сформировал в общении с ним свои общие представления о внешних связях венгерского языка, о принципах выявления этих связей и, возможно, свой основной вывод о венгерском этно- и глоттогенезе<sup>23</sup>. Это явилось стимулом, побудившим его к дальнейшим, и во многом весьма успешным, этимологическим и этногенетическим изысканиям<sup>24</sup>, тогда как для Миллера, уже в начале 1750-х годов в значительной мере отошедшего от лингвистической и этнографической проблематики, штудии по венгерской этимологии явились лишь небольшим эпизодом научной биографии. Можно, кроме того, предполагать, что конкретных этимологических разработок Миллера в распоряжении Фишера не было, и он провел соответствующие изыскания самостоятельно (разве что существовали несохранившиеся или пока не выявленные рукописи Миллера, по количеству и составу венгерских этимологий отличающиеся от приведенной выше рукописи; но никаких фактических оснований для такого допущения у нас нет).

На высказанное предположение о зависимости трудов Фишера по венгерской этимологии от идей и этимологических набросков Миллера указывает и все то, что известно о научной деятельности Фишера в целом — деятельности, которая носила во многом вторичный, компилятивный характер. Так, уже упоминавшаяся «Сибирская история» — наиболее значительная работа Фишера — родилась на основе материалов Миллера после того, как последний был фактически отстранен Академией от составления более фундаментального труда по той же теме<sup>25</sup>. Работа «О происхождении молдавцев, об их языке, знатнейших приключениях, вере, нравах и поведении», опубликованная в «Месяцеслове историческом на 1770 год», представляет



собой сокращенное изложение написанного на латинском языке и остававшегося в то время в рукописи сочинения Дмитрия Кантемира «Историческое, географическое и политическое описание Молдавии»<sup>26</sup>.

То, что Фишер не упоминает имени Миллера — ни в связи с включенными в его «Вокабуларий» словарями, ни в связи с вопросами венгерской этимологии, вряд ли удивительно с учетом достаточно сложных взаимоотношений между этими двумя учеными. Любопытна аналогия из того же XVIII в. и из той же области науки: труд Страленберга (о нем шла речь выше) не содержит никаких упоминаний имени Д. Г. Мессершмидта, чьим помощником Сталенберг был во время путешествия по Сибири и которым, судя по всему, собран материал по языкам Сибири, вошедший в этот труд. На это обстоятельство обратил внимание Дж. Крюгер, что дало ему основания для сдержанности в оценке лингвистических достижений Страленберга<sup>27</sup>.

Как бы то ни было, нельзя отрицать, что именно труды Фишера непосредственно оказали определяющее влияние на большинство авторов, касавшихся в конце XVIII — начале XIX в. проблем финно-угорского родства и происхождения венгерского языка. Сопоставительный лингвистический материал и выводы Фишера обильно цитировал А. Л. Шлёцер в своей «Всеобщей северной истории»<sup>28</sup>, что содействовало широкому распространению правильных в своей основе представлений о венгерском этногенезе<sup>29</sup>. Известная работа Ш. Дьярмати, посвященная обоснованию финно-угорского языкового родства<sup>30</sup>, в своей этимологической части почти целиком опирается на почерпнутые у Фишера сопоставления, причем в ней, как и у Фишера (и у Миллера), сравнения венгерских слов со словами других финно-угорских языков дополняются венгерско-тюркскими сравнениями. В целом названные и ряд других исследований образуют единую и чрезвычайно важную для истории венгерского и финно-угорского языкознания научную традицию в сфере этимологии. Сказанное выше позволяет констатировать, что не только своими словарными собраниями, но и первыми шагами их этимологической обработки Г. Ф. Миллер — отчасти вслед за Ф. И. Страленбергом — внес решающий вклад в становление этой традиции.

- <sup>1</sup> *Zsirai M. Finnugor rokonságunk.* Budapest, 1937, 482 old.
- <sup>2</sup> *Strahlenberg Ph. J. von. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia.* Stockholm, 1730. Фототипическое переиздание: Szeged, 1975 (*Studia Uralo-Altaica*; VIII), 433 S.
- <sup>3</sup> *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980, с. 18—19.
- <sup>4</sup> Об этом периоде деятельности Миллера см.: *Косвен М. О.* Этнографические результаты Великой Северной экспедиции 1733—1743 гг.— В кн.: Тр. Ин-та этнографии АН СССР, 1961, т. 64, с. 167—212 (особ. 176—194).
- <sup>5</sup> Исключение составляют словники языков Восточной Сибири, которыми Миллер непосредственно не занимался.
- <sup>6</sup> *Хелимский Е. А.* Лексикографические материалы XVIII — начала XIX в. по саяно-самодийским языкам.— В кн.: Языки и топонимия. Томск, вып. VI, с. 50 и сл.
- <sup>7</sup> «*Vocabularium continens trecenta vocabula triginta quatuor gentium, maxime ex parte Sibiricarum.*». Имеются две копии данной рукописи: гёттингенская (*Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek*, 4° Cod. Ms. philol. 261) и ленинградская (ЛЮ ААН, разр. III, оп. 1, № 135).
- <sup>8</sup> О взаимоотношениях этих двух ученых см.: *Андреев А. И.* Труды Г. Ф. Миллера о Сибири.— В кн.: Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л., 1937, т. I, с. 57—114 (особ. 97—101). (Далее: Ист. Сиб.).
- <sup>9</sup> «Что касается до сборника слов из языков разных сибирских инородцев, то он не был трудом самого Фишера» (*Пекарский П. П.* История Академии наук в Петербурге. СПб., 1870, т. I, с. 631); «Он (Миллер.—Е. Х.) собрал большое число «вокабуляриев» сибирских народов, которые впоследствии послужили материалом для исследований его соперника Фишера» (*Бахрушин С. В.* Г. Ф. Миллер как историк Сибири.— Ист. Сиб., с. 32).
- <sup>10</sup> *Joki A. J.* Die Lehnwörter des Sajansamojedischen. Helsinki, 1952 (*Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia*; 103), S. 30; *Stehr A.* Die Anfänge der finnisch-ugrischen Sprachvergleichung, 1669—1771 (Mscr.). Göttingen: Georg-August Universität, 1957, S. 101—117 (о содержании этой неопубликованной диссертации я могу, впрочем, судить только по ее пересказу: *Koerner E. C. K.* Western Histories of Linguistic Thought. Amsterdam, 1978, p. 98—99, а также по ссылкам в статьях Я. Гуя); *Gulya J.* A magyar nyelv első etimológiai szótára.— In: A magyar nyelv története és rendszere. Budapest, 1967 (*Nyelvtudományi Értekezések*; 58. sz.), 87—88. old.; *Idem.* Etymologie im 18. Jahrhundert.— *Acta Linguistica Hung.*, 1976, t. 26, fasc. 1—2, p. 140. Впрочем, в последней своей работе, посвященной проекту критического издания «Вокабулярия» Фишера, Я. Гуя отмечает, что «его словарный материал, словники отдельных языков являются.. лишь копиями других словников XVIII в., хранящихся в московских и ленинградских архивах», и заслугой собственно Фишера признает только этимологическую обработку этого материала (*Gulya J.* XVIII. századi etimológiák: Mutatvány J. E. Fischer «Vocabularium Sibiricum»-ának készülő kiadványából.— In: *Uralisztikai tanulmányok.* Budapest, 1983, 165. old.).
- <sup>11</sup> Правомерность и этимологическая эффективность такого параллельного сопоставления обусловлены тем, что в количественном отношении фонд тюркских заимствований венгерского языка лишь немногим уступает фонду корней угорского (и более раннего) происхождения.
- <sup>12</sup> В архивоведческом отношении бумаги Миллера изучены достаточно

- хорошо (хотя, к сожалению, лишь малая толика этого наследия увидела свет). В частности, данную рукопись упоминают: *Бакланова Н. А., Андреев А. И.* Обзор рукописей Г. Ф. Миллера по истории, географии, этнографии и языкам народов Сибири, хранящихся в московских и ленинградских архивах и библиотеках.— *Ист. Сиб.*, с. 562; *Вдовин И. С.* История изучения палеоазиатских языков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954, с. 42; *Gulya J.* Some 18th Century Antecedents of the 19th Century Linguistics.— *Acta Linguistica Hung.*, 1966, t. 15, fasc. 1—2, p. 166.
- <sup>13</sup> См. образец почерка: *Ист. Сиб.*, вклейка между с. 32 и 33.
- <sup>14</sup> *Миллер Г. Ф.* Описание моих служб.— *Ист. Сиб.*, с. 145—155.
- <sup>15</sup> *Párai P.* Dictionarium hungarico-latinum. Leutschoviae, 1708, 278, 10 p.
- <sup>16</sup> A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1—3. köt. Budapest, 1967—1976 (далее: TESz); A magyar szókészlet finnugor elemei: Etimológiai szótár. I—III. köt. Budapest, 1971—1978 (далее: MSzFE).
- <sup>17</sup> Любопытно, что TESz рассматривает и венгерское слово как непосредственно связанное с тем же миграционным термином, оспаривая его славянское происхождение (TESz 3, 672. old.), т. е. фактически возвращается к этимологии Миллера (с чем, впрочем, трудно согласиться)..
- <sup>18</sup> TESz 1, 160. old., 197. old.; MSzFE, 89—90. old., 101. old.
- <sup>19</sup> Ср., например, сравнение szór с самодийск. tar у Х. Паасонена (*Paasonen H.* Beiträge zur finnisch-ungarisch-samojedischen Lautgeschichte. Budapest, 1917, S. 256).
- <sup>20</sup> *Fischer J. E.* De origine Ungrorum.— In: Io. Eberhardi Fischeri Quaestiones Petropolitanae. Gottingae et Gothae, 1770, p. 3—40.
- <sup>21</sup> *Fischer J. E.* Sibirische Geschichte. St. Petersburg, 1768.
- <sup>22</sup> В их числе, по подсчетам Я. Гун, 85 верных, 46 проблематичных и 27 ошибочных сопоставлений (*Gulya J.* A magyar nyelv első etimológiai szótára, 88. old.).
- <sup>23</sup> «Summa huius exercitationis est, antiquissimam Jugris patriam circumiectas Turfano regiones fuisse... lingua autem eorum maximum partem ex Tatarico atque Scythico, inprimis Vogulico idiomate, conflatum esse» (*Fischer J. E.* De origine Ungrorum, p. 40).
- <sup>24</sup> *Stehr A.* Die Anfänge..., S. 50—100; *Gulya J.* Etymologie im 18. Jahrhundert, p. 139—144.
- <sup>25</sup> *Андреев А. И.* Труды Г. Ф. Миллера..., с. 97—101; *Косвен М. О.* Этнографические результаты..., с. 179.
- <sup>26</sup> *Косвен М. О.* Этнографические результаты..., с. 205—206. Этот и ряд подобных фактов служат основанием для оценки сочинений Фишера (в основном, правда, исторических) как «компиляций, не имеющих особого научного значения» (Там же, с. 206). Здесь, однако, нужна оговорка: компиляции Фишера нашли значительный отклик в научной мысли своего времени и мало значимы лишь с точки зрения современной науки в сравнении со своими первоисточниками.
- <sup>27</sup> *Krueger J. R.* Preface to the Re-Printing.— In: Strahlenberg Ph. J. von. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Szeged, 1975, S. 1—15.
- <sup>28</sup> *Schlözer A. L.* Allgemeine Nordische Geschichte. Halle, 1771, S. 296, 392 Anm., 431—433 e. a.
- <sup>29</sup> *Tibenský J.* Schlözers Bedeutung für die in der Slowakei im 18. Jahrhundert herrschenden Ansichten über die Slawen.— In: Lomonosov, Schlözer, Pallas: Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert. Berlin, 1962, S. 239—242.
- <sup>30</sup> *Gyarmathi S.* Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis grammaticae demonstrata. Gottingae, 1799, 380 p.

**И. Каподистрия о своем пребывании в Греции  
накануне революции 1821 г.**

Иоани Каподистрия — видный деятель эпохи борьбы Греции за независимость, первый президент греческого государства (1827—1831). Он был статс-секретарем министерства иностранных дел России и доверенным советником Александра I, оставаясь при этом греческим патриотом и поддерживая тесные контакты со своими соотечественниками. Весной 1819 г. статс-секретарь посетил свою родину — остров Корфу, где два десятилетия назад началась его политическая карьера на службе Ионической республики — автономного греческого государства, существовавшего в 1800—1807 гг. Поездка Каподистрии в Грецию, совершенная за два года до начала национально-освободительной революции 1821 г., вызвала и вызывает много противоречивых суждений в историографии, что связано с ограниченностью доступного до сих пор исследователям документального материала. Значительную ценность в этой связи представляет большое письмо И. А. Каподистрии к Г. А. Строганову, написанное им в апреле 1819 г. во время пребывания на Корфу. Письмо это, хранящееся в ЦГАДА, публикуется впервые.

Российский посланник в Константинополе Г. А. Строганов принадлежал к кругу ближайших друзей статс-секретаря, что определило доверительный и откровенный тон письма. Но почти все вопросы, затронутые в этом частном и дружеском письме, носят политический характер. Среди наиболее важных: положение Ионических островов, находившихся с 1815 г. под полуколониальным господством Великобритании; бедственная участь ветеранов греческих добровольческих подразделений, существовавших на островах с начала XIX в. и расформированных англичанами; передача британскими властями вольного эпирского города Парги полунезависимому правителю южной Албании и Эпира Али-паше. Вопросы эти трактуются больше с позиций греческого патриота, чем российского дипломата. Содержание и тон письма И. Каподистрии делают его не только историческим, но и человеческим документом большого звучания. К сожалению, ограниченность объема публикации не позволяет нам комментировать его здесь более подробно\*.

\* Некоторые из вопросов, затронутых в письме И. Каподистрии, рас-



Текст письма И. Каподистрии публикуется полностью в оригинале на французском языке вместе с переводом. Французский текст дается по правилам современной орфографии, незначительно отличающейся от орфографии начала XIX в. Содействие в подготовке текста документа оказали Е. М. Заблудовская и О. В. Медведева.

Corfou, le 11 (23) avril 1819

C'est le capitaine Dadana que je connais d'ancienne date en bon et fidèle serviteur de la Russie qui se chargea de la présente. Elle vient, Monsieur le Baron, vous porter mes actions de grâces pour la lettre confiée à M. Pavckovitz et vous entretenir de plusieurs choses qui peuvent mériter votre attention. Je commencerai par vous répondre<sup>1</sup>. La correspondance des princes de Moldavie et de Valachie avec le ministère a été en usage de tout temps. Vos archives, comme les nôtres, en portent le témoignage. C'est en parcourant les lettres du feu prince Ypsylanti adressées au prince Czartorijski et au baron de Boudberg que j'ai appris à connaître à fond la question des principautés et à démêler les causes qui ont amené les grandes complications, qui caractérisent notre dernière guerre, comme celles qu'en sont résultées pour la paix de Bucarest. Caradja et Callimacki, en suivant les traces de leurs prédécesseurs, ont écrit au ministère. Ces relations directes ont eu lieu, mais elles sont passées constamment sous les yeux de la mission de Constantinople. Cette marche a paru la seule remède que le ministère avait à opposer aux inconvénients majeurs qu'étaient de [...] \*\* de cette correspondance directe. Vous nous rendez justice, mais vous déplorez autant que moi, l'immoralité des hommes auxquels est confié le sort des principautés et l'abus qu'ils sont portés à faire de tout ce que peut servir à leurs misérables desseins.

Je ne demande pas mieux que d'achever l'ouvrage que nous avons commencé, si toutefois il est dans le pouvoir des hommes de le faire. A mes yeux tous nos efforts n'aboutiront qu'à des résultats superficiels et éphémères, attendu que le mal est dans la racine, je veux dire: 1) dans la nature du gouvernement turc; 2) dans l'éducation des hommes qui le servent n'importe la religion qu'ils professent et le nom qui les distingue; 3) dans le système mitoyen que nous suivons. Vous ne changerez jamais les Turcs, mais encore les pauvres fanariotes, qui sont la victime innocente de leur situation et de leurs habitudes. Ce que vous

смаатриваются в книге: *Арш Г. Л. И. Каподистрия и греческое национально-освободительное движение. 1809—1822. М., 1976.*

\*\* Слово неразборчиво. Может быть прочтено: l'essoucier (l'essuyer) — испытывать.



pouvez changer c'est *le ton* et la façon de parler et d'agir envers les uns et les autres. Je n'ai rien sur la conscience à cet égard. J'en appelle au témoignage du ministère et des archives. Ils parleront après nous. Nos rapports, vos dépêches sont là. Néanmoins je suis bien loin de me décourager. Tout au contraire. Lorsque une longue et pénible expérience aura démontré qu'il faut simplifier les rouages et donner à la marche des affaires une impulsion plus directe et plus positive, on le fera. Or simplifier les rouages signifie aussi n'admettre point de correspondances directes ni indirectes là, où il y a un centre d'action tout établi et avoué. Je vous promets de faire des représentations encore dans ce sens. C'est tout ce que je peux faire.

Quant au prince Soutzo, je suis bien étonné qu'il ait osé s'éta-  
yer de ses prétendus rapports avec le métropolitain Ignace. Je  
peux attester ma parole d'honneur que le métropolitain n'a jamais  
articulé le mot à son égard; et tout dernièrement ayant passé  
8 jours à Pise chez lui<sup>2</sup> il ne m'a jamais parlé de Soutzo. Ce que  
je sais à l'égard de Soutzo, c'est qu'il a cru dans la profondeur  
de sa politique d'écrire avant sa nomination à mon père qu'il  
avait connu à Constantinople l'année 1800, à l'effet de se mettre  
en relation directe avec moi par son entremise. Comme ma fa-  
mille ne se permette jamais de parler à mon nom sans me consul-  
ter, elle m'a envoyé la lettre de Soutzo en original. C'est moi-  
même qui a fait la réponse. Elle portait: si M. Soutzo a quelque  
chose à me dire, c'est au serviteur de l'empereur de Russie et  
non à ma personne qu'il veut parler. Dans ce cas il est bien le  
maître de m'écrire, mais par l'entremise de la mission de Cons-  
tantinople, qui seule est l'organe légale de toutes les communi-  
cations de l'Orient avec le ministère de Russie. Cette réponse  
lui a été donnée: je n'ai jamais reçu de ses lettres. Je m'arrête  
ici. Ce serait trop long que d'épuiser ce chapitre la plume à la  
main. Je l'épuiserai néanmoins d'un mot seul. Je connais ces  
gens et j'ai en même temps la consolence de ma conscience. Et  
elle est nette. Je vous le répéterai encore, Monsieur le baron, en  
partageant toute entière votre opinion, je ferai tout ce que peut  
dépendre de moi pour débarrasser le ministère des correspon-  
dances directes et des complications qui en résultent nécessairement.  
J'ai tâché de le faire pour ce qui concerne les consulats. J'en re-  
viens aux archives. L'organisation actuelle s'est faite d'une ma-  
nière qui est absolument nouvelle et elle est bonne,— aucun des  
ministères précédents n'ayant pas eu le courage de concentrer  
toute la responsabilité de cette branche du service à la mission  
seule.

Je passe à la négociation<sup>3</sup>. Je ne suis nullement étonné du  
peu d'espoir que vous concevez. Notre démarche est jugée à re-

bours. Cela est et devait être. Que faire! Contentons-nous d'en être à ces termes. Le temps et le bon dieu feront le reste. Écarté comme je le suis des affaires du monde, je ne connais guère ce que pensent les cabinets européens de notre démarche auprès du sultan. Il est cependant à croire qu'ils considèrent la lettre de l'empereur comme un artifice qui couvre des arrières-pensées. Allez les désabuser et à ces enseignes faites des bonnes affaires sans montrer les dents. Il me sera toujours très agréable de reprendre le fil de nos travaux et de les partager avec vous, Monsieur le baron. Ce sera vers la fin de juillet ou les commencements d'août que j'espère d'être à mon poste. Je me proposais de m'y rendre en passant par Constantinople. J'ai eu l'honneur de vous en écrire. J'ai caressé cette idée jusqu'à ces jours derniers. Mais j'y renonce et en voici les raisons.

Mon passage par Constantinople aurait donné lieu à une foule de mauvaises conjectures. Vivant tout tranquille ici on me suppose la commission de renouer le fil des liaisons russes avec les Grecs des Îles, de l'Épire et de Péloponèse, en un mot, avec toute la Turquie Européenne. Que dirait-on, si l'on me voyait partir de Corfou et relâcher, à cause de mauvais temps, en Archipel cou ailleurs. Que de monde compromis de cette pauvre apparition! Ce que m'a fait penser à tous ces inconvénients, ce sont les visites que j'ai eu de tous mes anciens amis de la terre ferme et des Îles. Il ne dépendait pas de moi de les en détourner, parce que aucun d'eux ne m'a pas consulté sur son projet de venir me rejoindre. Le seul Vlassopoulos, qui a eu ce bon esprit, est resté immobile à sa place, parce que je lui ai défendu de s'en éloigner, malgré la permission que vous avez eu la bonté de lui donner.

Je n'ai pas de poumons pour sermonner assez ce monde et pour le persuader que la Russie est en paix avec les Turcs et veut rester en paix. Pour forcer la thèse, je leur démontre, qu'en bons Grecs, au lieu de désirer une nouvelle guerre entre les deux empires, ils devraient au contraire être bien aises de les savoir pacifiés pour toujours. «Profitez, Messieurs, de cette belle époque pour vous élever à force de travail et d'éducation à la hauteur d'une nation qui est digne de la liberté. Sans cela une nouvelle guerre fera encore le malheur de notre patrie. Elle n'en sortira pas à bon marché comme par le passé. Ne perdez donc pas votre temps et vos moyens. Utilisez-les, devenez meilleurs et le bon dieu fera le reste». C'est par ces péroraisons que je les calme et que je les renvoie à leurs foyers. En renonçant donc au plaisir de vous revoir pour le moment, permettez-moi que je vous rend compte avec quelque détail de ce qui avait formé l'objet de nos entretiens.

Vous trouverez, Monsieur le baron, ci-jointe la copie de la lettre que j'adresse à Vlassopulos et à Destunis <sup>4</sup>. Il est joint à la première un écrit que je viens de rédiger à la hâte pour donner et prendre acte sur ce que j'ai dit aux députés grecs de plusieurs provinces de l'Empire Ottoman, qui sont venus me voir et me consulter sur ce qu'ils avaient à faire pour servir leur patrie. Ces consuls vous en rendront compte. Quoique ma lettre n'ait que le caractère d'une communication purement personnelle et très amicale, j'ai cru qu'il était de leur devoir de vous en soumettre le contenu et prendre les ordres dont vous jugerez nécessaire de les munir. Je n'avais nulle envie de moraliser ce monde. Mais mon silence l'aurait peut-être induit en erreur. Nos consuls ont su que ce monde venait me voir. Qui pouvait me répondre de ce que ces gens pouvaient faire à croire sur leurs entretiens avec moi? Pour les engager donc à être d'une fidélité scrupuleuse, je leur ai parlé par écrit. Et pour m'assurer qu'on n'en abusera point auprès des agents russes et de leurs compatriotes, je rends les uns dépositaires de ce que les autres auront à entendre de ma part par l'organe de leurs députés. Tels sont les motifs qui m'on fait prendre la plume et donner une espèce de légalité à une communication qui au fond n'est que personnelle. Mais comment séparer pratiquement la personne privée de l'agent public aux yeux de gens qui ne veulent point voir les choses là où elles sont?

Mon arrivée dans les Iles a excité un grandissime mouvement dans l'esprit de tous les Grecs qui ont été en relation d'affaires avec moi à l'époque de la fondation de la République Septinsulaire et durant le séjour des troupes russes dans ces contrées. Le souvenir de ce temps fait chérir à juste titre le nom de l'empereur et les souffrances qu'endurent actuellement ces peuples font nécessairement élever tous les vœux et tous les regards au trône auguste de s. m. i. Me voyant donc ici, ils se sont imaginé que je venais leur apporter des consolations ou du moins m'assurer par moi-même de l'état vraiment désespérant, où les place la tyrannie la plus absurde et la plus injurieuse qui ait jamais existé. En les persuadant bien intimement que je ne venais ici que pour vivre quelques jours au sein de ma famille, je n'ai pu cependant me dispenser de deux choses: leur donner de bons conseils et leur promettre de mettre sous les yeux de l'empereur le tableau fidèle des observations que je venais de faire sur les lieux. Mes conseils sont résumés dans l'écrit annexé à la lettre de Vlassopulo. Et par ma promesse j'ai obtenu de ces braves gens l'assurance qu'ils resteront tranquilles et qu'ils sauront souffrir tant que l'empereur l'ordonnera. Mais ils désirent que cet ordre leur arrive à son nom et par votre organe. Je ferai mon travail lorsque je

sérai hors d'ici et quelque temps après mon départ. Je veux être aussi calme que possible. Dès mon arrivée à S.-Pétersbourg, je m'empresserai de vous en transmettre une copie. En attendant en voici les contours en gros.

Ally visir aura Parga. Ses agents qui sont ici l'espèrent d'après les dernières explications qu'ils ont eu avec le général Maitland. Les troupes du visir quoique en petit nombre sont entrées dans le territoire de Parga. Les habitants échappent. Ils nous arrivent ici dans la misère la plus épouvantable. Nulle précaution n'est prise pour les accueillir. Ils n'ont point touché l'argent qui leur est promis. Et quel argent, seigneur dieu? La valeur de leur propriété a été adjugée par des experts choisis par le général lui-même. Son excellence a néanmoins de sa propre autorité retranché la moitié de cette pauvre somme. Cette même moitié ne leur est point livrée. Et ce qui est plus, le jour où l'on donnera à ces malheureux cet argent ils l'auront dépensé d'avance pour subvenir aux frais de leur voyage et de leur établissement. Croirait-on que les Anglais ont trouvé bon de faire payer la douane aux effets de ces émigrés? Eh bien, cela s'est fait en plein jour et par ordre suprême du général.

Lorsque Ally visir aura Parga, les Iles seront placées sous sa férule. Et tout ce qu'il y avait de fort et de courageux en Epire et en Albanie, en fait d'hommes, lui est définitivement livré. Ce qui veut dire en d'autres termes, qu'on livre au visir le peuple qui donnait jadis les belles troupes albanaises qui étaient au service des rois de Naples. Celui qui nous a donné les légions vaillantes qui ont servi sous les ordres du général Papandopulos<sup>5</sup>. Celui enfin qui seul mettait un frein à la rapacité et à la cupidité brutale de ce visir sanguinaire.

Comment les Epirotes et les Acarnanes, étant sous la domination de ce despote, pouvaient-ils modérer sa tyrannie? C'est en lui faisant la guerre, qu'on nommait ici *la guerre des voleurs*, que ce peuple l'obligeait à s'arranger avec ses chefs et à les employer dans les différentes places *d'intendants militaires des provinces* ou *capitaines*. Ces intendances étaient jadis l'égide sous laquelle se plaçaient les droits et les privilèges de toute la population grecque de ces contrées — ce qui est presque la totalité de toutes ces populations. D'où vient-il que ce qui a été une fois n'est plus et que la cession de Parga coupe le dernier fil de l'existence de ces chrétiens? Le traité de Constantinople du 1800, en fondant la République Septinsulaire, créa de toute le littoral turc qui appartenait aux Vénitiens un Etat sujet à la Porte, mais préservé de toute occupation militaire et tributaire seulement de la capitation à son souverain le sultan. Le gouvernement des Sept îles avait la direction principale de l'administra-



tion locale de cette belle contrée. Et nos commissaires joints aux commissaires russes et turcs la constituèrent l'année 1802. Ce pays ainsi organisé, savoir: Buzintró, Prevesa, Voniza et la Parga sous son gouvernement local offrait un asile à ceux des capitaines que le visir Alli Pachà persécutait. Ayant ce port ces braves osaient davantage. L'invasion de Prevesa et de tout le littoral eut lieu <sup>6</sup>. Nous avons alors occupé Parga. C'était le dernier asile des capitaines. Ils vont le perdre. L'occupation de la terre ferme par Ally visir était en contravention des traités, celle de Parga était un gage de l'intention des Iles et de la puissance protectrice d'alors de rendre ce point au système créé en 1800, lorsque le visir aurait rendu le pays qu'il occupait en contravention des transactions. Une fois ces pauvres Albanais expulsés de leurs foyers, la Russie vint à leur secours. Elle composa des légions que le général Papandopulos a commandé. En se retirant des Iles, la Russie a pourvu au sort de ces gens. Le gouvernement français les solda. Ils l'ont servi avec zèle et honneur. Les Anglais en firent autant jusqu'à l'époque, où le traité de Paris du mois de novembre de l'année 1815 leur donna la protection des Iles. Dès lors ces légions furent licenciées et plus de 4000 familles se trouvent abandonnées à la plus cruelle et à la plus désespérante mendicité. Vous connaissez, en grande partie, Monsieur le baron, l'histoire de ces malheureux et vous leur avez souvent témoigné un intérêt bienveillant.

Cette masse de mendiants est venue m'accabler en me demandant un morceau de pain et de quoi au moins faire les fêtes <sup>7</sup>. Jugez de la peine que j'ai dû éprouver et que j'éprouve encore dans ce moment, voyant à ma porte des hommes que j'ai connu honoré de la confiance de nos généraux et de celle du gouvernement ionien et me trouvant dans l'impossibilité de leur être de quelque utilité. Le peu d'argent que j'avais pour ainsi dire en poche leur fut distribué, mais avec de grandes précautions. Si les Anglais en ont vent, ils sont capables de chasser ces pauvres. Où iront-ils se réfugier et avec quels moyens feront-ils leur voyage? Non à Naples — on n'en veut pas. Les Anglais s'y opposent. Non en Turquie et dans leur pays natale. Le visir les égorgerait. Non ici, parce que la dureté anglaise à leur égard surpasse toute conception. Quelques-uns de ces malheureuses familles vivaient sous les toits qui appartenaient au gouvernement. Elles en furent expulsées. D'autres se contentaient de gagner leur pain en travaillant à quelque métier. Elles sont contrariées et vexées d'une manière (je ne le répéterai jamais assez) qui ne se laisse pas concevoir.

Je n'ai pas d'expression pour vous retracer les peines que j'ai dû me donner pour calmer ces gens et à l'effet de les enga-



er à sup porter patiemment les persécutions qu'ils endurent. Savez-vous que les plus bouillants parmi eux étaient décidés à des coups de tête effrayants? Ils m'ont promis néanmoins de rester tranquilles, en attendant les secours et la protection de notre auguste maître. C'est cette seule espérance qui les tient encore dans une direction raisonnable. Et en quoi donc pourrait consister ce secours? Une somme une fois payé de 15 à 20, si ce n'est pas de 30 mille piastres turques, les sortirait de la misère et les mettrait en état de se réfugier ou dans les îles de l'Archipel, ou bien dans quelque province du Péloponèse, où ils peuvent encore avoir un accès. Cette somme cependant devrait leur être donnée publiquement et à titre de gratification pour leurs anciens services. Les Anglais, en les renvoyant, leur ont payé également un tierçal à titre de gratification. Autorisée par cet exemple, notre cour pourrait en faire autant. Elle sauverait ces gens de leur perdition et payerait en quelque sorte de ce soin bienveillant le zèle et le dévouement dont ces gens ont fait preuve tant de fois. Je me réserve de faire un rapport à ce sujet à l'empereur et j'espère de sa justice le salut de ces malheureux.

Quant aux Parghinottes, je tâche de les encourager en leur faisant espérer justice de la part du gouvernement anglais. Leur cause une fois portée au tribunal de l'opinion à Londres est une belle cause. Laissons de côté les considérations politiques. Supposons que Parga dut être cédée aux Turcs. Le principe d'une indemnité reconnu, de quel droit le général Maitland retranche la moitié de la valeur de leur propriété? Pourquoi leur refuse-t-il un coin, où ces gens puissent conserver leur communauté? Pourquoi vouloir leur dépérissement et la misère qui le précède? Le crédit britannique y gagne-t-il quelque chose? Mais pourquoi ce sacrifice et tant de sacrifices à la fois! Pour que la Porte renonce à ses droits sur les Iles. Il serait bien extraordinaire que les Turcs seuls parmi les gouvernements jadis alliés fussent fermes à ne point se désister de ces droits... Je commence à croire que la suzeraineté de la Porte nous aurait maintenant garanti, nous autres pauvres insulaires, des injures et des vexations que nous souffrons de la part de nos nouveaux protecteurs. L'ensemble des horreurs que j'ai sous les yeux me porte à vous supplier, Monsieur le baron, dans ma qualité de citoyen des Iles, à encourager la Porte autant qu'il est dans votre pouvoir, à ne jamais accéder au traité du 5 novembre 1815. Cette question ouverte entre l'Angleterre et la Porte, les Iles peuvent encore espérer des combinaisons favorables, les quelles d'ailleurs ne sauraient être dans aucun cas contraires aux intérêts de la Russie. Cette observation vous parviendra peut-être au moment, où la Porte a accédé à ce traité. Le général attend cette accession d'une heure à

l'autre. Si je vous en parle, c'est que je ne veux négliger aucun de mes devoirs.

Je suis si affecté de tout ce qui se passe ici par la volonté despotique et absurde de ce général que je n'ose pas en vous parler avec ordre et suite. Vous lirez, Monsieur le Baron, le rapport que j'espère de mettre sous les yeux de sa majesté impériale. En attendant ce que je puis vous dire, c'est que la population de cette île et des autres est sensiblement diminuée, que les habitants des côtes de ce pays émigrent. Et où vont-ils donc? En Turquie... D'où dérive cette grande calamité? Les impositions passent la mesure des fortunes et des ressources du pays. La manière de les percevoir est tyrannique et les hommes, chargés de ces fonctions sont des contrebandiers et des corsaires maltois et siciliens. Tout est monopole. Le blé est vendu exclusivement par un colonel anglais. On punit les boulangers qui vendent le pain à plus bas prix de ce qui le fait vendre le colonel, maître du pays. Ce monstre nommé Robinson, à peine bas officier de la marine corsaire anglaise, devenu en Sicile colonel napolitain, est le sacrificateur de Corfou. Chaque île a le sien. Ils sont constitués les administrateurs des finances, les inspecteurs des marchés et des quarantaines, et des portes et du commerce et du navigation, en un mot, de toute branche quelconque du gouvernement. Que fait au milieu de ce déluge de malheurs la magistrature du pays? Quelle magistrature... Ce sont des individus que le général Maitland a choisi de sa propre autorité et très arbitrairement parmi les plus faibles et les plus corruptibles des hommes de ces îles. Chaque pays a les siennes. Ceux-ci s'assemblent dans l'antichambre de son excellence et c'est en ce lieu, les portes ouvertes, sous la surveillance des sentinelles et sous la dictée du colonel Hankey et d'un misérable comédien ou d'un certain lord Osborne \*, que jeune homme a joué dans une seule nuit, en Angleterre, toute sa fortune, que les pauvres législateurs et sénateurs des Sept îles sont obligés à signer tantôt une absurdité, tantôt une mensonge criante et toujours un décret qui frappe de stérilité des campagnes, qui organise la division des parties et la petite guerre civile entre les classes et qui détruit enfin toute branche d'industrie et de commerce nationale. La douane n'est plus à ferme. Elle est administrée par le colonel Robinson. Tous les jours de décrets qui concentrent la circulation commerciale entre les mains de cet homme. Plusieurs capitalistes du pays sont déjà partis. Les deux de ces qui vont s'en aller c'est Melichis et Lavvano. On ne trouve plus d'argent que chez le colonel Robinson. C'est lui qui peut faire des avances.

\* Правильно: Osborne (Осборн)•

C'est lui qui est l'intendant des douanes. C'est lui qui est le chef de la marine marchande. C'est lui qui de fait servit par des marins siciliens. Le pays gémit sous le poids de ces énormes calamités. Pour les compléter, on force les propriétaires à démolir leurs maisons, à abattre leurs escaliers. On veut d'un seul trait embellir la ville. Elle paraît bombardé. J'existe au milieu de ruines, de larmes, de doléances, qui fendent le cœur. Je n'en puis plus.

Que gagne donc l'Angleterre à enfreindre le traité du 5 novembre d'une manière aussi choquante? Peut-elle tout ce qu'elle veut impunément? Que gagne donc à cette complaisance criminelle le reste du monde? Si L'Angleterre veut ce qu'on fait à son ordre, dans les Iles, elle veut de choses absurdes. Veut-elle faire oublier aux Grecs 50 années de mouvement national et les 10 années de bonheur que les septinsulaires ont éprouvé sous la protection de la Russie? Mais en s'y prenant d'une manière aussi évidente peut-elle atteindre son but? Tout au contraire, elle pousse ces gens au désespoir, elle leur donne un patriotisme héroïque. C'est dans le malheur et sous le poids de l'injustice et de l'injure que se trempent les âmes et qu'elles deviennent fortes. En considérant la conduite anglaise dans les Iles et dans les environs sous les rapports de la grande politique, on ne doit point se dissimuler que la tranquillité générale en est hautement compromise. Si l'Angleterre continue à pousser la tyrannie dans une direction aussi violente, il y aura sans contredit des explosions en Grèce. Elles seront de nature à compliquer toutes les relations du monde civilisé. Il est de mon devoir de ne point laisser ignorer ce fait à l'empereur. C'est à s. m. i. à en juger et à y pourvoir. Si vos informations, Monsieur baron, viennent à l'appui de ce que j'ai l'honneur de vous dire, j'ose vous proposer d'accorder quelque attention à ce qui se passe dans ces contrées. Votre témoignage ajoutera au mien. On aime vous avoir pour compagnon d'armes dans une si belle carrière.

Je finirai cette longue lettre en vous parlant d'un jeune homme qui va vous arriver par Dadana. C'est un de ceux auxquels je ne puis pas refuser une lettre de recommandation pour vous. Ma maison est obsédée d'une foule de ces postulants. Tout ce qu'il y avait d'employés dans l'administration de ce pays est mis à la porte. Toutes les places même les plus subalternes sont données de préférence aux Siciliens et aux Maltois. Et quels étrangers: des hommes qui n'osent pas demander du pain à leurs pays et à leurs gouvernements. C'est donc le jeune Servos, fils d'un ancien ami de ma famille. Il a de quoi vivre à ses frais pour une couple d'années. Je lui ai dit qu'il doit les employer à servir comme apprenti à la chancellerie commerciale, lorsque son chef

pourra obtenir en sa faveur la bienveillance du ministre. C'est alors, ce n'est qu'alors, que je vous prierai de le protéger et de le proposer pour quelque petite place, si toutefois vous en aurez à disposer. Telles sont les conditions que j'ai mis à la recommandation que j'ose vous adresser. Mille et mille pardons! Vous êtes assez bon, Monsieur le baron, pour vous mettre à ma place et pour me pardonner de bon cœur.

Je vais respirer quelques jours à la campagne. Et puis je partirai par Otranto et de là pour l'Italie; selon ce que l'on m'écrira, je tâcherai de rejoindre ma petite chambre à S.-Pétersbourg. La fin de ce mois ne me trouvera plus à Corfou, sauf contre-ordre.

*Votre dévoué ami et serviteur*  
*Le comte Capodistrias*

P. S.

Le 11/23 Avril

En relisant ma longue lettre je m'aperçois de n'avoir pas tout dit relativement à Alli Pacha et à l'arrivée de Pavckovitz.

Le sieur Paparigopulos en passant par Gianina a vu le visir. Celui-ci le chargea d'une lettre officieuse pour moi. Elle portait ses félicitations sur mon arrivée dans les Îles et au sein de ma famille et de mes amis. Je partage, dit-il, avec tout ce monde la satisfaction qu'il doit éprouver à me revoir depuis une si longue absence. Par ma réponse je l'ai remercié de ce témoignage d'amitié, et je lui ai dit que mes amis en effet jouissaient autant que ma famille de me revoir ici pour quelques jours. Mais qu'il manquait quelque chose à cette fête de famille. Deux de bons amis de ma maison — les frères Mostras sont depuis quelques années séparés de leurs femmes. Que si son altesse voulait faire lever les obstacles qui retenaient ces dames à l'Arte<sup>8</sup>, elles s'empresseraient d'aller rejoindre leurs maris et dans mon particulier il ne me resterait alors plus rien à désirer. Le visir en recevant cette lettre eut la complaisance de m'envoyer ces dames accompagnant cet envoi d'une lettre très polie. Les frères Mostras sont au comble de leurs vœux et cet acte de bonté de la part du visir n'a pas manqué de faire une grande sensation ici.

Le visir me fit dire en second lieu par le sieur Paparigopulos qu'il mettait un grand prix à la protection de l'empereur et qu'il voulait me devoir cet avantage. Après les lieux communs d'usage, j'ai chargé le messenger de lui répondre que j'en rendrai compte à s. m. i. à mon arrivée à S.-Pétersbourg et que ce sera d'après les ordres de s. m. que la mission de Constantinople chargera Monsieur Vlassopulos de lui faire connaître les suites que peut avoir cette démarche.

Le sieur Paparigopulos ajouta que Ally visir voulait servir

l'empereur. «En quoi donc le pourrait-il? Il me fera sans doute des questions à cet égard, quelle est la réponse que je puis lui faire? Et bien, dites-lui que, s'il veut être agréable à s. m. i., il n'a qu'à faire le bonheur des gens qui se trouvent sous son gouvernement et surtout des Grecs qui ont servi avec honneur et zèle la cause des trônes et des souverains légitimes contre la révolution. Dites-lui que s'il veut être agréable à l'empereur et rendre en même temps un véritable service à la Sublime Porte, il n'a qu'à employer tout son crédit auprès d'elle pour lui faire accélérer la clôture des négociations qui sont ouvertes à Constantinople. Nous ne demandons à la Porte que ce que les traités ont stipulé. L'empereur désire affermer la paix sur l'intérêt mutuel que les deux empires doivent avoir à sa conservation». C'est sur cette vieille idée qu'a roulé toute l'explication verbale dont Monsieur Paparigopulos s'est chargé. Notre consul de Patras m'a présenté cet employé comme un homme honoré de toute sa confiance. Je suis donc assuré d'avance qu'il ne se permettra pas d'en abuser et qu'en rapportant fidèlement ce que je leur ai dit tous les égards seront ménagés et le visir sera aussi satisfait. Je me propose en effet de rendre compte à l'empereur de tout ceci et ce sera d'après les ordres de s. m. i. que je prendrai la liberté de vous en écrire. Passons à l'autre messenger.

La pauvre Pavckovitz fait actuellement sa quarantaine. On la fera traîner aussi longtemps que possible. Je ne doute pas des communications amicales que le général M[aitland] aura donné déjà au prince de Metternich sur l'expédition de ce Dalmat aux Bouches de Cataro. Et sa mission, toute régulière et innocente qu'elle est <sup>9</sup>, nous procurera sans doute le plaisir des plusieurs explications. Nous finirons cependant par les convaincre. Parce que il n'y a rien de secret ou de non avoué qui nous tient à cœur. Si je pourrai voir ce bon homme avant mon départ, je ne manquerai pas de lui donner des notions au moyen desquelles il pourra peut-être s'acquitter de sa commission sans encourir l'animadversion autrichienne.

Voulez-vous, Monsieur le baron, vous divertir d'un supplément qui concerne les malheureuses affaires des îles Ioniennes? Donnez-vous la peine de parcourir le tableau comparatif ci-joint <sup>10</sup>. Voyez un peu comment la puissance protectrice dévore et fait dévorer les misérables ressources de ce pauvre pays. Elle tâche de corrompre les soi-disant magistrats par des appointements exagérés. Elle n'en fait rien, parce que les spoliateurs ne peuvent jamais avoir du crédit auprès des spoliés. Ainsi, pour satisfaire la cupidité de quelques individus, elle irrite la haine et l'animadversion de la masse contre eux et contre la protection qui les élève au prix des substances du peuple. Après vous avoir



fatigué de tous ces détails, je ne dois vous laisser ignorer que dans mon particulier je suis très bien avec le général et les siennes. De mon côté, j'ai évité soigneusement d'entrer en matière avec lui et il semble de même être bien aise de s'en dispenser. S'il m'en parle le premier, je lui en parlerai avec franchise et vérité. C'est ce qu'il redoute le plus.

Adieu encore une fois, Monsieur le baron. Agréez les hommages bien sincères de votre dévoué

*Le comte Capodistrias*

Pardon si je reprends la plume pour vous importuner. Le général, que j'ai vu hier, prétend savoir que vous avez demandé un congé à l'empereur ou bien un semestre. Il m'a demandé si j'en savais quelque chose. Je lui ai répondu que non. Mais que vos dernières lettres ne m'en donnaient pas même le plus léger soupçon. Il a reçu des lettres de Constantinople de très fraîche date. Et je le vois troublé plus qu'à l'ordinaire. Le ministère en Angleterre est en fusion. Je m'y attendais et peu de monde perdra à un changement quelconque. Comme je ne doute pas du bavardage que le général doit avoir adressé à sa cour sur mon compte, surtout vu l'arrivée ici de tout le monde qui est venu me voir, comme il est à présumer qu'on en parle au comte Lieven<sup>11</sup> ou directement à S.-Pétersbourg, j'ose vous proposer d'en parler vous-même par vos dépêches. Il me serait impossible de le faire moi-même n'ayant auprès de moi personne pour copier et travailler et ne pouvant pas appeler à ce service des étrangers. C'est une idée que j'abandonne absolument à votre décision.

Je prends la liberté de joindre à la présente une lettre à l'adresse du docteur Mavromatis qui est au service du chef de la nation servienne. C'est sa sœur ou de la part de sa sœur qu'on lui écrit. Je connais cette famille. Le père qui vient de mourir à Pise a été mon instituteur et celui de mes frères dans la langue et littérature grecque. Vous m'obligerez infiniment, Monsieur le baron, si vous daigniez faire écrire à Millos par son homme de confiance qui est à Constantinople que vous lui recommandiez ce médecin comme un jeune homme auquel s'intéressent tout ceux qui ont des obligations à sa famille. Je vais cacheter à la hâte. Sans cela cette lettre ne finira plus.

*Votre dévoué*

*Le comte Capodistrias*

Voici la lettre pour Daschcoff et une que je vous supplie de transmettre à mon bon ami Monsieur de Karamzine<sup>12</sup>.

ЦГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 118, л. 8—11, 62—65. Подлинник (автограф).

Корфу, 11 (23) апреля 1819 г.

Передать это письмо взял на себя труд капитан Дадана, которого я с давних пор знаю как честного и верного слугу России. Оно поведает Вам, господин барон, о моей благодарности за письмо, доверенное г-ну Павковичу, и о многих вещах, которые могут заслужить Ваше внимание. Я начну с ответа Вам <sup>1</sup>.

Переписка князей Молдавии и Валахии с министерством существовала во все времена. Ваши архивы, как и наши, свидетельствуют об этом. Только просматривая письма покойного князя Ипсиланти князю Чарторыйскому и барону Будбергу, я начал понимать суть вопроса о княжествах и разбираться в причинах, преумноживших те большие сложности, которые характеризуют нашу последнюю войну, а также те, которые в результате возникли для Бухарестского мира. Караджа и Каллимахи, идя по стопам своих предшественников, писали в министерство. Эти прямые сношения имели место, но всегда проходили на глазах константинопольской миссии. Такой образ действий представлялся единственным средством, которое министерство могло противопоставить большим неудобствам, которые [испытывали] \*\* от этой прямой переписки. Вы хорошего мнения о нас, но Вы сожалеете, столь же, как и я, о безнравственности людей, которым доверена судьба княжеств и их склонности злоупотреблять всем, что может послужить их презренным замыслом.

Я ничего так не желаю, как только завершить работу, которую мы начали, если только во власти людей это сделать. На мой взгляд, все наши усилия завершаются только поверхностными и эфемерными результатами, так как корень зла, я хочу сказать, лежит: 1) в природе турецкого правительства; 2) в воспитании людей, служащих ему, независимо от религии, которую они исповедуют, и имени их отличающего; 3) в половинчатости системы, которой мы следуем. Вы никогда не измените турок, так же как и бедных фанариотов, являющихся невинной жертвой своего положения и привычек. Все, что Вы можете изменить,— это тон и манеру говорить и действовать по отношению к одним и другим. Совесть моя в этом отношении чиста. Я призываю тому в свидетели министерство и архивы. Они скажут после нас. Наши доклады, Ваши депеши находятся там. Тем не менее я далек от того, чтобы впасть в уныние. Совсем напротив. Когда длительный

и мучительный опыт докажет, что надо упростить устройство и дать более прямой и определенный импульс ходу дел, то это будет сделано. А упростить устройство означает также совершенно не допускать ни прямой, ни окольной переписки там, где существует вполне устроенный и признанный центр действий. Я Вам обещаю сделать еще представления в этом смысле. Это все, что я могу сделать.

Что касается князя Суццо, то я был очень удивлен тем, что он осмелился утверждать, что состоит в отношениях с митрополитом Игнатиосом. Я могу дать честное слово, что митрополит никогда не упоминал о нем ни слова и в течение 8 дней, которые я совсем недавно провел у него в Пизе<sup>2</sup>, он совершенно не говорил о Суццо. О Суццо я знаю только, что перед своим назначением он решил, как глубокомысленный политик, написать моему отцу, с которым он познакомился в Константинополе в 1800 г. для того, чтобы при его помощи войти в отношения непосредственно со мной. Так как моя семья никогда не позволит себе говорить от моего имени не посоветовавшись со мной, она направила мне подлинное письмо Суццо. Я сам дал ему ответ. Он гласил: если г-н Суццо желает что-либо мне сообщить, то ему следует говорить со мной только как со слугой императора России. В этом случае он волен мне писать, но при посредстве константинопольской миссии, являющейся единственным законным органом для всех сношений Востока с российским министерством. Такой был дан ему ответ — больше никаких писем от него я не получал. На этом я останавливаюсь. Понадобилось бы слишком много времени для того, чтобы исчерпать эту тему с пером в руке. Все же закончу ее несколькими словами. Я знаю этих людей и в то же время у меня есть утешение — моя совесть. А она чиста. Повторяю Вам это еще раз, господин барон: полностью разделяя Ваше мнение, я сделаю все от меня зависящее, чтобы избавить министерство от прямой переписки и неизбежно возникающих из-за этого осложнений. Я постарался сделать это в отношении консульств. В этом вопросе вновь обращаюсь к архивам. Нынешняя организация является совершенно новой и хорошей, ибо ни одно из прежних министерств не имело смелости возложить всю ответственность за эту отрасль службы целиком на миссию.

Перехожу к переговорам<sup>3</sup>. Я ничуть не удивлен тем, что Вы мало на что надеетесь. Наш демарш понят превратно. Так оно есть и должно было быть. Что подела-

ешь! Удовлетворимся этим положением. Время и бог сделают остальное. Находясь в отдалении от дел, я мало что знаю о том, что думают европейские кабинеты о нашем демарше перед султаном. Однако надо полагать, что они рассматривают письмо императора как хитрость, за которой скрываются задние мысли. Попытайтесь их разубедить и под этим видом делайте благое дело, не показывая зубов.

Мне всегда будет очень приятно вновь приняться за наши труды и разделить их с Вами, господин барон. Я надеюсь быть на своем посту к концу июля или в начале августа. Я предполагал вернуться через Константинополь и имел честь написать Вам об этом. До последних дней я лелеял эту мысль. Но я отказываюсь от нее и вот почему. Мое пребывание в Константинополе вызвало бы массу злонамеренных предположений. Хотя я живу здесь спокойно, предполагают, что я имею поручение возобновить русские связи с греками Островов, Эпира и Пелопоннеса, одним словом, со всей Европейской Турцией.

Что скажут, если увидят, что я, отправившись с Корфу, остановлюсь из-за плохой погоды в Архипелаге или еще где-нибудь. Скольких людей скомпрометировало бы это неуместное появление!

Задуматься обо всех этих неудобствах заставили меня посещения со стороны всех моих старых друзей с материка и островов. Отговорить их от этого было не в моей власти, поскольку никто из них не делился со мной своими планами навестить меня. Один лишь Власопуло, который подумал об этом, остался на своем месте, так как я запретил ему отлучаться, несмотря на милостиво предоставленное ему Вами разрешение. У меня не хватает голосовых связок для того, чтобы как следует наставить этих людей и убедить их, что Россия находится в мире с турками и хочет оставаться в мире. Чтобы подкрепить это положение, я им доказываю, что они как хорошие греки, вместо того чтобы желать новой войны между двумя империями, должны напротив радоваться, узнав, что мир между ними установился навсегда. «Используйте, господа, это прекрасное время для того, чтобы посредством труда и образования возвыситься до уровня нации, достойной свободы. Без этого новая война станет еще одним бедствием для нашей родины. Она не отделается от нее легко, как в прошлом. А посему не растрачивайте вашего времени и средств. Используйте их, становитесь лучше, и бог довершит остальное».

Вот какими речами я их успокаиваю и возвращаю к их очагам. Итак, отказываясь в данный момент от удовольствия снова увидеть Вас, прошу позволения несколько более подробно дать Вам отчет о предмете наших переговоров.

Вы найдете, господин барон, в приложении копию писем, которые я направляю Власопуло и Дестунису<sup>4</sup>. К первому приложена записка, которую я только что составил на скорую руку, чтобы изложить и записать то, что я сказал греческим депутатам из нескольких провинций Оттоманской империи, которые прибыли повидаться со мной и посоветоваться о том, как они могут послужить своей родине. Эти консулы дадут Вам об этом отчет. Хотя письма мои сугубо личные и дружеские, я полагал, что это их долг сообщить Вам их содержание и получить указания, которыми Вы сочтете нужным их снабдить. У меня не было ни малейшего желания поучать этих людей, но мое молчание могло бы ввести их в заблуждение. Наши консулы знали, что эти люди поедут ко мне. Кто мог бы мне ответить за то, как эти люди представят свои беседы со мной? Итак, чтобы заставить их быть скрупулезно точными, я разговаривал с ними при помощи записки. А чтобы быть уверенным в том, что они никак не злоупотребят этим перед русскими агентами и своими соотечественниками, я делаю одних хранителями того, что другим предстоит услышать от меня через своих депутатов. Таковы причины, заставившие меня взяться за перо и придать официальный характер сообщению, по сути своей сугубо личному. Но как практически отделить частное лицо от государственного служащего в глазах людей, которые совершенно не хотят видеть истинное положение вещей?

Мое прибытие на острова вызвало величайшее возбуждение в умах всех греков, находившихся в деловых отношениях со мной в период основания Республики Семи островов и пребывания русских войск в этих местах. Воспоминание об этом времени побуждает с полным основанием глубоко почитать имя императора, и страдания, которые испытывают в настоящее время эти народы, неизбежно заставляют обращать все чаяния и все взоры к августейшему трону е.и.в.ва. Увидев меня здесь, они вообразили себе, что я прибыл, чтобы дать им утешение или по крайней мере чтобы самому удостовериться в том действительно отчаянном положении, в которое их поставила самая бессмысленная и оскорбительная тирания из существовавших когда-либо. Вполне искренне убеждая их в



том, что я прибыл сюда только для того, чтобы провести несколько дней в кругу своей семьи, я не смог, однако, воздержаться от двух вещей: давать им добрые советы и обещать им представить императору точную картину сделанных мною на месте наблюдений. Мои советы изложены вкратце в записке, приложенной к письму на имя Власопуло. А своим обещанием я добился от этих храбрых людей заверения в том, что они будут пребывать в спокойствии и будут терпеть столько, сколько прикажет им император. Но они хотят, чтобы приказ был получен ими от его имени и через Ваше посредничество. Я напишу свой отчет, когда уеду отсюда и через некоторое время после моего отъезда. Я хочу быть как можно более спокойным. Когда я приеду в С.-Петербург, я постараюсь послать Вам копию. А пока вот его общий набросок.

Визирь Али получит Паргу. Его агенты, находящиеся здесь, надеются на это после своих недавних объяснений с генералом Мэйтлендом. Войска визиря, хотя и в небольшом числе, вступили на территорию Парги. Жители бегут. Они прибывают к нам сюда в состоянии ужасающей нищеты. Ничего не подготовлено для их приема. Они не получили ни гроша из тех денег, что были им обещаны. И какие это деньги, боже милостивый! Стоимость их собственности была оценена сведущими людьми, выбранными самим генералом. Тем не менее его превосходительство своей властью урезал наполовину эту жалкую сумму. Но даже и эта половина не была им выдана. Более того, в тот день, когда эти деньги отдадут этим несчастным, они уже заранее будут ими истрачены, чтобы покрыть расходы на свой переезд и устройство. Разве кто-нибудь поверил бы, что англичане сочтут возможным взимать таможенную пошлину за вещи эмигрантов. Но это делается среди бела дня и по распоряжению самого генерала!

Когда визирь Али получит Паргу, Острова окажутся под его строгим надзором. А все, что имелось сильного и смелого среди населения Эпира и Албании, окончательно будет оставлено на его произвол. Другими словами, можно сказать, что визирю отдают народ, который в свое время поставлял прекрасные албанские войска, состоявшие на службе неаполитанских королей. Народ, давший нам доблестные легионы, которые служили под командованием генерала Папандопуло<sup>5</sup>. Наконец, народ, который один только и сдерживал жадность и алчность этого кровожадного визиря. Каким образом жители Эпира и Акарнании, находясь под властью этого деспота, могли умерить его

тиранию? Только начав с ним войну, которую здесь назвали *войной воров* и в результате которой этот народ вынудил его договориться со своими начальниками и предоставить им места *военных интендантов провинций* или *капитанов*. Эти интендантства некогда были щитом, под защитой которого находились права и привилегии всего греческого населения этого края, т. е. почти всего местного населения. Как же объяснить, что уже нет того, что было когда-то, и что уступка Парги рубит последнюю нить существования этих христиан?

Константинопольский договор 1800 г., учреждая Республику Семи островов, создал из всего турецкого побережья, которое принадлежало венецианцам, область, подвластную Порте, но избавленную от какой-либо военной оккупации и обязанную платить только подушную подать своему суверену — султану. Правительство Семи островов руководило местным управлением этого прекрасного края, а наши комиссары совместно с русскими и турецкими учредили его в 1802 г. Устроенная таким образом, эта область, а именно: Буцинтро, Превеза, Вонича и Парга, управлявшаяся своими местными властями, предоставляла убежище тем из капитанов, которых преследовал визирь Али-паша. Наличие этого убежища придавало этим храбрым людям еще большую смелость.

Произошло вторжение в Превезу и на все побережье<sup>6</sup>. Тогда мы оккупировали Паргу. Это было последнее убежище капитанов. Скоро они его потеряют. Оккупация материка визирем Али была нарушением договоров; оккупация Парги свидетельствовала о намерении Островов и тогдашней державы-покровительницы вернуть этот пункт в систему, созданную в 1800 г., когда визирь вернул бы область, которую он занял в нарушение соглашений. Когда бедные албанцы были изгнаны из своих очагов, Россия пришла им на помощь. Она сформировала легионы, которыми командовал генерал Папандопуло. Оставляя Острова, Россия позаботилась о судьбе этих людей. Французское правительство наняло их на службу. Они служили ему усердно и с честью. Англичане делали то же самое до того момента, когда Парижский договор от ноября 1815 г. предоставил им покровительство над Островами. Тогда эти легионы были распущены, более 4000 семей оказались во власти самой жестокой и доводящей до отчаяния нищеты.

В основном, господин барон, Вы знаете историю этих несчастных, Вы часто проявляли к ним благожелательный

интерес. Эта масса нищих довела меня до изнеможения, прося у меня куска хлеба и чего-нибудь, чтобы хотя бы справить праздник<sup>7</sup>. Судите о тех страданиях, которые я испытал и испытываю еще в данный момент, видя у своей двери людей, которых я знал удостоенными доверия наших генералов и ионического правительства, и находясь в невозможности быть им сколько-нибудь полезным. Немного имевшихся у меня денег, так сказать карманных, были им розданы, но с большими предосторожностями. Если англичане об этом узнают, то они способны изгнать этих несчастных. Где они найдут себе убежище и на какие средства совершат свое путешествие? Не в Неаполе — их там не хотят. Англичане противятся этому. Не в Турции и не на родине. Визирь их погубит. Не здесь, так как суровость англичан по отношению к ним превосходит всякое воображение. Некоторые из этих несчастных семей жили в домах, принадлежавших правительству. Их выгнали оттуда. Другие довольствуются тем, что зарабатывают себе на пропитание с помощью какого-нибудь ремесла. Им чинят помехи, их так притесняют (я всегда буду это повторять), что это невозможно себе представить. У меня не хватает выражений для того, чтобы описать Вам те усилия, которые я должен был употребить, чтобы успокоить этих людей и убедить их терпеливо переносить преследования, которым они подвергаются. Знаете ли Вы, что наиболее горячие из них уже решились на ужасные безрассудные дела? Тем не менее они обещали мне оставаться спокойными в ожидании помощи и покровительства со стороны нашего августейшего повелителя. Это единственная надежда, которая их еще удерживает на разумном пути.

И в чем могла бы состоять эта помощь? Единовременное пособие в 15—20 тыс., если не в 30 тыс. турецких пиастров, могло бы вывести их из нищеты и дало бы им возможность укрыться или на островах Архипелага, или в одной из провинций Пелопоннеса, куда они еще могут получить доступ. Однако сумму эту нужно предоставить им открыто и в виде вознаграждения за их прежнюю службу. Англичане, увольняя их, также заплатили им треть годового жалованья в качестве вознаграждения. Ссылаясь на этот пример, наш двор мог бы сделать для них то же самое. Он спас бы этих людей от гибели и в какой-то мере оплатил бы этой благосклонной заботой усердие и преданность, которую эти люди доказывали не раз. Я оставляю за собой право представить по этому вопросу до-

клад императору и надеюсь, что его справедливость при несет спасение этим несчастным.

Что касается паргиотов, то я пытаюсь их ободрить, внушая им надежду на справедливость английского правительства. Их дело, раз оно будет передано на суд общественного мнения в Лондон, является выигрышным делом. Оставим в стороне политические соображения. Предположим, что Парга должна быть уступлена туркам. Раз принцип возмещения за убытки признан, то по какому праву генерал Мэйтленд уменьшает наполовину стоимость их собственности? Почему он отказывает им в угле, где эти люди могли бы сохранить свою общность? Зачем желать их деградации и нищеты, которая ей предшествует? Увеличится ли от этого престиж Британии? Но для чего эта жертва и столько жертв сразу! Чтобы Порта отказалась от своих прав на Острова. Было бы весьма любопытно, если бы турки — единственное из правительств, являвшихся в свое время союзниками, — твердо решили не отказываться от своих прав. Я начинаю думать, что сюзеренитет Порты защитил бы теперь нас, бедных островитян, от оскорблений и притеснений со стороны наших новых покровителей. Совокупность ужасов, которая у меня перед глазами, заставляет меня, как гражданина Островов, умолять Вас, господин барон, побудить Порту, насколько это в Вашей власти, никогда не присоединяться к договору от 5 ноября 1815 г. Пока этот вопрос остается открытым между Англией и Портой, Острова могут еще надеяться на благоприятные комбинации, которые, впрочем, ни в коем случае не могли бы противоречить интересам России. Эти соображения Вы, быть может; получите в тот момент, когда Порта присоединится к этому договору. Генерал ждет этого присоединения с часу на час. Если я Вам говорю об этом, то потому, что не хочу пренебрегать ни одной из своих обязанностей.

Я столь огорчен всем происходящим здесь по деспотической и вздорной прихоти этого генерала, что не могу говорить с Вами об этом по порядку и связно. Вы прочтете, господин барон, доклад, который я надеюсь представить его императорскому величеству. А пока могу Вам только сказать, что население этого острова и других ощутимо уменьшилось, что жители прибрежных районов этой страны эмигрируют. И куда же они уезжают? в Турцию... Отчего происходит это большое бедствие? Налоги превышают возможности частных состояний и ресурсы этой страны. Способ их сбора тиранический, и люди, которым



это поручено, являются мальтийскими и сицилийскими контрабандистами и корсарами. Все превращено в монополию. Зерно продается исключительно английским полковником. Наказывают булочников, продающих хлеб по цене более низкой, чем та, которую установил полковник, хозяин страны. Это чудовище, некто Робинсон, всего только унтер-офицер английского корсарского флота, ставший в Сицилии неаполитанским полковником, является жертвоприносителем Корфу. Каждый остров имеет своего. Их сделали заведующими финансами, инспекторами рынков, карантинных портов, торговли и судоходства, одним словом, всех отраслей управления. Что делают среди этого потока несчастий местные власти? Какне власти... Это лица, подобранные генералом Мэйтлендом своей собственной властью и весьма произвольно среди наиболее слабых и продажных людей Островов. Каждый остров имеет своих. Они собираются в прихожей его превосходительства и здесь при открытых дверях, под наблюдением часовых и под диктовку полковника Хэнки и жалкого комедианта или некоего лорда Оксборна \*, который, будучи молодым человеком, проиграл в Англии за одну ночь все свое состояние, жалкие законодатели и сенаторы Семи островов обязаны подписать то какую-нибудь нелепость, то вопиющую ложь и постоянно какой-нибудь декрет, который обрекает на бесплодие поля, порождает разделение партий и маленькую гражданскую войну между классами и который, наконец, уничтожает все отрасли национальной промышленности и торговли. Таможня не сдастся более на откуп. Ею управляет полковник Робинсон. Постоянно издаются декреты, сосредоточивающие коммерческое обращение в руках этого человека. Многие местные капиталисты уже уехали. Двое из тех, кто скоро уедет отсюда, — Меликис и Лаввано. Деньги остались уже только у полковника Робинсона. Он может давать ссуды. Он является инспектором таможен. Он является начальником торгового флота. Он фактически пользуется услугами сицилийских моряков. Страна стонет под тяжестью этих огромных бедствий. В довершение всего домовладельцев принуждают разрушать свои дома, ломать лестницы. Хотят одним взмахом украсить город. Кажется, что он подвергся бомбардировке. Я живу среди руин, слез, жалоб, от которых разрывается сердце. Я больше не могу это выносить.

Что же выигрывает Англия, столь вызывающим образом нарушая договор от 5 ноября? Может ли она безнаказанно делать все, что хочет? Что выигрывает от этой



преступной снисходительности остальной мир? Если Англия желает, чтобы на Островах все делалось по ее приказу, то она желает невозможного. Может быть, она хочет заставить греков забыть пятьдесят лет национального движения и десять лет счастливого существования жителей Семи островов под покровительством России? Но столь явно преследуя эту цель, сможет ли она ее достичь? Совсем напротив, доводя их до отчаяния, она вызывает в них героический патриотизм. Именно в несчастье и под гнетом оскорблений и несправедливостей закаляются души и становятся сильными. Рассматривая поведение англичан на Островах и в соседних районах с точки зрения большой политики, никак нельзя закрывать глаза на то, что оно явно ставит под угрозу всеобщее спокойствие. Если Англия будет продолжать свою столь жестокую тиранию, то в Греции несомненно произойдут взрывы. Они осложнят все отношения цивилизованного мира. Мой долг — не умолчать об этом обстоятельстве перед императором. Только е.и. в-во может судить об этом и принять меры. Если Ваши сведения, господин барон, подтверждают то, что я имею честь Вам сообщить, я осмелюсь предложить Вам уделить некоторое внимание тому, что происходит в этих краях. Ваше свидетельство дополнит мое. Хорошо иметь Вас товарищем по оружию в таком славном деле.

Я закончу это длинное письмо, рассказав о молодом человеке, который прибудет к Вам с Даданой. Он один из тех, кому я не могу отказать в рекомендательном письме к Вам. Мой дом осажден толпой этих просителей. Все, служившие ранее в администрации этой страны, выставлены за дверь. Все места, даже самые низшие, отданы преимущественно сицилийцам и мальтийцам. И что это за иностранцы: люди, которые не осмеливаются просить заработка у своей страны и у своего правительства. Итак, юный Сервос, сын старинного друга моей семьи. У него есть на что жить пару лет. Я сказал ему, что он должен их использовать, служа в качестве ученика в торговой канцелярии, пока его начальник не сможет добиться для него благосклонности министра. Тогда и только тогда я буду просить Вас оказать покровительство ему и предложить его на какое-нибудь небольшое место, если оно будет у Вас. Таковы условия, поставленные мною относительно рекомендации, с которой я осмеливаюсь обратиться к Вам. Тысячу и тысячу извинений! Вы достаточно добры, господин барон, чтобы поставить себя на мое место и простить меня от всего сердца.

Я собираюсь несколько дней отдохнуть в деревне. А затем отправлюсь в Отранто, а оттуда в Италию; смотря по тому, что мне напишут, я постараюсь вернуться в свою маленькую комнату в С.-Петербурге. В конце этого месяца меня уже не будет на Корфу, если только не получу иного указания.

*Ваш преданный друг и слуга  
граф Каподистрия*

11 (23) апреля

P.S.

Перечитывая свое длинное письмо, я заметил, что ничего не сказал относительно Али-паши и приезда Павковича.

Господин Папаригопуло проездом через Янину видел визиря. Тот дал ему письмо формального характера для меня. Оно содержало поздравления по случаю моего прибытия на Острова и в лоно моей семьи и друзей. Я разделяю, говорится в нем, вместе с ними удовлетворение, которое они должны испытывать от встречи со мной после столь долгого отсутствия. В своем ответе я поблагодарил его за это проявление дружбы и сказал ему, что действительно мои друзья, как и моя семья, рады видеть меня здесь в течение нескольких дней. Но кое-кого не хватает на этом семейном празднике. Двое добрых друзей моего дома — братья Мострас — вот уже несколько лет разлучены со своими женами. Если бы его высочество пожелал устранить препятствия, удерживающие этих дам в Арте<sup>8</sup>, они поспешат возвратиться к своим мужьям, и лично мне больше нечего было бы желать. Визирь, получив это письмо, имел любезность отослать этих дам ко мне вместе с весьма учтивым письмом. Братья Мострас достигли предела своих желаний, и этот акт доброй воли со стороны визиря произвел здесь большое впечатление. Визирь также дал мне знать через господина Папаригопуло, что он высоко ценит покровительство императора и что он желал бы быть обязанным этим благом мне. Я поручил посланцу, после обычных общих мест, ответить ему, что я представляю отчет е.и. в-ву по прибытии в С.-Петербург и что только в соответствии с указаниями е.и. в-ва константинопольская миссия поручит господину Власопуло сообщить ему о последствиях, которые может иметь этот демарш. Господин Папаригопуло добавил, что визирь Али хотел бы служить императору. «А как бы он мог это сде-

лять? Он несомненно задаст мне относительно этого вопросы. Что я могу ему ответить? — Скажите ему, что если он хочет угодить е.и. в-ву, то он должен делать добро людям, находящимся под его правлением, и особенно грекам, которые с честью и усердием служили делу тронов и законных государей против революции. Скажите ему, что если он хочет быть угодным императору и в то же время оказать настоящую услугу Блистательной Порте, то он должен использовать все свое влияние на нее, чтобы ускорить окончание переговоров, начавшихся в Константинополе. Мы требуем от Порты только выполнения условий договоров. Император желает упрочить мир на основе взаимной заинтересованности обеих империй в его сохранении». Именно на этой старой идее основывались все устные объяснения, которые Папаригопуло взял на себя. Наш консул в Патрах рекомендовал мне этого чиновника как человека, пользующегося его полным доверием. Поэтому я наперед уверен, что он не позволит себе злоупотреблять этим доверием и что, передавая в точности то, что я ему сказал, проявит должную осмотрительность, и визирь также будет удовлетворен. Я действительно предполагаю представить отчет императору обо всем этом, и в соответствии с указаниями е.и. в-ва я возьму на себя смелость написать Вам. Перейдем к другому посланцу.

Бедный Павкович в настоящее время проходит карантин. Его там будут держать как можно дольше. Я не сомневаюсь, что генерал М[эйтленд] уже по-дружески сообщил князю Меттерниху о посылке этого далматинца в Боку. Которскую, и его миссия, хотя вполне обычная и безобидная<sup>9</sup>, несомненно доставит нам удовольствие иметь объяснения. Однако в конце концов мы их убедим. Поскольку у нас нет ничего секретного или скрытого. Если я смогу увидеть этого славного человека перед моим отъездом, то не премину высказать ему соображения, которые, возможно, помогут ему выполнить свое поручение, не навлекая враждебности австрийцев.

Не хотите ли, господин барон, отвлечься приложением, касающемся плачевных дел Ионических островов. Не затруднит ли Вас просмотреть приложенную здесь сравнительную таблицу<sup>10</sup>. Посмотрите, как держава-покровительница истребляет и заставляет истреблять скудные ресурсы этой бедной страны. Она стремится развратить так называемых должностных лиц непомерным жалованьем. Этим она ничего не добьется, поскольку грабители никог-

да не могли завоевать доверие у ограбленных. Поэтому, чтобы удовлетворить алчность нескольких лиц, она вызывает ненависть и вражду многих против них и против покровительства, которое поднимает их за счет лишений народа. Утомив Вас всеми этими подробностями, я должен Вам сообщить, что мои личные отношения с генералом и его людьми самые наилучшие. С моей стороны, я тщательно избегаю входить с ним в объяснения, и, кажется, он также рад не делать этого. Если он заговорит со мной об этом первом, я буду говорить с ним искренне и правдиво. Именно этого он больше всего опасается.

Еще раз до свиданья, господин барон. С выражением самого искреннего почтения преданный Вам

*граф Каподистрия*

Прошу прощения за то, что вновь берусь за перо, чтобы докучать Вам. Генерал, которого я вчера видел, утверждает, что Вы просили императора об увольнении или об отпуске. Он спросил меня, знаю ли я что-нибудь об этом. Я ему ответил, что нет. И более, что Ваши последние письма не дали мне даже малейшего намека на это. Он получил из Константинополя письма, датированные весьма недавно. И я вижу, что он взволнован более обычного. Министерство в Англии в неустойчивом состоянии. Я ожидал этого, и мало кто проиграет от каких-либо изменений. Так как я не сомневаюсь относительно болтовни на мой счет, которую генерал должен был послать своему двору, особенно из-за приезда сюда всех пожелавших меня видеть, и так как, надо предполагать, об этом сообщат графу Ливену<sup>11</sup> или прямо в С.-Петербург, я осмеливаюсь предложить Вам самому говорить об этом в Ваших депешах. Сделать это сам я не могу, не имея подле себя никого для переписки и работы и не имея возможности использовать для этой службы иностранцев. Эту идею я целиком оставляю на Ваше усмотрение.

Я беру на себя смелость приложить здесь письмо доктору Мавроматису, который находится на службе у вождя сербской нации. Письмо это от его сестры или от имени сестры. Я знаю эту семью. Отец, недавно умерший в Пизе, был моим учителем и учителем моих братьев по греческому языку и литературе. Вы бесконечно обяжете меня, господин барон, если сообразоволяете приказать написать Милошу через его доверенного человека, который находится в Константинополе, что Вы рекомендуете этого врача как молодого человека, в котором принимают участие

все те, кто имеет обязательства по отношению к его семье. Я сейчас спешно запечатаваю. Иначе я никогда не кончу это письмо.

*Преданный Вам  
граф Каподистрия*

Вот письмо для Дашкова и другое, которое я убедительно прошу передать моему другу господину Карамзину<sup>12</sup>.

- <sup>1</sup> В письме Каподистрии от 17(29) января 1819 г., которое было доставлено на Корфу чиновником константинопольской миссии Л. Павковичем, Строганов ставил вопрос о нежелательности и вредности прямой переписки господарей Молдавии и Валахии с русским правительством, так как она мешает посольству России в Константинополе защищать интересы княжеств. Строганов сообщал также, что новый господарь Валахии А. Суццо считает, что он обязан своим назначением не русскому посольству в Константинополе, как это было на самом деле, а близкому к Каподистрии греческому митрополиту Игнатиосу.— ЦГАДА, ф. 15, д. 326, ч. 5, л. 82—87.
- <sup>2</sup> Митрополит Игнатиос (1766—1828) — греческий церковный и общественный деятель. В 1794—1805 гг.— митрополит Арты (Эпир). Поддерживал тесные связи с русским правительством. В 1805 г., опасаясь преследований Али-паши, бежал на Корфу. С 1815 г. постоянно жил в Пизе (Италия).
- <sup>3</sup> Каподистрия имеет здесь в виду переговоры Строганова с Портой о выполнении условий Бухарестского договора 1812 г. Он касается далее письма Александра I султану Махмуду II от 21 ноября 1818 г. по поводу этих переговоров, составленного в примирительном, дружеском тоне. См.: *Достян И. С.* Россия и балканский вопрос. М., 1972, с. 152.
- <sup>4</sup> Письма эти в данном деле отсутствуют. О содержании писем и упоминаемой записке Каподистрии «Соображения о способах улучшения участи греков» см.: *Ариш Г. Л. И.* Каподистрия..., с. 59—63, 183—187.
- <sup>5</sup> Генерал-майор Э. Г. Папандопуло командовал сформированным в 1805—1807 гг. русским командованием на Ионических островах добровольческим корпусом из греков и албанцев.
- <sup>6</sup> Али-паша захватил прибрежную область, так называемую бывшую венецианскую Албанию (за исключением Парги) в конце 1806 г.
- <sup>7</sup> Речь идет здесь о церковном празднике пасхи.
- <sup>8</sup> В связи с тем, что Д. Мострас, секретарь митрополита Игнатиоса, бежал вместе с ним на Корфу, семья Мострас подверглась преследованию со стороны Али-паши.
- <sup>9</sup> Л. Павкович имел поручение изучить положение в Черногории и Далмации. Подробнее см.: *Международные отношения на Балканах 1815—1830 гг.* М., 1983, с. 94.
- <sup>10</sup> В деле отсутствует. Судя по тексту, речь идет о сравнительной таблице расходов на управление на Ионических островах в период венецианского господства, русского и английского протектората. Соответствующие данные приведены в записке И. А. Каподистрии, направленной в 1819 г. английскому правительству. См.: *Rodocanachi E.* Bonaparte et les îles Ioniennes. Paris, 1899, p. 299—304.



<sup>11</sup> Х. А. Ливен — посол России в Великобритании в 1812—1834 гг.

<sup>12</sup> Текст письма И. А. Каподистрии с Корфу от 11(23) апреля 1819 г. известному писателю и историку Н. М. Карамзину см.: Переписка графа Каподистрии с Н. М. Карамзиным.— «Утро». Литературный и политический сборник. М., 1866, ч. 2, с. 196.

*А. С. Мыльников*

**Из переписки В. К. Клицпера  
с Я. Н. Штепанеком**

Вацлав Климент Клицпера (1792—1859) и Ян Непомук Штепанек (1783—1844) занимают видное, хотя и разное по значимости место в истории чешской художественной культуры эпохи национального Возрождения. Клицпера принадлежал к тому поколению чешских писателей, на долю которых выпали создание и обогащение репертуара национальной литературы чешского народа. Основная его заслуга заключалась в развитии чешской драматургии, прежде всего комедии, носившей социальный и национально-патриотический характер. В его пьесах, по наблюдению исследователя, отразился интерес к жизни мелкого городского люда, элементы реалистического изображения действительности. Вместе с тем в них еще сильны отзвуки поэтики классицизма с характерными для нее риторикой и умозрительными ситуациями — все это служило способом, а порой и предлогом для пропаганды идей национального патриотизма: Клицпера смотрел на театральную сцену как на важнейший инструмент общественно-политического воспитания своих современников.

Позиции Штепанека были несколько иными. Он сыграл существенную роль в становлении чешского театра и расширении репертуара на чешском языке. Он выступал и как руководитель-организатор театрального дела в Чехии, и как актер и режиссер, и, наконец, как автор оригинальных пьес, переводов и переработок зарубежной драматургии. Значительное внимание уделял он национально-патриотической тематике, в частности пропаганде героических традиций чешской истории. Проявлял он и интерес к жизни простого народа. Будучи в основном приверженцем поэтики классицизма, Штепанек в ряде своих произведений обнаруживает и некоторое влияние на него романтических и отчасти реалистических идей. Однако в

пьесах, а еще в большей мере в его организационно-театральной деятельности проявилось стремление к развлекательности, к кассовому успеху. Этим творчество Штепанека, отразившее эстетические и идейные интересы сформировавшихся буржуазных слоев Чешских земель, значительно отличается от демократической тенденциозности Клицперы. Это обстоятельство во многом определило и весьма сложные личные взаимоотношения между двумя представителями чешской культуры первой половины XIX в.

В то же время пути того и другого постоянно пересекались. Оба они приняли активное участие в деятельности Общества любителей чешского театра, сложившегося в Праге в 1812 г. На целое десятилетие старше Клицперы, Штепанек занимал в театральной жизни Чешских земель определенное место, когда его младший современник еще только обращался к драматургии. А с 1824 г., когда Штепанек становится одним из директоров Сословного театра в Праге, роль его как организатора становится необычайно важной — ведь он отвечал за репертуар на чешском языке. Это не могло не накладывать заметного отпечатка на его взаимоотношения с чешскими писателями того времени, в том числе, конечно, и с Клицперой. Это ощущается и в тональности письма к нему Клицперы, которое публикуется ниже.

Автограф занимает четыре страницы и написан по-чешски с соблюдением старой орфографии в 1827 г. Как видно из содержания, письмо было послано Штепанеку вскоре после написания Клицперой его пьесы «Женская война». Избрав традиционный сюжет девичьей войны времен легендарной Либуше (он отражен, например, в хронике Козьмы Пражского), автор перенес его в обстановку небольшого городка у Крконош. Действие происходит в XII в. и решено в плане комедии нравов.

Подлинник письма Клицперы хранится в рукописном отделе Научной библиотеки Тартуского государственного университета Эстонской ССР. Туда он поступил в составе коллекции бывшего хранителя петербургского Эрмитажа и страстного собирателя автографов Фридриха (Льва Александровича) Шардиуса (1795—1855). Шифр: коллекция Шардиуса, № 1511. Частично письмо опубликовано в кн.: *Мыльников А. С. Культура чешского Возрождения*. Л.: Наука, 1982, с. 90. Приношу благодарность доц. Оломоуцкого университета (ЧССР) М. Крбцу за консультацию в процессе транскрипции чешского текста.

Письмо В. К. Клицперы к Я. Н. Штепанеку,  
Прага, 1827 г.

С какой бы просьбой я к Вам ни обращался, никогда л. 1  
Вы мне не отказывали, и надеюсь, что и ныне Вы не ли-  
шите меня надежды, что меня выслушаете благосклонно и  
тем меня навеки обяжете.

Вам лучше, чем кому-либо другому, известно, сколько  
я предпринял усилий, чтобы познакомиться с театральным  
делом и подготовиться к драматургической поэзии.  
Я всецело предан этой цели и думаю о ней повсечасно и  
отдаю этому все свое духовное напряжение, насколько то  
позволяют мои служебные обязанности и образование<sup>1</sup>,  
хотя и вижу, что мое воздействие на нацию еще слабо. До  
сих пор персонажи стоят как мраморные статуи и испол-  
нению их в театре недостает живости и огня. И я решил  
большую часть своих сочинений предназначать только  
театру и вверить их Вашему попечительству по приведе-  
нию чешского театра в совершенство.

Мне знакома моя работа, и я знаю, что по причине за- л. 2  
висти, как о том думают в чешском народе, она потому не  
идет в театре, что либо слишком затянута слабым выпол-  
нением, либо я таков, что не могу легко сработаться с  
той труппой, которую Вы в настоящее время уже имеете.  
Я знаю широту Вашего управления [театром] и знаю, что  
у Вас очень мало времени, чтобы Вы все время могли за-  
ниматься только этим, и все равно Вы больше, чем кто-  
либо из нас, создали пьес, и все же включите меня в свою  
работу, покажите, в каких стихах Вы еще нуждаетесь,  
и все, что в моих окажется силах, я вскорости выполню.  
Как Вы [были] и остаетесь отцом чешского театра<sup>2</sup>,  
всегда известным в истории нашего творчества останется  
Ваша деятельность, Ваше директорство, так и немалая  
хвала и честь Вам за то, что Вы поддерживали человека,  
который встал под Ваше знамя, закалялся рядом с Вами  
и следовал Вашим замыслам, что Вы дали место его пло-  
дам в храме, где сами были главным жрецом.

В этот месяц я написал комедию «Женская война», на- л. 3  
писал я ее только для театра и особенно для того, кото-  
рый ныне расцветает в Праге<sup>3</sup>, принимая во внимание,  
чтобы она и звала народ в театр и там его развлекала.  
Насколько мне это удалось, благоволите оценить сами.  
При сем, стало быть, посылаю Вам сочинение с той прось-  
бой, чтобы Вы приняли их для исполнения и, если они  
дождутся трех исполнений за год, пожертвовали бы мне с

третьего представления половину [сбора] за мои бессонные ночи и непосильные труды. Я удовольствовался бы такой сделкой, для которой за 15 лет кое-что подготовил, чтобы пополнить свой тощий кошелек, и, буде случится такое, был бы Вам благодарен. Проявите ко мне доверие и уверьтесь преданности, с которой я Вам целиком отдаюсь.

л. 4 Если же по какой-либо причине мою просьбу нельзя было бы выполнить, тогда прошу: первое, чтобы Вы сохранили текст моего письма у себя; во-вторых, будьте уверены, что я не имею ни малейшего отношения ко всему, что бы обо мне или о моих сочинениях ни говорили и ни писали в Вашем окружении, впутывая сюда мою личность; в-третьих, чтобы Вы и теперь и на будущие времена забыли и простили мне все, чем я Вас вольно или невольно оскорбил. Наконец, прошу, чтобы Вы дружески приняли этот экземпляр моего альманаха и нашли хоть четверть часа, чтобы с ним ознакомиться<sup>4</sup>.

Дорогой супруге извольте поцеловать от меня почтительно руку.

Ваш друг и почитатель Клицпера.

<sup>1</sup> С 1819 по 1846 г. Клицпера работал преподавателем гимназии в Градце Краловом. Среди его учеников здесь, а позднее в пражской академической гимназии (с 1846 г.) находились Я. Неруда, И. В. Фрич, В. Галек и ряд других видных чешских писателей и общественных деятелей середины XIX в.

<sup>2</sup> Подразумевается в первую очередь роль Штепанека как «директора чешских пьес». За время работы его в Сословном театре с 1824 по 1834 г. было сыграно около 320 пьес на чешском языке, в том числе 56 по пьесам самого Штепанека. За этот же период по пьесам Клицперы состоялось лишь 22 спектакля.

<sup>3</sup> Речь идет о пражском Сословном театре, роль которого в национально-культурном развитии Чешских земель на рубеже 20—30-х годов XIX в. была значительна.

<sup>4</sup> К тому времени, когда Клицпера написал это письмо, в Градце Краловом вышел четырехтомный «Театр Клицперы», содержащий 10 пьес и начался выпуск «Альманаха театральных пьес» (*Almanach dramatických her*, 1825—1830) — ежегодно по одному тому. Пьеса «Женская война» была включена в третий том «Альманаха» за 1827 г. Эту публикацию Клицпера и послал Штепанек в приложении к своему письму. Просьбы своего младшего коллеги Штепанек, как видно выполнил — пьеса, хотя и не сразу, была поставлена на сцене Сословного театра, а автограф письма — сохранил.

М. Ю. Досталь

**Первая лекция О. М. Бодянского  
в Московском университете**

**(24 сентября 1842 г.)**

30 сентября 1842 г. в книжной лавке Московского университета происходила распродажа очередного номера журнала «Москвитянин», где между прочим сообщалось: «После пятилетнего пребывания в странах словенских возвратился наконец наш магистр О. М. Бодянский, изучивший 12 живых наречий и 2 мертвых. Таким образом, кафедра славянских наречий и литератур наконец открыта и утверждена навсегда в Московском университете. Какое новое славное поприще открывается для русского юношества! Как должна процвести наша отечественная филология, которая будет иметь теперь прочный всесловенский корень! Г. Бодянский собрал славянскую библиотеку в 5000 томов, которая скоро прибудет сюда»<sup>1</sup>. Это было единственное в русской прессе упоминание о возвращении в Москву магистра О. М. Бодянского и начале работы кафедры «истории и литературы славянских наречий». Как известно, Осип Максимович Бодянский (1808—1877) в 1837 г. был отправлен за границу, чтобы получить профессиональную подготовку для занятия кафедры славистики в Московском университете. В его отсутствие кафедру замещал в 1836—1842 гг. профессор М. Т. Каченовский<sup>2</sup>, историк по специальности. О. М. Бодянский с честью справился с поставленной перед ним задачей. Он посетил Чехию, Словакию, Сербию, Славонию, Хорватию и другие славянские земли Австрийской монархии и Пруссии, собрав массу разнообразного материала по славянской филологии, фольклору, истории. Получив богатые и обширные знания по славистике у ведущих немецких и западнославянских ученых, О. М. Бодянский смог уже через непродолжительное время начать читать свои первые лекции по славистике. 27 октября 1842 г. он писал известному слависту П. Й. Шафарику о начале своих чтений. Письмо это, к сожалению, до нас не дошло, некоторые подробности о его содержании П. Й. Шафарик сообщает М. П. Погодину в письме от 8—15 декабря 1842 г. Шафарик пишет, что Бодянский, сообщая «о начале своего учебного курса», говорит «о таких вещах, как, например; славянство...», и подобных «модных мечтаниях и фантазиях»,



которые, с точки зрения Шафарика, являются «сумасбродными» и о которых он «ничего не знает и знать не хочет»<sup>3</sup>. Таким образом, по свидетельству Шафарика, Бодянский касался в своей первой лекции не столько научных, сколько общественно-политических вопросов, связанных с положением современного славянства. Отсюда видно, что вступительная лекция Бодянского представляет большой историко-научный интерес для уяснения позиции ученого в славянском вопросе, его общественно-политических взглядов и мировоззрения, а ее анализ мог бы определить те научные задачи, которые Бодянский ставил, начиная преподавание славистики в Московском университете. Все это имеет важное значение для изучения начального этапа становления университетского славяноведения в России.

В 1982 г. в Отделе рукописей института литературы АН УССР им. Т. Г. Шевченко я познакомилась с рукописью О. М. Бодянского, названной архивистами по первым словам ее текста «О судьбе народов...» (ф. 99, д. 24), которая еще не привлекала внимания исследователей. Судя по содержанию, это была обзорная лекция, предваряющая изложение курса славистики.

Существенный вопрос составляет датировка рукописи. В историографии до сих пор не было точного указания о дате вступительной лекции О. М. Бодянского в Московском университете. Предположительно указывались октябрь или сентябрь<sup>4</sup>, ибо действительно эта лекция могла быть прочитана в промежутке между 9 сентября (время возвращения ученого в Москву)<sup>5</sup> и 21 октября 1842 г. (дата письма Бодянского, не сохраненного Шафариком). В конце рукой Бодянского чернилами написано «24/IX 1843 года, четверг, Москва», но цифра 3 жирно исправлена карандашом на 2. Нет сомнения, что это исправление соответствует действительности. Во-первых, лекция содержит свежие впечатления от путешествия Бодянского, о чем прямо сказано в конце рукописи. Во-вторых, все приводимые ссылки на литературу не выходят за рамки середины 1842 г. В-третьих, неточности в именах, географических названиях, исторических реалиях и пр. свидетельствуют, что лекция писалась по памяти, без обращения к литературе; в то же время известно, что библиотека Бодянского прибыла в Москву намного позже ее хозяина. Приведенная в начале статьи заметка из «Москвитянина» также косвенно свидетельствует о начале чтений до 30 сентября 1842 г. Наконец, весьма существенно, что четверг 24 сентября прихо-

дится именно на 1842, а не на 1843 год. Таким образом, не подлежит сомнению, что первая лекция О. М. Бодянского в Московском университете была прочитана именно 24 сентября 1842 г.<sup>6</sup>

Чем же так примечательна вступительная лекция О. М. Бодянского и чего в ее содержании опасался П. Й. Шафарик? Путешествие ученого по славянским землям происходило в период, когда национально-культурная программа первоначального этапа национальных движений славянских народов была во многом выполнена, национальное самосознание передовых слоев общества (часто еще облеченное в форму всеславянского патриотизма) в целом сформировано; в период постепенного перехода к осознанию политических задач национального движения, в конечном итоге направленного на создание самостоятельных национальных государств. Общественная, мысль многих славянских народов тогда пыталась найти путь решения национального вопроса. Примечательно, что уже в 40-е годы она уловила две тенденции в его развитии: одну — к национальному обособлению, максимальному проявлению «самобытности», другую — к сближению народов, интенсивному обмену культурными ценностями, формированию единой человеческой цивилизации. Выразителями первой тенденции были многочисленные «славянские патриоты», деятели национального Возрождения, а в России — славянофилы и отчасти приверженцы теории официальной народности; выразителями второй — славянские «космополиты» и русские западники.

О. М. Бодянский был несомненно знаком со взглядами представителей противоборствующих сторон по переписке и личному общению, на статью одного из так называемых космополитов — чешского философа Ф. Клацеля — даже ссылается в лекции, взяв из нее цитату, соответствующую своим воззрениям. При этом он совершенно определенно заявил о себе как стороннике тенденции самобытного развития.

Как многие русские и западнославянские последователи И. Г. Гердера, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля и других немецких философов, он рассматривал народ (нацию) как определенное нравственное лицо, обладающее собственным характером. Главными элементами, определяющими нацию, были, по представлениям Бодянского, язык, нравы, обычаи, религия, т. е. все то, что принадлежало к сфере национального самосознания и психического склада. Каждый народ был, по его мнению, носителем определен-

ной идеи, предопределенной провидением, выразить которую через наиболее полное развитие своей самобытности он мог только достигнув периода возмужания и зрелости, внося тем самым свою лепту в сокровищницу мировой цивилизации. Славянское «племя», которое Бодянский рассматривал как единый народ, с его точки зрения, как раз вступило в период зрелости и было готово выполнить свою общечеловеческую миссию: народы же Западной Европы уже выполнили предназначения провидения, одряхлели и состарились. В этом пункте рассуждений Бодянский сходился с М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым и славянофилами, но в отличие от них, видевших в новой России апогей развития человеческой цивилизации, как, скажем, ранее Г. Гегель в современной ему Пруссии, в отличие от чешских публицистов, считавших историческим предназначением Чехии служить посредником в распространении западноевропейской цивилизации среди прочих славян<sup>7</sup>, Бодянский развил утопическую триаду Гегеля далее всего: «Новь в том, чтобы вполне ответственность великому назначению своему быть посредниками между просвещенной Европой и темной Азией, усвоить по себе и потом передать этой последней ее достояние и, следовательно, отблагодарить ее за первичное образование, исшедшее от нее к миру».

Примечательно и то, что Бодянский имел в виду не только Россию, но и славянство в целом. Конечно, все подобные философские рассуждения были насквозь идеалистичными, далекими от реальной политики, хотя они и отражали в абстрактном виде некоторые общественные тенденции, такие, как, например, насущная для России и славянских земель в условиях капиталистических отношений необходимость освобождения от засилья иностранцев во многих областях жизни, формирования собственной национальной культуры. Поэтому борьба О. М. Бодянского вместе с публицистами «Москвитянина», славянофилами и славянскими «патриотами» за развитие национальной самобытности была относительно прогрессивным явлением.

Лекция О. М. Бодянского проникнута идеей славянской культурной и научной взаимности, имевшей в то время широкое распространение среди славянской интеллигенции и получившей разные общественно-политические интерпретации. Всячески открещиваясь от идей политического панславизма, которые приписывали славянам немецкие публицисты, Бодянский не выдвинул, однако, никакой конкретной программы совместной культурной дея-

тельности славян и остановился только на признании насущной необходимости единства и сплоченности славянства, максимального развития национальной самобытности славянского мира перед лицом Западной Европы.

Подобные достаточно безобидные идеи часто мелькали на страницах «Москвитянина», но и они казались опасными царской администрации. Достаточно сказать, что министром народного просвещения С. С. Уваровым после доноса попечителя московского учебного округа С. Г. Строганова на этот журнал летом 1842 г. был подготовлен специальный циркуляр для цензуры с предложением «положить некоторые ограничения изъятиям в русских изданиях сочувствия и участия в делах славянских племен, к иноземным державам принадлежащих»<sup>8</sup>. В тот момент С. С. Уваров не посчитал необходимым дать ему ход. Лекция О. М. Бодянского свидетельствует о том, что он еще не вполне адаптировался к российским условиям и, не зная о сгущавшихся «тучах» над славистикой, излагал свои воззрения достаточно свободно. Тем не менее отнюдь не случайно, что первые его чтения посещал московский генерал-губернатор Д. В. Голицын<sup>9</sup>, которому было известно и о записке С. Г. Строганова. В дальнейшем Бодянский в лекциях никогда не выходил за рамки академической науки<sup>10</sup> — его вступительная лекция оказалась, таким образом, единственной в своем роде.

Лекция О. М. Бодянского показывает его широкую эрудицию, знакомство с трудами западноевропейских и славянских ученых, свободное владение материалом по древней и современной истории славянских и других европейских народов, славянскому и индоевропейскому языкознанию и пр. Она содержит ряд любопытных этнографических наблюдений Бодянского, например над словацкими торговцами мелким товаром. Взгляды ученого на развитие славянских языков были типичными для романтического направления в филологии того времени, возглавляемого немецким языковедом Я. Гриммом. Их разделяли многие славянские филологи: П. И. Шафарик, И. Юнгман, В. Ганка, В. Караджич, Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, С. П. Шевырев и др. Таковы, например, рассуждения О. М. Бодянского о языке как проявлении национального духа, как свидетельстве степени образованности народа и пр. По представлениям многих филологов-романтиков, «чистота» языка, отсутствие в нем иноязычных влияний — одно из главных доказательств его «самобытности». Сохранение такой «чистоты» и «девственности» языка при-

писывалось О. М. Бодянским и его коллегами славянским языкам в отличие от других западноевропейских. Отдельные исторические факты, приводимые в лекции, также трактовались О. М. Бодянским с позиций романтизма.

Интерпретация учеными насущных задач общественного развития славянских народов свидетельствует о близости его позиции к направлению «Москвитянина», с редактором которого М. П. Погодиным в то время Бодянского связывали дружеские отношения.

В отличие от И. И. Срезневского, основной пафос вступительной лекции которого в Харьковском университете 16 октября 1842 г. был направлен на доказательство необходимости именно русским студентам и обществу изучать современное славянство<sup>11</sup>, Бодянский пытался доказать тот же тезис исходя из идей научной и культурной славянской взаимности, не учитывая, однако, что они не имели в России в то время достаточного распространения. К сожалению, в лекции не было дано никакой программы дальнейших славистических чтений.

Тем не менее объективно первая лекция О. М. Бодянского внесла свою лепту в становление славистики в Московском университете. Впервые в его стенах студенты получили возможность получить целостное представление о современном положении славянских народов, культурных задачах их национальных движений, взглянуть на историю и развитие языков славян глазами одного из сторонников славянской взаимности.

\* \* \*

Рукопись вступительной лекции О. М. Бодянского в Московском университете представляет собой тетрадь большого формата в твердом переплете (все рукописи Бодянского были переплетены коллекционером А. А. Титовым) с 25 (23 по нумерации ученого) страницами текста, написанного чернилами с обеих сторон листов. Стиль несколько витиеватый, с использованием церковнославянизмов, славизмов, просторечных выражений. Почерк — размашистая скоропись, местами трудно читаемая. Ниже публикуется текст рукописи с некоторыми незначительными сокращениями, содержание которых объяснено в комментариях. Подчеркнутые Бодянским слова выделяются курсивом. Сокращенные слова восстанавливаются в квадратных скобках.



## О. М. Бодянский. О судьбе народов

Судьба народов, кажется, во всем сходна с судьбой человека. Это повторение того же самого только в большем размере. И потому, что можно сказать о человеке, его личной особенности как существе отдельно взятом, его жизни от колыбели до могилы со всеми ее разнообразными изменениями, то самое можно повторить и о целом народе без малейшего исключения. Да и возможно ли иначе, если последний только совокупность единиц разумно-словесных, целое, образовавшееся из *народу*, того, что народилось, как об этом говорит уже самое его название на многих языках. Каждый народ имеет *свое время* полного *проявления* себя в том виде, как он есть, создан со всем добрым и злым. Это время — когда исполнятся дни *возраста*, *дни лет*: пора жизни общеживотной, *прозябательной*, приготовления и искусства пройдет, и наступит пора деятельности жизненной, *самосознания* [...] <sup>12</sup>. Эта пора независимости, сознания собственного достоинства, пора самобытного существования, разумеется прилежно преследуемого вниманием друзей и недругов, жизни народа, пора его *народности*. А где народ сознал себя, ведает о своей ценности, там нечего ему бояться за себя, что он сойдет с ристалища незамеченным, незаписанным в свиток бытий, в книгу живота [жизни.— М. Д.], потому что с этих-то пор, с началом настоящей жизни, становящейся достоянием истории, собственно начинается его законное право на внимание к себе других, с этих-то пор наперерыв большой и малый подмечают все его шаги, приемы, движения, действия и намерения.

Славяне, несмотря на всю свою многочисленность и старобытность в Европе (в чем не только не уступают ни одному европейскому племени, напротив, первыми превосходят каждого из них), никак не могли приковать к себе постоянного взора других до самого новейшего времени. Мы разумеем взора на себя как на *целое*, всех, взятых вместе, без дробления. Иначе, были поколения славянские, пользовавшиеся тут те, там другие, большим-меньшим вниманием к себе чуждых; но все это было частное, непостоянное, временное, к одному известному члену огромного тела славянского. Потому что славяне, подобно каждому народу, великому или малому, каждому человеку, пока не пришли к самосознанию себя как одного *целого*, не могли и пользоваться *одинаким* равным вниманием к себе, ко всем своим членам признаваемым не чем-то отдельным,

но существенной и не дробной частью одного общего состава; потому что до того каждая частица его почитала себя целым и знать не хотела о других. Оттого мы видим много славянских ветвей, показавшихся на поле деяний с неменьшим шумом, блеском и славою, как и другие народы, невольно обращавших к себе взгляды современников; но долго ли это продолжалось? Пока бушевала буря, до тех пор и смотрели на нее, некоторые даже, может статься, трепетали; утихала она — и все приходило в обычный порядок, снова шло знакомой колеей, занималось больше близким и важным для себя почему бы то ни было. Там же было одно только вынужденное состояние, внимание, вызванное неестественностью, странностью явления. Правда, говорили много и досыта о каком-нибудь царстве Самовом, Сватополковом<sup>13</sup>, о всех наших княжествах, королевствах и т. д., на берегах Балта, Понта и Адриатики, Лабы, Вислы, Дуная, Дравы и Моравы, Волтавы, Днепра, Волги и Москвы, но говорили не как о чем-либо *неделимом* при всем своем делении, как, например, о племени греческом, ромском и немецком, нет, но как о членах разметанных *membris disjectis*, важных только по своему временному появлению. Если какой народ, племя не доказали своего достоинства существенным своим весом, то ничего не помогут все возгласы об его частных внутренних и внешних качествах, телесном превосходстве или многочисленности богатств земель, им занимаемых, благозвучии и гармонии языка и т. д. [...] <sup>14</sup> Сколько написано рассуждений и книг о гармонии, мелодии, богатстве и т. п. наших славянских наречий, а все, не взирая на справедливость самой вещи и такое множество защитников и хвалителей ее, может ли хоть одно из них похвастаться такой расположенностью к себе наших соседей и несоседей, как упомянутый язык (английский.— М. Д.) или французский и немецкий? Даже самый благозвучный из благозвучных язык Данте и Тасса давно уже не пользуется любовью нашей. Следовательно, надо значить что-нибудь, заключать в себе истинное достоинство, быть высоким к своему внутреннему и внешнему, и тогда существенная важность магнетически привлечет к себе толпы поклонников, почитателей, любителей и знатоков.

Наконец, пришла на нас *очередь* появиться, говоря мовами [языками.— М. Д.] нашего народа, и на *нашей улице праздник*. Эта очередь, этот праздник есть следствие только внутреннего зрания славян, плод самосознания собственного своего достоинства, своей общеславянской значи-

тельности, единения и братского согласия и взаимности в деле народности, этом итоге всей доселешней жизни, чистейшим и вернейшим отражении ее, этом, так сказать, двойнике народа. Посмотрите, не минуло еще десятилетия с появления первых признаков этого общеславянского зренья<sup>15</sup>, общительности, единокорного и единовременного, во всех концах неизмерного славянского мира, стремления к ближайшему знакомству поколения с поколением, и вы видите уже, как все заговорило в один голос, не о какой-либо одной славянской отрасли, народе, напротив, о целом племени, целом славянском 90-миллионном народе<sup>16</sup>, о славянстве. *Вижу, бо есть время: суть время расти и спяти.*

Пора спяния к нам приблизилась и — вот все спешит взглянуть на ниву, как наливаются колосья, видеть, раскинуть умом вперед, какова-то будет жатва, что-то сулит в будущем это поле. Все заметили, что *напоследок*, долго *незамечаемое* вследствие естественного постепенного развития всего в подсолнечной, славянское племя теперь вступает в свой возраст возмужалости, пришло сменить своих предшественников, что наступила пора *ему расти, им же малитися*. Уже одно то обстоятельство, что этот переход [...] \* в одно и то же время всюду подсмотрен, говорит о непринужденности и всеобщей необходимости.

Чего в несколько десятков столетий ни гром оружия славянских богатырей — тут Жижки, Болеславов и Собеских, там Душанов и Диордиов<sup>17</sup>, а там Святославов и Петров, ни слава наших народных Боянов и Славоев<sup>18</sup>, — не в силах были произвести, то в несколько лет, когда *пришло свое время*, случилось без малейшего напряжения и обхватило пламенем своим всю толпу. Отсюда нет уголка в славянском мире, где бы *славянская народность* была неведома, не приводила в сотрясение, не электризовала собою и вызывала на всякого рода пожертвования в ее защиту, сохранение и распространение. Говоря о такой повсеместности общеславянского направления между всеми поколениями нашего племени, мы разумеем тут представителей народа, его двигателей, лучшую и, так молвить, *народнейшую* часть его, в руке коей заключается его настоящее и будущее — духовенстве, мещанстве и ученых. **Высшее общество** не всегда составляет собой опору **народности**: оно везде и всегда больше граждан мира и

\* Слово неразборчиво.

меняет свои взгляды, правила, мнения, желания и надежды также легко, как свое платье.

Но возможны ли какое-либо единение, общение, взаимность между различными членами многоветвистого народа без единения, взаимности и *языка* — точки соприкосновения для всех и каждого, огнища, в коем все разбросанные лучи снова сходятся и зажигаются одним общим огнем, с равной быстротой пробегающим по жилам их и воспламеняющим равной любовью к своему, родному. Язык есть самое искреннее нелицетворное отражение народа со всем его наличным имуществом, или, лучше, — это сам народ, олицетворяющийся в слове. Каков язык — таков и народ, и наоборот [...] \*. Беден язык словами — беден и народ на понятия, стоит еще в колыбели своего рождения, что до того, что он уже несколько веков гуляет по белу свету: это жизнь растительная, общая со всеми прочими одушевленными и неодушевленными; напротив, богат язык — богат и народ жизнью духовной, умственной, разумно-словесной.

По большему или меньшему количеству коренных и производственных слов правильно заключают о большей или меньшей степени образования того или другого народа, больше или меньше работал он своей головой в деле совершенствования, возвышения себя от существа животного к существу разумно-просветленному. А чем больше у него чужезычных слов, тем менее видно самобытности личной, непосредственной, тем такой язык неспособнее по своей природе, своему составу и сущности быть орудием человеку к самообразованию [...] \*\*

Тут язык служит самой лучшей вывеской прѳсвещения народа, степени нравственной, духовной и деловой его высоты: по степени обработки языка в народной словесности не ошибочно можно судить и о степени образованности самого народа, об его любви к нему, попечении о сохранении и совершенствовании его или, другими словами, самого себя, так как языколюбие и народолюбие есть одно и то же, одно непременно предполагает другое. Еще мир не видел образования какого-либо народа по всем его состояниям без образования его языка помощью иностранного — так, чтобы все прѳсвещение совершилось на этом последнем и народ, говоря своим родным языком, прѳсветился таким образом.

\* Далее идет развитие той же мысли.

\*\* Далее развитие той же мысли.



Одно какое-либо сословие, обыкновенно высшее, возможно, но не более, хотя знакомство с чужими языками, богатыми своей жизненностью, необходимо для скорейшего и легчайшего образования себя, потому что просвещение составляет собой общее достояние всех народов с тою разницей, что всегда один народ, подобно человеку, больше или меньше помогал другому, младшему в его образовании, никогда не достигал при помощи только собственных сил и средств высшего просвещения, но вечно был выводим другим, опередившим его своей духовной жизнью. Естественно, начатки были на языке учителя и ученика, но потом, когда ученик прошел азбуку, познакомился со складом и ладом грамоты, вышел из учней, языка учителя уже мало для дальнейшего самообразования: тут требуется что-то другое, более гибкое и действительное, более послушное, эластичное и вместе с тем другое, доступное, близкое нашей душе.

А что же может лучше выполнить эту задачу, как *не язык* наших праотцов, всосанный нами с молоком матери, наш первый, неразлучный и вернейший сверстник и товарищ, с которым мы всегда запросто и без обиняков, кого мы знаем, и он нас знает, знаем его, а он наши силы и средства, и главное — полная уверенность во всегдашней готовности ко взаимным услугам и помощи на пути к дальнейшему обоюдному самосовершенствованию. Оттого-то народы, стремившиеся неутомимо к высшему образованию, коим дело шло не о внешнем блеске и гладкости, но о настоящем высшем духовном просвещении, всегда и всюду, вышед из-под опекуинства, первым своим долгом почитали образованность, чистить и холить родной язык — условие дальнейших успехов в народном деле.

Но к самосознанию такой важности языка родного человек и народ не прежде приходят, как по вступлении в пору зрения своей жизни; до того же довольствуются безотчетной привязанностью к нему. Вот где, следовательно, причина, отчего в наше время славянские племена с таким желанием бросились на ближайшее, отчетливейшее знакомство с языками собратий своих, видя в нем решительно главную основу народной жизни, важнейший двигатель народного образования и направления, единственное средство *всеславянского* общения, без малейшего посягательства на государственные и вероисповедные отношения, оставляя эти в стороне как вовсе не идущие к делу и, однако же, нисколько не угрожаемые такой общительностью. Говорим так со слов и поступков лиц, при-



званных своим мнением и званием наблюдать за сохранением границ этих трех областей — *литературной, политической и религиозной*.

Народы и правительства убедились напоследок, что для образования государств мало *язычной* народности. есть что-то высшее, соединяющее самые иноязычные и иноплеменные поколения в стройное целое, что стремление народов к письменному книжному общению совершенно в природе вещей, необходимо для их собственного блага уживаться со всяким образом правления, что идти противу него вовсе несогласно с здравым смыслом, значит, посягать на жизнь миллионов, лишая их самого первого, ближайшего, непосредственного орудия к самообразованию, данного каждому его творцом. Дни насилий в царстве языков вовсе теперь несогласны с духом времени: предоставьте каждому быть тем, чем бог его создал, чем он может сделаться при помощи средств политики или от самой природы, пускай язык, а с ним и его народность следуют ходу своего развития; каждому свое право.

«Каждый человек и народ, пришедшие к нравственному самопознанию себя и своего предопределения, обязываются любить и защищать свое больше жизни, уважать и не угнетать чужого: это священный долг каждого», — сказал недавно в своем новейшем сочинении глава современного славянского любословия [...] <sup>19</sup> «Народ же, сам отказывающийся добровольно от своего языка в пользу другого, особенно совершенно ему чужого, без всяких других побуждений, есть явление небывалое, несбыточное; а если бы и повторилось где такое событие, то отрекающийся своего языка был бы самоубийцей и потому должен дать ответ в том богу, коего таким образом нарушил обычные и неизменные законы». С другой стороны, «кто судит и рядит с намерением или без намерения о мирогражданстве космополит[изме] в языке, тот, продолжает Шафарик, кто бы он ни был, лжет или же еще нечто хуже того». [...] <sup>20</sup>

Привязанность славян к своему языку неменьше изумительна. Известно, ни один европейский народ, ни в старину, ни теперь не может соперничать с нами в многочисленности и огромности пространства наших жилищ и сельбищ. От пределов Северо-Америк[анских] Соедин[енных] Общин до берегов Лабы в Поморье, границ Баварии в Шумаве, или Чешского леса, и волн Ядранского (Адриатического), от Белого и Ледовитого морей до Черного и Хвалынского <sup>21</sup>, от устья Моравы до устья Вардара сла-

вяне на всем этом страшном пространстве — шириной в 19, а длиной 27 тысяч верст, занимая самые разнообразные земли, в климате [все]возможного рода и всех причуд погоды, под властью столь противоположных от корня до ветвей правлений, законов и постановлений, принадлежа ко всем христианским вероисповеданиям, и даже преследуясь вместе с сынами Агари<sup>22</sup>, разъединенные, разобщенные испокон всем, что только может на этом свете разъединять и разобщать, славяне вопреки нерасположению, гневу и гонениям судьбы вековечно удерживали за собой одну тоску взаимного братского общения, для охранения коего всем жертвовали, все готовы были вытерпеть, но *язык*, этот Соломонов храм<sup>23</sup> единения и родственной любви, отстояли и не позволили иначе расстаться с ним, как вместе с жизнью. А уже никакое из наречий славянских не удалилось так одно от другого, не представляет собой такой разницы, какую находим между романскими и немецкими языками. [...] <sup>24</sup> Так, возьмем русского, охотящегося в якутских чащах и дебрях за соболями или занимающегося разведением шелковичных червей при подошве Арарата, и сведем его с тихим селянином на островах Спровы<sup>25</sup>, никогда не оставляющим своего захолустья, или с Черногорья, вечно стерегущий с *дутой пушкой* (ружьём) в руках свои снежные вершины, последний приток свободы южных славян<sup>26</sup>, или бедного кашеба, единственный остаток наших бесталанных поморских собратий, моравца, богатого землевладельца берегов роскошной и плодоносной Ганы<sup>27</sup>, и поставим их с полудиким болгаром гор Рильских, чернорусом, погрязшим в своих Пинских болотах<sup>28</sup>, и увидим, что не пройдет четверти часа, а уже беседа у них будет в полном разгаре, славянская речь, словно чаша зелена вина, полетит от уст к устам и всё [с] такой ненатянутостью, свободой, с обычной славянской сметливостью и расторопностью.

Кто не видал или, по крайней мере, не слышал о *дратниках* (проволочниках), особенном словословии людей из Тренчинского округа в северной Венгрии, словаках, обитающих в самом неблагоприятном и скудном крае, необозримой цепи голых и бесплодных скал, которые в своих сплошь обхватывающих холостяных изорванных гатях (штанах), изношенных *бачкорах* (род полусапог), в чумацкой рубахе, коротеньком, щитовидном плаще цвету телячьей шерсти, с длинными волосами, развивающимися по плечам, прикрытыми округлою шляпою с широкими

полями, вечно со связкою *драту* (провода) в одной и бронзовой трубкой в другой руке и вечно однообразным: «*Koupte rapesku!* «Купите, барин!». Или кто не знает земляков их, *олейкаров*, разносящих в ящиках за спиной под своими голубыми длинными плащами разного рода целительные, большей частью невинные лекарства и известных у нас на Южной Руси под именем цесарцев, т. е. выходцев из Цесарии, Австрии, или же *платеников*, тех же словаков, странствующих по всей Европе с большими свитками *холста*, этого главного произведения рук наших соплеменниц с берегов Вага, Грона и Попрада, единственной отрасли промышленности в их каменистой родине, доставляющей сколько-нибудь значительный доход. Кто не знает, повторяем, этих трех славянских *особняков* (оригиналов), вечно одинаких, неизменных и в урочный час тут как тут являющихся с своими выробками (изделиями) к нашим услугам, и, что особенно важно, никогда и нигде не покидающих своего языка? <sup>29</sup> Один из них, зашедши в своих переходах даже в Теберду и восхищенный приемом тамошнего нашего главноначальствующего, писал оттуда в свое *Словенско* (Словакию) следующее: «Я сам ту односко бол у найяцкого земепана, а сам з ним велице длуго млувил *словенски* с вшелняких вещей; а ту немци тузе плачу, же не могу як мы словаци беседоват по словенску з руси братры наши» <sup>30</sup>.

На забуд[ьте], что есть поколения, никогда не бывшие ни в каком прямом или косвенном сношении в др[угими] соплеменниками своими, отдаленные на несколько сот и тысяч одно от другого, живущие целые столетия в ежедневном соприкосновении с чужеземцами, под их управлением, законами, их вероисповеданием и т. п., и, несмотря на все это, на все препятствия и разобщение, местное, государственное, вероисповедное, язык этих поколений и языки собратий так близко доступны, свои друг другу, [язык] так чист и девствен сравнительно с прочими европейскими, так общ при всем своем разнообразном изменении, что, сообразив все это, т. е. что всякий великий, многочисл[енный], разбросанный на огромном пространстве распавшийся на нес[колько] *отраслей* народ не мог вместить всего себя в [...] \* государ[ственное], [и] естественно ищет, сосредоточивает всю свою деятельность, силится вылить, отпечатать все[го] самое себя в родном слове.

\* Слово неразборчиво. Вариант прочтения — «тело».

Припомнивши себе это, ни мало не станем дивиться тому, что и они с такой неогран[иченной] теплой любовью, с таким рвением и страстью и вместе с так[ой] стойкостью и неутомимостью бросились на изучение или, правильнее, на усвоение всех наречий своего многоветвистого и богатого всеми благами слова человеческого своего славного языка.

Да не то ли представляют взорам в древности греки, а ныне немцы, которые тоже, подобно нам, распавшись на несколько ветвей и не находя после напрасных попыток желанного единения в разного рода образах госуд[арственного] устройства и вероисповедания, обратили напоследок всю силу своего народного характера на язык и, т[аким] о[бразом], обрели в народной словесности искомую точку тяготения, равновесия, одинаково притягивающую всех и каждого и одинаково общую и драгоценную для сердца. [...] <sup>31</sup> Такая забота о чистоте языка своего составляет отличительное свойство нашего племени: ни к чему столько мы не ревнивы, как к этой примете нашего слова. Больше тысячи лет, например, живут среди немцев и с немцами сербы, лужичане, больше полутысячи сербы южные и болгары под турецким игом, а много ли вкралось к ним иноязычных слов? Ничтожное число по сравнению с целым народом! Или много ли у нас чудского, татарского взятого самим народом, а не людьми с пером в руках, беспрестанно испещряющими свой язык чужой шутихой, решительно неизвестной простонародью.

А оттого наши наречия в течение целых веков испытали весьма незначительную перемену во внутреннем и внешнем составе, не выродились, подобно западным европейским наречиям, но составляют собою просто лишь видоизменения, разные образы выражения, раскрытия одного и того же славянского языка: следовательно, это стремление славян еще более сблизиться между собою и уравнивать все неровности в языке, происшедшие от долгого разъединения, познать друг друга, таким образом, способствовать развитию и распространению мысли общения и единения в словесности, которая одна еще связывает их последней нерушимой цепью братства и согласия вопреки всему прочему раздробляющему, стремление зажить жизнью общеколенной, всеславянской, значит, общими силами рука в руку, постараться усвоить себе все, сделанное опередившими нас в просвещении, *переварить* и потом повести дело далее, приложить и свою лепту в сокровищницу человеческого ведения.



Западная Европа, по сознанию лучших сынов, *видимо, стареет*<sup>32</sup>, образованность хромает, мельчает; нужны новое вспаханье, удобрение, новые делатели. Такие делатели в вертограде общечеловеческого образования всегда готовы у провидения, которое, когда первые повершают свою задачу, склоняются постепенно к гробу, мало-помалу подготавливает им на смену, преемников их, кои поведут неоконченное далее, и тоже в свою очередь уступят другим, и таким образом преемственность эта продолжится, пока не сбудется, *якоже хочет господь*. Немецкие и романские народы получили в наследство римскую образованность, римляне взяли ее от греков, заимствовавших оную из Азии. И каждый из них полученное обрабатывал по-своему, совершенствовал и, отживая свое время, передавал новому пришельцу. *Теперь наступает преемственность нам, четвертому главному европейскому племени*; и мы тут являемся в самую пору, т. е. тогда именно... когда приспела пора зрелости, действия нам своим умом.

Были другие на театре, нас не призывали, мы занимались другим; а именно: пеклись о спокойствии и благоденствии Европы, сторожили азиатские орды, бились с ними и не допускали мешать призванным прежде делателям на ниве просвещения, между тем возрастали с каждым днем более и более, приготавливали себя к ожидающему назначению в училище искусств. И каком училище! Собираются прежние богатыри оставить ристалище, и вот мы, прошедшие сквозь горнило тяжского испытания, отразившие натиски сынов Азии, являемся на их место, готовимся всего прежде овладеть совершенным уже, изучить и пройти вперед, передать в свою череду следующим за нами перенести просвещение снова с сторишною лихою туда, откуда оно вышло, в лоно его рождения, эту некогда столь образованную, светлую Азию, а ныне погруженную в такой густой мрак невежества. Высокое призвание!<sup>33</sup>

Да не вечно же сидеть за школьной лавкой, не вековать же в рабочем подмастерии; надо когда-нибудь приняться и за свой ум-разум, смекать своей головой, хотеть своей волей, чувствовать своим сердцем и работать своими руками и по своему крайнему разумению, по собственным понятиям и началам, быть; в свою очередь, творцом и отцом! Ныне мы, взятые все вместе, уже не слепо бросаемся на чужеземное, пристально приглядываемся *что, как и где взять*. Не все, что не свое, хорошо; а если и хорошо, смотрим, все ли хорошо будет на чужой почве.



можно ли его перенести туда безбедно для него самого и нас, вполне или же только часть, с ограничением, перемнами, примется ли оно успешно и какие сулит плоды; к лицу ли будет нам занятое? <sup>34</sup> Словом, мы теперь перестаем быть жадными и неразборчивыми учнями, принимающими, что ни дается, за чистые деньги и с челобитьем, так по крайности поклонами в полпояса [...] <sup>35</sup>

Из этого отнюдь не следует, чтобы славяне не нуждались больше в помощи западных соседей, их опытности и знании, но, перестав быть школьниками, *scamnis adscripti*, могут уже, опираясь на приобретенные сведения и надомнение, как должно приниматься за дело и с ним обходиться, что нас ждет, как пойдем вправо, влево или прямой дорогой; они хотят и имеют на то полное право продолжать дальнейшее свое образование уже сами собой, не под досмотром какого-нибудь дядьки; они, выбравши предмет по своим силам, внутреннему признаку и способностям, желают научить его не по должности (*ex officio*), но по собственному убеждению в годности и важности его для себя. Это — делатели важные, пользующиеся только где нужно советом и опытностью других, получающие их не в виде непременных правил и аксиом, а скорее как свободные мнения людей свободных и знатоков предмета, сообщаемые таким же свободным на их усмотрение и выбор. Вся разница заключается не в совершенном избавлении себя от учения, но в образе и способе учения, необходимо изменяющимся с годами у людей и народов.

Славяне желают быть мыслящими учениками с правом выбирать для своих занятий ту или иную отрасль ведения, тот или другой учебник, больше в смысле советника, собеседника, а не беспогрешного школьного наставника, требуют позволения быть тем именно, чем были некогда теперешние их собратья в такую пору своей жизни в отношении к старшим себя, пока, *наконец*, не *омужали* и не сменили их собой. Это *предел его же не перейдеши*.

Жизнь единиц и целых племен в своем постепенном развитии и преемстве во всем сходна с вечно одними и теми же 4-мя временами года, имеет свою весну и осень, лето и зиму. Славянское племя ныне вступает только в *лето* своей *жизни*. В этом-то, по нашему убеждению, состоит разгадка, отчего еще не время требовать от них того, что имеют уже их учителя, дел и мыслей, опередивших их целыми столетиями; требовать прошедшего каких-нибудь греков, римлян и т. п. Подождите столько, сколько ждали первые и, может быть, больше по пословице:

«*Большому кораблю — большое плавание*». А с другой стороны, отчего *прошло* уже *время* держать их за доской и заставлять повторять их бесконечно *склады и зады*, осуждать их на вечное младенчество и отказывать даже в юношеском возрасте. Оба требования — незаконны, крайности; надо избрать *середину*: не быть *слишком* взыскательными, ни *слишком* недоверчивыми, *мерить* человека и народ *их мерилом* и обходиться с ними, как с таковыми, а не с другими, тем, что они суть.

Вот точка, с которой, как мы думаем, правильное всего можно судить славян, охватить одним разом всё их теперешнее стремление, точка настоящей оценки, верного взгляда на раскрываемую ими с каждым днем резче и резче самодеятельность и оттого возрастающую в такой же мере современную занимательность и важность их; точка, повторяем, условливаемая и объясняемая ходом естественного и необходимого развития собственной их жизни и жизни целого человечества. Это — роковая *необходимость* для славян: следовать иному направлению, действовать другим образом, короче, жить отличной жизнью от теперешней, при всей их доброй воле на это просто *невозможно*.

Но тут же с тем вместе такая же роковая обязанность смотреть на все их поступки и действия для каждого, кому дорога правда, кто заботится узнать народ во всей его наготе, как он есть и иначе быть не может. Следственно препятствовать славянам в этом их естественном и вместе необходимом, единственном и единомысленном стремлении к проявлению себя *своим* образом, т[о] е[сть] своей *особности, народности* в вернейшем отражении ее, родном *языке*, было бы не понимать того, с чем дело имеешь, бороться с великаном, которого замедление только подстрекает и усиливает и который рано, поздно прорвет все оплоты и окопы и раздавит своей тяжестью противников своих; значит, идти *противу высокого их назначения, изменять их призвание и навязывать совершенно иное*. Кто же вы, посягающие на это так смело, передвигающие народы с места на место по своему усмотрению, словно игральные кости на шашечной доске? Кто, скажите, по вашему мнению, подрастает в приемники явно стареющего Запада по собственному его сознанию? Или, в самом деле, человечество достигло уже в нем крайнего своего совершенства, им должно всё повершиться, а остальной мир — дети отверженные, плоти, осужденные вековечно на *растительную* жизнь, между тем он один, вечный сосуд

небрежный, никогда в полноте своей неоскудевающий, один он, о чем же благодарим бога!

О нет, люди, вникавшие сколько ни есть в бытописание народов, сравнившие их прошедшее и настоящее, никогда не могут допустить подобного учения. Лучшие из западных умов, ученые и госуд[арственные] головы, обращающие свое внимание на теперешнее повсеместное, с таким замеч[ательным] согласием совершаемое движение славян[ских] племен к самостоят[ельному] развитию себя, и свойств[енным] себе образом, к язычной литерат[урной] взаимности и своему славянскому взгляду на все прочие лица, по своему имени и месту пользующиеся чрезвыч[айно] высоким весом и влиянием внутри и вне, не только не встретили нас недоверчивостью, упреком, нерасположением и по поводу былого бранью и мерами противу этого стремления направленными, напротив, охотно и радушно приветствовали это новое явление, указывая непонимающим и незамечающим на всю важность и многозначительность для настоящего и грядущего. Приведем несколько примеров.

«Надобно позаботиться о средствах для свободного проявления своей народности всем западным и южным славянам, хоть бы то было и под чужим жезлом»,— это, не забудьте, говорит В. Менцель, хорошо знакомый с нами, и человек, родившийся в землях славян, теперь, правда, обесславившихся; еще более сам славянин по происхождению, в чем и не кроется, но даже с некого рода самодовольством отзывается о том; родившийся на пределах того из наших племен, у кого мысль о славянской язычной взаимности прежде всего явилась, возлеяна племенем; Менцель — самый ревностный поборник всего немецкого, неутомимый преследователь чужого, вредного его родному<sup>36</sup>.

Но самым блистательным примером того, как на нас в этом случае смотрит Запад в лице избранных своих, служит основание кафедр славянских в новейшее время, цель коих — ознакомление со всеми нашими племенами во всех отношениях. Две из них учреждены в столице романского и немецкого образования, а 3-я на рубеже славянства<sup>37</sup>. Наконец, даже склонение соседней державы<sup>38</sup> на сторону своих славянских подданных, превышающих числом своим слишком вдвое остальное, самое разнопестрое народонаселение.

Но на всякую вещь можно смотреть с разных точек зрения. Так и тут не было недостатка в людях с черной

душой и нечистой совестью, которым, бог знает почему, не нравилась эта новая деятельность славян, к[отор]ые видели в ней какое-то новое переселение народов, заговор противу целой Европы, в желании очистить язык от небольшой примеси чужих слов также стремление к очищению себя от всего иностранного накипа умст[венной] обр[азованности] силились оподозреть. А когда было подвергнуто даже это слаб[ое] воплощение подозрению, не нашедши в нем не только никакой для себя предрекаемой опасности, на[против], еще стали пытаться осмеять его, следуя в этом каким-то задним мыслям. Но неудача и тут была их наградой. Здравый смысл большинства судей восторжествовал над завистью и недоброжелательностью темных Зоилов.

Да и в самом деле, ту самую вещь, к(отор)ую мы у себя находим, найдя ее лучшей, пред коей падаем на колена идолопоклонствуем, потому что она наша, у нас пытаются пустить в посмеяние, пот[ому] только, что тоже и у других пользуется равной частью, не значит ли кощунствовать над всем дорогим и свящ[енным] ч[е]л[ове]ку, судить и рядить повсеместно. Это было уже слишком плоско и отвратительно, чтобы увлечь кого-либо за собой, хоть игроки не щадили ничего для расшевеления народных страстей. Далее, чужое и свое так переплелось, что слилось между собою, это значит, что невозможно никакое отделение, разъединение их, и потому все подобные возгласы суть просто Дон-Кихотские страшилища расстроенного воображения и даже нечистой совести. Где же стремления к чистоте языка доводило до кровопролитий народов? Где иноземное у славянского народа до того вытеснило туземное, что восстановление последнего совершенно несбыточно? *Кто и где* это стремление проповедовал если не прямо, то по крайности подразумевал? Нет вещи и ничего самого священного в свете, чем бы нельзя было злоупотребить, но из боязни злоупотребления никто не станет запрещать того или другого. Судите по сделанному и что делается, а не потому, что *может* сделаться, произойти от превратности употребления, не поднимайте противу *народодвижения* еще раз *крестовых походов*. Иначе пришлось бы из страха злоупотреблений вовсе ничего не употреблять.

Уж коли зло пресечь —

Забрать все книги, да и сжечь...<sup>39</sup>

И как можно отнимать у целого племени то, что составляет существенное отличие бытия разумного. без чего



нельзя себе и вообразить, *свободу избирать, что кажется ему лучшим?* Не в том дело, чтобы совершенно очуждившееся, умершее навсегда снова воскрешать, заставляя вновь родиться и быть тем, чем уже давно перестало быть, но в том, *чтобы удержать, что еще держится и держаться может*<sup>40</sup>. Не все знают: коварство, насилие и тому подобное другое лишали нас того или иного; многого мы сами были виною, поводом, многое случилось по нашему желанию, оплошности, промахом, неумению отстоять и пр.

Так хотите ли знать тайну онемеченья наших полабов? Припомните же себе, как немцы, кончив свое переселение на Западе и Юге Европы и натолкнувшись там на равносильных народов, принуждены были вследствие большего или меньшего перевеса одной стороны над другой *смешаться* между собой и произвести новые народы, немецкие, не имея уже никаких новых занятий тут, вдруг, всею толщею своей ринулись на Восток Европы. Потому этот поворот их к нам *лицом к лицу служил* тому, что они видели пределы своих владений с каждым днем более и более суживающимися, хотя и отпорным образом, или же потому, что люди и народы одинаково любят крайности, противоположности. Как бы то ни было, немцы всю свою деятельность со времени уничтожения Тюрингского царства, скрывавшего нас от взоров их, и оснозания немецкого царства<sup>41</sup> начали кровопролитные войны со славянами, наполнившие целые средние века и продолжавшиеся до новейшего времени. Они всегда действовали сообща под начальством воинственных и хитрых вождей своих противу полабцев, распавшихся на бесчисленное множество мелких общин, стало быть, лишенных уже одного из первых условий всяких успехов, общего главы, враждовавших вечно между собою и оттого охотно принимавших сторону неприятеля противу собратьев; следствием этого была уверенность первых в своем предприятии и проигрыш последних, несмотря на всю отчаянную храбрость этих вендов, как они их называли, из коих каждое племя отдельно отстаивало свою независимость. Где нет согласия, там, по латинской пословице, *et magna dilabuntur*<sup>42</sup>.

Славные племена славянские, составляющие в эту пору самостоятельные государства, каковы чехи и поляки, не только не помогали тесным иноземцам, но еще дружились с этими, пособляя им всеми средствами, или же оставляли на произвол судьбы, а сами обращались в противную сторону (например, поступки поляков с поморцами и стремление их на Русь). Оставленные всеми ближними



и кровными, раздираемые усобицами, склоняемые даже собственными князьями к отщепенству, полабцы естественно должны были уступить сильнейшему в полном смысле слова. Да, князья их и многих других славянских племен были, не говоря уже о прочих известных и неизвестных обстоятельствах, одною из первых жертв самых сильных и действительных причин расслабления этих наших несчастных братьев, потому что они воспитаны были большею частью на чужбине (в духе противуславянском) или же ослеплены придворным блеском немецких владетелей и рыцарским направлением, другие роднились только с чужеземками, никогда не изменявшими своему происхождению, третьи прямо были иноплеменники и как таковые ревностно распространяли свое, целыми толпами переселяли земляков в свои новые владения, покровительствовали и осыпали их выгодами и тому под[обное], а подданных теснили всеми мерами, объявляя их неспособными отправлять общественные должности (Альтенбург), единственно по той причине, что были славяне, и даже под смертною казнью запрещая всюду говорить языком отцов своих (Пруссия и п[одобные] ей).

Таким образом, прибалтийских славян — как бы ни было, меньше, чем в 2 века; но это отнюдь не прежнее смешение народа с народом, подобное тому, какое видим в соединении немцев с народами романскими и которое возможно только там, где есть какое-нибудь, хоть отдаленное естественное расположение, влечение друг к другу, причем сильнейший числом и образованностью, твердостью характера, всегда одерживает вверх и на все налагает свою печать. Нет, поморцы и немцы столько отличались своими внутренними и внешними качествами, столько заключали в себе несходного, отталкивающего, неуживающегося, что одно из этих племен, приготовленное судьбой на вечное общение с другим, отнюдь не смешалось с ним и произвело новый народ, напротив, оно совершенно перелилось в это последнее, пало и исчезло, *онемело*<sup>43</sup>. То же самое случилось и с морейскими<sup>44</sup> нашими единокровниками, потому что причины и там и здесь были те же: они вовсе перелились в греков. «И прейдоша из рода в род, и от языка в народ он»<sup>45</sup>. Осталось только несколько слов от прежнего их языка, да внешняя природа; местные названия и кой-что из нравов, обычаев, образа жизни и тому подобного, напоминающих еще по сию пору деисследователю и народописцу прежнее их происхождение, родословную.

Кто же был виною такого *обезьязыченья* славянского племени на пространстве слишком 4 тысяч квадратных миль и почти 20-миллионного народонаселения? Кажется, не меньше мы сами, как и добивавшиеся того инородцы. Немцы и греки делали то, что каждый бы на их месте делал, ища своих выгод тем или другим образом, хотя, разумеется, несравненно с меньшим жестокосердием и крутостью, снискавшими особенно последними, столько лестное и завидное титуло *народогубителей*.

Мы своими усобицами, братской ненавистью и нетерпимостью помогли в их египетской работе и потом жестоко поплатились за это:

И вражды безумной семя,  
Плод сторичный принесло:  
Не одно погибло племя,  
Иль в чужбину отошло...<sup>46</sup>

Где же царствовало соглашение, племенное единодушье, там никакие натиски и погромы иноземцев не в силах были *обезнародить нас*. Так, Лужицы, этот славянский островок на теперешнем немецком море-окияне, действуя заодно во всем с соплеменниками своими чехами, по сию пору уцелел и бережет свое славянство на славу сестрам и братьям своим. И, конечно, прильнувши еще тверже и единомысленно к общеславянскому телу, [можно] сохранить навсегда себя от одного из самых ужасных несчастий, какие только могут постигнуть какой-либо народ, *заживо похоронить себя*, отказаться от своего происшедшего и грядущего, растерзать собственную утробу руками своими, *народоотступничеством*.

О, этому не бывать, пока лужичане будут помнить свое *сербство*, а мы видеть в них *кость от костей наших и плоть от плоти нашей!* [...] <sup>47</sup> Стало быть, главная задача великого и могучего славянского народа не в том, чтобы считаться с соплеменниками своими за дела прошедших дней, не в отмщении — самом дурном доказательстве правости нашего дела и прав на потерянное невозвратно. Иначе к каким страшным следствиям повело бы это желание вольных или невольных *отщепенцев*. Вспомните, у кого не пришлось бы одним немцам искать выдачи своих родичей? У пранемцев, начиная с герулов да лангобардов <sup>48</sup>, у испанцев — готов <sup>49</sup>, у французов — франков, у англичан — англосаксов, а у нас — варягов. Следуя нашим староверцам-историкам, нам выпало бы поставить вверх дном волохов, турков, мадьяр, итальянцев, особенно же немцев

во всяком их поколении. Нет, трижды нет, не в стародавнем «зуб за зуб и око за око» задача славянская: «Было быльем поросло!». Новь в том, чтобы вполне соответствовать великому назначению своему быть посредниками между просвещенной Европой и темной Азией, усвоить по себе и потом передать этой последней ее достояние и, следовательно, отблагодарить ее за первичное образование, ишедшее от нее миру.

Вот почему всюду видится это пламенное стремление славян как можно основательнее познакомиться с родным и родственным себе словом, эта неограниченная и страстная любовь к нему, это неукротимое преследование всех разнообразных видоизменений его как в древних заплесневелых свитках, так равно и вечно подвижном, живом устном мире, эта беспредельная преданность своему призыванию и всегдашняя готовность делиться приобретенным со своими братьями, короче, это *поклонение языку отцов*, который, по прекрасному замечанию западного соплеменника<sup>50</sup>, «есть дагеротип народа». «В нем,— продолжает он,— каждая черта, каждый волосок оттиснут, хоть бы того и не видит обыкновенный глаз. Известное изречение — слова — сам человек, но, мне кажется, не один лишь слог, но и самый голос есть не что иное, как человек, так сказать вывороченный во внешнее, есть второй, гораздо менее обманчивый образ духа нашего. Всякий умеет различать голос ребенка, отрока и т. д. Личность и голос — одно; где есть сходство голоса, там находится [сходство] свойств наших. Еще более дух человеческий проявляет сродственное с другим только посредством языка, которого голос олицетворение и который, поскольку он вырастает из самого ядра, нельзя ни у кого отнять, не отнимая вместе с тем и у себя самого. А потому отнимающий насильно язык у другого убивает этим его. Какое чувство овладевает нами, когда мы вдруг неожиданно заслушим родной говор на чужбине! С каким доверием повинемся тому, кто приказывает нам что-либо на нашем языке, напротив, с каким унынием отворачиваемся от пренебрегающего нас!

А какого еще лучшего знака славы и всего народа, как распространение языка его даже между чуждым, коим народы гораздо вернее покоряют, чем мечом и пушками? Разумеется, родной, хотя бы он владел им несравненно хуже, чем отцы наши. От всякого другого языка, даже первого во всем народе, так и веет на нас холодом чужое, а язык и говорящий им уже не составляют собой одного

и того же неделимого, но две различные вещи. Язык и народность тождественны; потому сохранение отечественного языка вовсе не себялюбие, но основание, на чем держится свет, начало бессознательной и свободной деятельности: признаемся сами перед собой и миром, что никто не может быть честным, как только отрекается от своего языка, потому что он с низкой целью отвергается самого себя, унижает свой народ» (Клацель. Kosmopolitismus a vlastenectvo, ССМ, 1842, sv. II) <sup>51</sup>.

Такое-то светлое понятие о себе вообще и своем настоящем и будущем проявляют славянские поколения в теперешних своих движениях. Вся их деятельность стремится к одному только и одним им объясняется духовное, истинно на евангельских началах опирающееся братское единение, умственный обмен помощью родного слова. Слово, написанное этим духом и снесенное на Урал и Кавказ, отдается в чешском и далматинском говоре, его понимают, ему сочувствуют и платят равным чувством за чувства, делом за дело, *взаимностью за взаимность*. Короче, славяне хотят идти к одной высокой цели, указанной им провидением, *все вместе*, брат подле брата, рука в руку, *хотят всюду и во всем* преимущественно быть собой, славянами:

Рассветает над Варшавой,	И родного слова звуки
Киев очи отворил	Вновь понятны стали нам:
И с Москвой золотоглавой	Наяву увидят внуки
Вышеград заговорил.	То, что снилося отцам <sup>52</sup> .

Вот м. г. г. усиленная попытка предоставить Вам верный образ теперешнего положения славян и их отношения к самим себе и другим. Намерение мое было с первого раза *освоить* Вас и указать, с кем мы с этого мгновения будем иметь дело, чтобы потом не грешить и не смешить своими мнениями и толками о них, знать, как и откуда следует на них смотреть, чего надеяться и вправе требовать. Изображение это писано с природы, кистью беспристрастною, с наглядного изучения их на месте, у себя дома, нараспашку. Это плод ближайшего знакомства с ними нескольких лет, прожитых среди их, где, располагая средствами, доставленными мне мудрым и далековидящим правительством нашим в обилии, я имел случай книжные сведения свои проверить и расширить непосредственно вытекавшем из теснейшего общения с ними, другими словами, сблизиться с их радостью и горем, вникнуть пристальнее, куда и зачем они спешат, чего, как и



для чего ищут. Вы видели их цель и средства к достижению этой цели — самые светлые, безукоризненные, возвышенные, человеческие.

Слава же славным!

24/IX 1842 года, четверг, Москва.

- <sup>1</sup> Москвитянин, 1842, № 9, с. 231 (Московская летопись).
- <sup>2</sup> Венедиктов Г. К. К начальной истории славистической кафедры в Московском университете.— Сов. славяноведение, 1983, № 1, с. 91.
- <sup>3</sup> Francev V. A. Korespondence Pavla Josefa Safařika: Vzajemné dopisy P. J. Safařika s ruskými učenici (1825—1861). Praha, 1927, č. 2, s. 661—662; č. 1, s. 65 (письмо П. Я. Шафарика к О. М. Бодянскому от 11 декабря 1842 г.).
- <sup>4</sup> Срезневский В. И. Вступительная лекция И. И. Срезневского в Харьковском университете 16 октября 1842 г.— ЖМНП, 1893, ч. 287, № 5, с. 111; Минкова Л. Осип Максимович Бодянский и Българското възрождане. София, 1978, с. 28.
- <sup>5</sup> Попов Н. А. Осип Максимович Бодянский в 1831—1849 гг.— Русская старина, 1879, т. 26, № 11, с. 473.
- <sup>6</sup> Когда приведенные строки были уже написаны, автору удалось найти в ЦГАЛИ СССР письмо О. М. Бодянского к И. И. Срезневскому от 14 октября 1842 г., которое проливает дополнительный свет на обстоятельства, в которых была прочитана эта лекция. Оно подтверждает установленную нами датировку вступительной лекции и тот факт, что Бодянский испытывал при ее подготовке острую нужду в литературе. Выясняется, что причиной такой поспешности в начале славистических чтений Бодянского было желание министра народного просвещения С. С. Уварова. Считаю необходимым привести здесь никогда не публиковавшуюся ранее выдержку из письма О. М. Бодянского: «В средних числах прошлого месяца я благополучно ввалился в свою ненаглядную старушку, матушку Москву [...]. В ней я застал нашего министра, который принял меня очень радушно, много и долго по несколько раз расспрашивал о заграничном славянстве, которое его чрезвычайно занимает. Никогда не думал я, чтобы он принимал такое участие [...] Какая же разница Уваров-1837 и Уваров-1842 года! Вот что значит умный человек, понимающий свой век и желания народов! От него мы можем много надеяться и много получить для своего славянства; решительно влюблен по уши в него, а известно, что любовь рада творить хотения сердца [...]. Желание его слышать что-нибудь с кафедры о славянщине как можно скорее так было велико, что мне едва дали опомниться от дорожной трясовины и ровно спустя две недели по приезде всталили меня на амвон и заставили баять вкривь и вкось о том, как за морем Варяжским синица живала и какие чуда видала! [...] Но, начавши раз, надо было продолжать, и ее аз четырежды в седмицу благовещу оглашенным слово о славянах. Признаюсь, не имея ничего под руками, кроме двух-трех книжонок, известных Вам, и не надеясь скоро свою книжницу получить, которая-де, где-то ныряет по морю, мне довольно жутко теперь. Нельзя всего было удержать в своей каторбе, как говорят наши любезные чехи, а нынче между тем, пришлось только ею одною пробавляться» (ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, д. 1168, л. 4 об.—5).
- <sup>7</sup> Тун Л. О современном состоянии чешской литературы и ее значении.— Москвитянин, 1842, № 10, с. 454.



- <sup>8</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892, кн. 6, с. 144—146, 392.
- <sup>9</sup> Fransev V. A. Korespondence P. J. Safařika..., č. I, s. 78.
- <sup>10</sup> Алексашкина Л. Н. И. М. Бодянский — первый славист Московского университета. — Вестн. Московск. ун-та, 1973, сер. IX. История, с. 40—51.
- <sup>11</sup> Срезневский В. И. Вступительная лекция..., с. 112—133.
- <sup>12</sup> Далее следует образное развитие мысли о народе-юноше, творящем чудеса храбрости, но не замечаемом другими народами до времени возмужания.
- <sup>13</sup> Речь идет о княжестве Само и Великой моравской державе.
- <sup>14</sup> Далее следует рассуждение О. М. Бодянского о смешенном характере английского языка, который тем не менее возвысился до степени одного из первенствующих языков в мире.
- <sup>15</sup> По-видимому, речь идет о трактате словацкого поэта Я. Коллара (1793—1852) «О литературной взаимности между племенами и народами славянскими», впервые опубликованном на немецком языке в 1836 г.
- <sup>16</sup> Описка О. М. Бодянского. По данным П. И. Шафарика, славянское население Европы в совокупности составляло на 1842 год 78 691 000 человек (Москвитянин, 1842, № 9, с. 279).
- <sup>17</sup> Вероятно, речь идет о Карагеоргии (Karađorđe), руководителе Первого сербского восстания 1804—1813 гг. против Османского ига.
- <sup>18</sup> О. М. Бодянский, видимо, имел в виду Люмира или Забою. Люмир — легендарный древнечешский поэт. Его имя с почтением упоминается его «последователем» Забоем в эпической песне «Забой и Славой» из поддельной Краледворской рукописи по образцу того, как автор «Слова о полку Игореве» вспоминал своего выдающегося предшественника Бояна. Славой — брат певца Забою, один из предводителей славянского войска, как это следует из содержания «песни».
- <sup>19</sup> Цитата из Введения к вышедшему из печати в апреле 1842 г. первому изданию сочинения П. И. Шафарика «Slovanský národopis». Далее на полях текста приведена та же цитата на чешском языке.
- <sup>20</sup> См.: Шафарик П. И. Славянское народописание / Пер. О. М. Бодянского. М., 1843, с. 4. Здесь приведен другой вариант перевода этого отрывка из сочинения Шафарика.
- Рассуждение П. И. Шафарика о народности и космополитизме перекликается с подобными же мыслями, высказанными в работе чешского публициста графа Льва Туна. См. сноску 7. Далее следует рассуждение О. М. Бодянского о трудности для каждого даже малого европейского народа добровольно отказаться от своего языка.
- <sup>21</sup> Хвалынское море — древнерусское название Каспийского моря.
- <sup>22</sup> Речь идет о иудаизме, «сыны Агаря» — иудеи.
- <sup>23</sup> Миротворцу царю Соломону бог, по преданию, разрешил выстроить храм в Иерусалиме, где хранилась главная религиозная святыня древних иудеев.
- <sup>24</sup> Далее О. М. Бодянский рассуждает о том, что европейцы, говорящие на германских и романских языках, не могут с такой легкостью понимать друг друга, как славяне.
- <sup>25</sup> Спрова, Spreva — славянское название реки Шпреи.
- <sup>26</sup> Речь идет о Черногории.
- <sup>27</sup> Гана — река в Моравии, долина которой славится плодородием.
- <sup>28</sup> Подробнее о черноруссах см.: Боричевский И. П. Руссы на южном берегу Балтийского моря. — Маяк, 1840, ч. 7, гл. 3, с. 174.
- <sup>29</sup> Дратники, олейкари, платники — словацкие ходоки, торговцы мелким товаром, вынужденные заниматься дальним извозом в виду не-

достатка средств к пропитанию. Дратники (проволочники, жестяники) торговали проволокой и изделиями из нее: мутовками, мышеловками др., выходцы из Тренчинского комитета. Олейкари торговали целебным маслом, изготавливаемым из хвойного дерева (местное название «косодревина»). Платеники торговали полотном, нитками, ситцем домашнего производства. Любопытно, что об этих словацких торговцах подробно рассказывал своим слушателям и И. И. Срезневский (ЛЮ ААН, ф. 216, оп. 3, д. 1392).

<sup>30</sup> Перевод со словацкого: «Я был однажды в гостях у нааяцкого вельможи и долго беседовал с ним по-славянски о всякой всячине, а эти немцы вечно жалуются, что не могут, как мы, словаки, беседовать по-славянски с нашими братьями русскими».

<sup>31</sup> Далее О. М. Бодянский говорит о том, что греки и немцы в силу необходимости создали единый литературный язык. Для немцев это было особенно необходимо «при известном отдалении немецких наречий друг от друга», как «последний способ народного общения и единения».

<sup>32</sup> Мысль о «старении» и «гниении» Западной Европы была распространена у ряда западноевропейских и русских публицистов в начале 40-х годов XIX в. Французский литератор Ф. Шаль в своей статье, опубликованной в «Revue de deux mondes» (1840, № 11), писал об упадке западноевропейской цивилизации и считал, что ее воспреемниками станут прежде всего два «юных» государства: Россия и США. С. П. Шевырев развил мысли Ф. Шалья в программной статье «Взгляд русского на современное образование Европы» (Москвитянин, 1841, № 1), где видел главное историческое предназначение России не только в восприятии и развитии далее западноевропейской цивилизации, но и в спасении Западной Европы от угрозы революции. Впоследствии об этом неоднократно писали сторонники теории официальной народности и славянофилы.

<sup>33</sup> Не исключено, что на мысль об историческом предназначении славян нести просвещение в Азию, натолкнуло О. М. Бодянского следующее место из статьи Ф. Клацеля (см. далее, прим. 51): «Русские, которые обращены к Востоку, для того чтобы перелить европейскую образованность в Азию, должны учиться азиатским наречиям» (с. 187).

<sup>34</sup> Вопрос о необходимости самостоятельного самобытного образования для России после того как усвоены общечеловеческие основы западноевропейской цивилизации неоднократно обсуждался с первых номеров «Москвитянина».

<sup>35</sup> Далее следует образное сравнение славян, стремящихся получить европейское образование, с купцами, покупающими «только одно действительно хорошее по мере надобности».

<sup>36</sup> Вольфганг Менцель (1798—1873) — немецкий писатель и критик. Родился в г. Вальденбург (Валбжих) в польской Силезии. Известен своим крайним антиславянством.

<sup>37</sup> К 1842 г. за пределами России было открыто 3 кафедры славистики: в 1840 — в Париже (А. Мицкевич), в 1841 — в Берлине (В. Цибульский) и Вроцлаве (Я. А. Смолер, с 1842 — Ф. Л. Челаковский).

<sup>38</sup> Речь идет об Австрийской монархии.

<sup>39</sup> Точнее: «Уж коли зло пресечь: забрать все книги бы, да сжечь». Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), действие 3, явление 21, слова Фамусова.

<sup>40</sup> В своем размышлении о необходимости не воскрешать, а лишь сохранять положительный опыт старины О. М. Бодянский в известной мере предвосхитил опровержение С. П. Шевырева, М. П. Погодина,

- А. С. Хомякова, И. В. Киреевского и др., появившихся в «Москвитянинах» в 1845 г. в ответ на обвинения их западниками в приверженности к старине (Москвитянин, 1845, № 2, с. 69, 82, № 3, с. 9).
- <sup>41</sup> Тюрингское царство (точнее королевство) существовало в V—VI вв.; «Немецким царством» О. М. Бодянский, видимо, называет Восточно-франкское королевство (IX—X вв.).
- <sup>42</sup> *Et magna dilabuntur* — «и больше разрушается» (распыляется). О. М. Бодянский, видимо, перефразировал латинскую пословицу: «*Male parata male dilabuntur*» — «что дурно добыто, то дурно расточается».
- <sup>43</sup> Здесь О. М. Бодянский повторяет мысли немецких ученых об особом характере смешения немецкого и славянского населения, в отличие от романского и германского. Ср.: Москвитянин, 1841, № 4, с. 136.
- <sup>44</sup> Морейя — славянское название п-ва Пелопоннес на юге Греции.
- <sup>45</sup> «И преидоша из рода в род и от языка в народ он» — по-видимому, цитата из церковнославянского перевода Библии.
- <sup>46</sup> Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «К Ганке» 26 августа (6 сентября) 1841 г.
- <sup>47</sup> Далее приведено стихотворение на лужицко-сербском языке, прославляющее национальность лужичан. — Автором его мог быть Х. Зейлер (1804—1872) или Я. П. Йордан (1818—1891).
- <sup>48</sup> Герулы — племя северных германцев, с III в. н. э. продвинувшихся на юг и основавших в начале VI в. на Дунае свое «царство». Вскоре были разгромлены лангобардами — племенем восточных германцев, которые в середине VI в. завоевали большую часть Италии и основали королевство лангобардов. К формированию немецкой народности герулы и лангобарды имели весьма отдаленное отношение. В этом неточность О. М. Бодянского.
- <sup>49</sup> Готы — племя восточных германцев, в III в. обитавших в Северном Причерноморье. О. М. Бодянский, видимо, имел в виду одну ветвь их потомков — вестготов, которые в V в. основали королевство вестготов на территории Южной Галлии, а затем и большей части Пиренейского полуострова.
- <sup>50</sup> Франтишек (в монашестве Матоуш) Клацель (1808—1882) — деятель чешского национального возрождения, поэт, публицист и философ. В 30-е — начале 40-х годов был библиотекарем августинского монастыря в Брно и профессором философии в Епископском философском институте в Брно. Активно сотрудничал в патриотическом «Журнале Чешского музея», писал статьи по философии и эстетике. Приверженец гегелевской философии.
- <sup>51</sup> *Klacet F. M. Kosmopolitismus a vlastenectví s obzvláštním pohledem na Moravu.* — *Casopis českého museum*, 1842, sv. 2, s. 182—183. В этой статье Ф. Клацель развивает гуманистические идеалы всеобщего культурного сплочения и объединения человечества в будущем.
- <sup>52</sup> Последние две строфы из цитированного выше стихотворения Ф. И. Тютчева «К Ганке» (1841). В современном печатном варианте: «И наречий братских звуки». Любопытно, что две заключительные строки приводил в своей вступительной лекции в Харьковском университете 16 октября 1842 г. и И. И. Срезневский (ЖМНП, 1893, № 5, с. 123). В письме к И. И. Срезневскому от 24 марта 1842 г. В. Ганка писал: «Кто-то мне послал также письмо по почте, в котором, если я верно читаю, написано следующее». Далее приводился текст стихотворения Тютчева, помеченного Прага, 6 сентября 1841 г. со строчкой, воспроизведенной Бодянским: «И родного слова звуки» (ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 6, д. 6, л. 21 и 21 об.).

## Содержание

Предисловие . . . . .	3
-----------------------	---

---

### Историография

---

<i>Ишутин В. В.</i> Общеславянская проблематика, история и культура южных славян в изданиях ОИДР за 1815—1848 гг. . . . .	6
<i>Никулина М. В.</i> Ю. И. Венелин в русском славяноведении первой трети XIX в. (Проблематика славянских древностей) . . . . .	23
<i>Дьяков В. А.</i> Ученая дуэль М. П. Погодина с Н. И. Костомаровым. (О публичном диспуте по норманнскому вопросу 19 марта 1860 г.) . . . . .	40
<i>Аксенова Е. П.</i> Славянская проблематика в статьях А. Н. Пыпина в «Современнике» . . . . .	56
<i>Озерянский А. С.</i> А. Н. Пыпин о славянофилах. (К постановке проблемы) . . . . .	72
<i>Орел В. Э.</i> Из истории отечественной компаративистики. Сравнительно-историческая грамматика и этимология в исследованиях А. Ф. Гильфердинга . . . . .	80
<i>Робинсон М. А.</i> Методологические вопросы в трудах русских славяноведов конца XIX—начала XX в. (В. И. Ламанский, П. А. Кулаковский, К. Я. Грот) . . . . .	91
<i>Масленникова Е. Н.</i> Проблемы реализма в советском и венгерском литературоведении 20-х годов XX в. . . . .	112
<i>Митина Н. П.</i> Советское славяноведение 1920—1930-х годов и вклад польских политэмигрантов в его становление и развитие . . . . .	124

---

### Источниковедение

---

<i>Лантева Л. П.</i> Изучение источников по истории богомильства в Болгарии в русской историографии XIX—начала XX в. . . . .	140
<i>Наумов Е. П.</i> Сербские средневековые биографии как исторические источники. (К анализу проблем феодальной идеологии, терминологии и текстологии сербских житий) . . . . .	166
<i>Дьяков В. А.</i> Судебно-следственные материалы как источник для изучения польской политической ссылки первой половины XIX в. . . . .	182
<i>Макарова Г. В.</i> К вопросу о времени создания Организации 1848 года в Королевстве Польском . . . . .	201
<i>Миллер А. И.</i> Комедии Ю. Шуйского как источник по истории Галиции 70-х годов XIX в. . . . .	219

---

### Публикации

---

<i>Хелимский Е. А.</i> Г. Ф. Миллер и венгерская этимологическая традиция . . . . .	232
<i>Арш Г. Л.</i> И. Каподистрия о своем пребывании в Греции накануне революции 1821 г. . . . .	244
<i>Мыльников А. С.</i> Из переписки В. К. Клицперы с Я. Н. Штепанеком . . . . .	271
<i>Досталь М. Ю.</i> Первая лекция О. М. Бодянского в Московском университете (24 сентября 1842 г.) . . . . .	275



2 р. 80 к.

# Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы

Книга посвящена рассмотрению отечественной и зарубежной славистики и балканистики конца XVIII — 30-х годов XX в., знакомит читателя с источниковедческими обзорами и текстами новых источников по истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Сборник имеет три раздела: «Историография», «Источниковедение», «Публикации».

Историография и источниковедение

